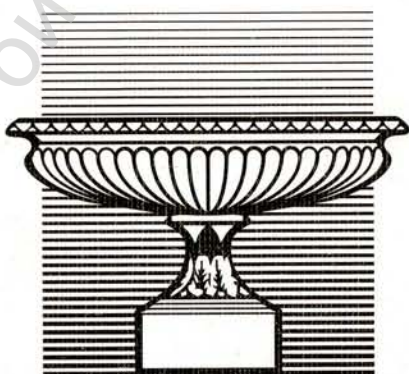


АЛТАЙ

3/2014

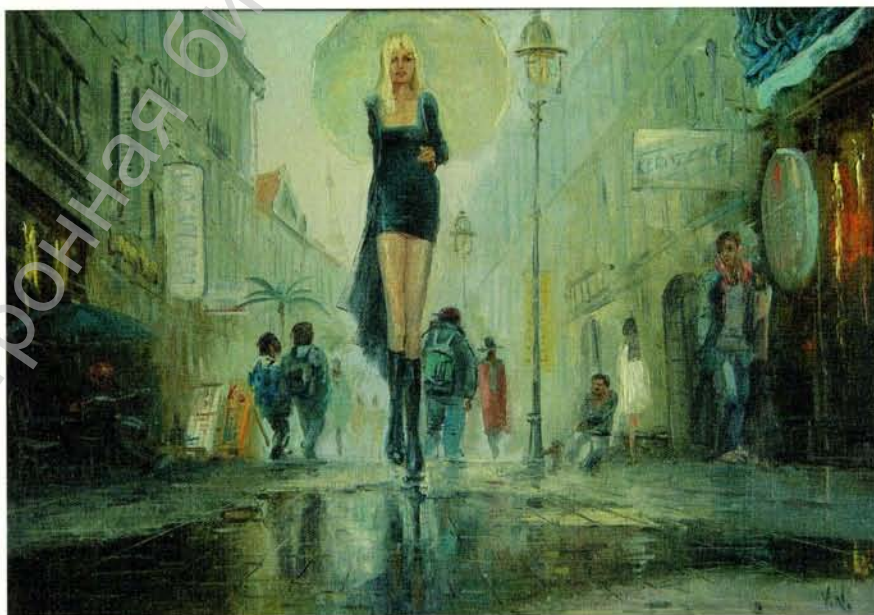


Электронная библиотека АКУНБ, eLIBRARY.ru

Художник В. Кукса



Гранд Опера



Блондинка

Издается с 1947 г.

А

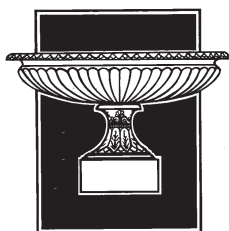
Л

Т

А

И

МАЙ



ИЮНЬ

3/2014

*Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

Главный редактор -
Станислав ВТОРУШИН

Редакционная коллегия:

Елена БЕЗРУКОВА

Ольга ГРИШКО -
редактор отдела прозы

Анатолий КИРИЛИН

Евгения КЛИНК -
редактор отдела поэзии

Юрий КОЗЛОВ

Иван МОРДОВИН

Юлия НИФОНТОВА

Константин ФИЛАТОВ -
редактор отдела
публицистики

Владимир ШНАЙДЕР

Оформление
Александра
КАЛЬМУЦКОГО

Технический редактор
Галина ЗАРКОВА

Компьютерный набор
и верстка
Наталья АЛЕКСЕЕВА

Учредитель:

Краевое автономное учреждение
«Алтайский дом литераторов»

Адрес редакции и издателя:
656043, г. Барнаул,
ул. Короленко, 105
Тел. 65-82-43
E-mail: juraltai@rambler.ru
© «Алтай», № 3-2014

Наши интервью

Виктор СИГАРЕВ. Блеск и нищета барнаульского
«Динамо» 3
Анатолий БАЙБОРОДИН. Слово о роде и народе 144

Поэзия

Иван МОРДОВИН. Подснежник. Весна. Виолетте в
Аргентину. Предновогодний снег. Изба. Созерцатель.
Ангел. Журавли. Из 90-х. *Стихи* 8
Татьяна БАЙМУНДУЗОВА. «Холодно на двухтысячном
километре...». В ожидании теплохода «Заря». В день
36-летия. «С крыш течет весна, достает до дна...».
«Неужели ты не слышал...». «Холод, морок, два цве-
точка...». *Стихи* 38
Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ. «Зреет белая ку-
терьма...». «Незабвенное детство...». «Полной грудью
вдохну...». «Что мы ведаем? Что не бедные...». «...Вот и
в твоих глазах...». «В зимы ли белые...». «Неизбывная
лень...». «Молчи, звезда, не наклейки беды...». «Прос-
торно душе, и слагаются в строчки слова...». Параллель.
Стихи 67
Елена СПИРИДОНОВА. «Я устала чего-то ждать...».
«Взять - и послать бы все. К чертям!...». «Укутавшись
в шлейф твоих слов...». «Наверное, я бы писала сти-
хи...». «Мы пили время, как глинтвейн...». «А весной
быть иначе не может...». «Так хочется порой под одея-
ло...». *Стихи* 106

Проза

Михаил ТАРКОВСКИЙ. Енисей, отпусти! *Повесть* 10
Анатолий КИРИЛИН. Под небом апреля. *Повесть* 41
Елена БЫЗОВА. Рассказы (А куда едете Вы? Случится же
такое) 70
Антон ЛУКИН. Рассказы (Подруга называется! Клен ты
мой опавший. Алеша хороший) 86
Валерий РУМЯНЦЕВ. Пуховый платок. *Рассказ* 96
Валерий ИВАНОВ. Рассказы (Неспетые песни. Послед-
няя рыбалка. «Ваш Андрей Тимофеев») 99
Людмила КОЗЛОВА. Дом для белого горностая. *Новелла* 108

Очерк. Публицистика

Адриан ТОПОРОВ. Воспоминания об Алтае 126
Владимир БОРОДИН. Алтай: что принесли нам рыноч-
ные реформы? 156
Татьяна ВЛАДИМИРОВА. Торговцы подержанными
идеями 162
Валерий СКУБНЕВСКИЙ. Подать вина, что господа
пьют! 166

Книжная полка

Юрий ЧЕРНУХИН. О времени и человеке 172

Подписано к печати 30.04.2014 г. Формат 70x108/16. Бумага офсет-
ная. Усл. печ. л. 15,4. Уч.-изд. л. 15,69. Печать офсетная. Тираж
1600 экз. Заказ 3052. Цена в розницу договорная.

ОАО «ИПП «Алтай». 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105.

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ № ТУ22-0339 от 31 мая 2012 г., выданное Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За досто-
верность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их
мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Виктор СИГАРЕВ,
президент
футбольного клуба «Динамо» Барнаул

БЛЕСК И НИЩЕТА БАРНАУЛЬСКОГО «ДИНАМО»

– Виктор Владимирович, почти полвека, если не более, Барнаул считался футбольной столицей Сибири и Дальнего Востока. Наши воспитанники играли в сборной страны, а один из них был ее капитаном. Сейчас о барнаульском футболе даже не говорят. В чем причина? Мы настолько отстали или другие так вырвались вперед?

– На мой взгляд, все не так печально, хотя проблема такая есть. Мы, действительно, несколько отстали от ведущих центров футбола в нашей стране, прежде всего в Европейской части. Я имею в виду, в частности, академии «Чертаново» и ФК «Краснодар», созданные, фактически, с нуля, но уже обеспеченные всей необходимой спортивной инфраструктурой: от детских футбольных площадок до прекрасно оборудованных крытых стадионов. С этими футбольными центрами нам конкурировать крайне сложно. И прежде всего потому, что они собирают талантливую футбольную молодежь по всей России, в том числе и ребят с Алтая, причем начиная с 12 лет. Может быть, для общероссийского футбола это и хорошо, но для нас – не очень... К тому же, из тех кто туда уехал, «звездами» пока никто не стал, и станут ли в будущем – не известно. А вот возвращаются они домой (а они в большинстве случаев раньше или позже возвращаются) с определенными потерями, обусловленными длительным отрывом от своих «корней», от родителей и друзей. Автономная жизнь в незнакомой среде, на мой взгляд, отрицательно сказывается на молодых игроках в плане их личностного развития. Вот недавно к нам вернулись два парня из питерского «Зенита» и Краснодара, и им приходится заново начинать свою футбольную карьеру в «Динамо». Но, тем не менее, наша футбольная школа работает, готовит своих воспитанников достаточно хорошо. И школа Смертина начинает набирать обороты. Возможно, несколько воспитанников этой школы придут играть в нашу команду, хотя до сегодняшнего дня ни один футболист из школы Смертина в команду мастеров не попал. Возраст еще не подошел. Так что, повторю: все не так плохо. Конечно, того футбольного ажиотажа, что был в алтайском футболе в 1970-1980 годы, когда по 20 тысяч зрителей ходили на стадион «Динамо», достичь сегодня, полагаю, не реально. Жизнь сегодня совершенно иная, у людей иные жизненные интересы и приоритеты. Молодежь, к сожалению, с головой погружена в сферу компьютеров, Интернета и виртуальной реальности. К спорту многие из молодого поколения относятся вообще довольно прохладно. А с другой стороны, сейчас появилась возможность наблюдать по телевидению игру лучших футбольных лиг мира, и, наблюдая, сравнивать: что у них, а что у нас? И сравнения такие чаще всего не в нашу пользу. У нас ведь даже известная московская команда недавно лишилась стадиона и вынуждена была играть матчи чемпионата России в Екатеринбурге. Но, несмотря на объективно существующие трудности, я – оптимист и полагаю, что мы рано или поздно придем к новому расцвету

футбола на Алтае. Футбол как он был игрой номер один в нашей стране и во всем мире, так ей и остается. Думаю, серьезным толчком к этому станет предстоящий чемпионат мира по футболу. Пример Олимпиады в Сочи – перед глазами. Сколько ведь было критики и катастрофических прогнозов для нашей сборной, но игры прошли «на ура» и оставили серьезную материальную базу для развития зимних видов спорта в России. Вероятно, так же будет и с футболом. Ожидая, что внимание к футболу со стороны нашего государства в ближайшее время усилится. И наша команда постарается сделать все возможное, чтобы не оказаться на обочине российского футбола. Все-таки у барнаульского «Динамо» есть своя школа с хорошими традициями и более десятка наших воспитанников на сегодняшний день играют в командах первой лиги, а трое выступают в высшем дивизионе российского футбола.

– Футбол уже давно перестал быть только игрой. Он стал самым массовым зрелищем, доступным всем слоям общества. На него ходят все – от академика до заслуженного артиста и знаменитого писателя, каменщика или шофера, продавца магазина и, конечно же, наших детей. Он прививает патриотизм, стремление заниматься спортом, воспитывает характер и культуру. Понимают ли это те, кто отвечает за развитие футбола в нашем крае?

– Думаю, что у нас все это отлично понимают. Ведь есть тысячи примеров, когда, благодаря футболу, пацаны из подворотни находили свое достойное место в жизни. Так было раньше, так и сейчас происходит. Мы, конечно, всегда сетовали на то, что в крае уделяется недостаточное внимание развитию футбола, недостаточно он финансируется. Но, с другой стороны, когда помотришь на весьма скромный бюджет нашего региона, эта проблема видится в несколько ином свете. Бюджет клуба «Динамо» в этом году существенно вырос, хотя несколько лет до этого не увеличивался ни на копейку. Мы при одном бюджете играли почти 10 лет. Нынешний уровень финансирования нашей команды, я считаю, в общем, достаточным для команды второй лиги. А дальше посмотрим, что у нас получится.

– Почему же тогда «Динамо» оказалось в прошлом году исключенным из списка профессиональных команд или, говоря спортивным языком, вне игры? И правы ли болельщики, которые расценили сам этот факт как диверсию?

– Футбол в наше время – довольно дорогое удовольствие. Деньги нужны немалые на содержание футбольных полей и оборудования стадионов, на выезды команды, на не самые низкие в регионе зарплаты игроков, тренеров и судей. Шесть – семь миллионов в год нужно только на то, чтобы вывозить игроков на матчи в другие города. Взносы нужно вносить, и вообще, перечень расходов очень большой. Мы, конечно, можем критиковать футболистов за то, что у них слишком высокие претензии на оплату их труда, и критиковать порой, действительно, справедливо, но, с другой стороны, они же теперь – профессионалы. Это их работа, а за достойную работу нужно и платить соответственно. Практически все эти расходы ложатся на бюджет края, поскольку финансовое участие коммерческих структур в финансировании алтайского футбола очень незначительно. С другой стороны, во многих российских регионах, в отличие от нашего, своих футбольных школ нет, но есть гораздо большие возможности по оплате труда футболистов. Поэтому сегодня профессия футболиста стала престижной и довольно высоко оплачиваемой. Это – объективная реальность и с ней приходится считаться. Современный футбол – это большие деньги, а состояние бюджета Алтайского края оставляет желать лучшего. Команда «Динамо» долгое время играла на достаточно высоком уровне в своей лиге, костяк команды сохранялся на протяжении последних восьми лет, но из-за недостаточного финансирования копился ком проблем, в том числе со стадионом. Каждый год мы проходили лицензирование с огромным

трудом. А тут еще ПФЛ, не разобравшись в ситуации до конца, предъявила к нам свои претензии. Позже они сами признали, что эти претензии были необоснованными, но время было упущено и календарь игр был сверстан без нашего участия. В этом году нам уже пришло приглашение на лицензирование, и на сегодняшний день нет никаких проблем, которые могли бы помешать нам выступать во второй лиге. Сами же мы хотим в этом году выступать в двух лигах: молодежная команда останется играть в третьем дивизионе, а основная команда будет выступать во втором дивизионе.

– Люди ходят в театр посмотреть на игру своих кумиров – артистов. Такие же кумиры есть и в спорте. Будут ли в нынешнем «Динамо» футболисты, на игру которых потянутся смотреть зрители?

– Наша команда сегодня очень молодая, самый «возрастной» игрок – Погребан 1987 года рождения. Затем Завьялов – 1989 года рождения. Объективно говоря, мы ставим себе задачу в этом году быть сильной командой. Таких звезд, какие были у нас в свое время, как Кормильцев, Смертин и Кашинцев, у нас пока нет. И в этом году появления их ждать не приходится. Звездами футболисты в один день не становятся. Но у нас растет талантливая молодежь, и у некоторых из этих ребят есть все возможности, чтобы стать звездами. Команда «Динамо», составленная из игроков 1997 года рождения, вышла в финал всероссийских соревнований, куда не смогла пробиться молодежь многих клубов премьер-лиги. Таланты у нас есть, и они о себе заявят.

– Никто из наших игроков, выступающих в других клубах, не хочет вернуться в родную команду?

– Ряд футболистов уже такое желание изъявили. И мы ведем сейчас переговоры с ними. Конечно, во многих клубах зарплаты гораздо выше, чем мы можем предложить, но ведь важна и сама игра. Не всех устраивает перспектива просидеть сезон на скамейке запасных, пусть и за хорошие деньги. А у нас они смогут проявить свои возможности на поле. Уверен, что у тренерского штаба «Динамо» будет хороший выбор при определении состава команды на этот год. И решение будет выноситься главным образом с учетом игровых качеств. Я, кстати, в этот процесс стараюсь не вмешиваться.

– У нас уже есть тренерский штаб?

– В тренерский штаб входят Александр Валерьевич Суровцев, который исполняет обязанности главного тренера, и Борис Андреевич Коштур, тренер по физической подготовке. Также в этом году мы пригласили Андрея Николаевича Арефина, известного в Сибири футбольного специалиста из Новосибирска, который тренировал в свое время команду «Сибирь». С 1 марта он приступил к работе. Возможно, он будет у нас главным тренером, хотя рассматриваются и другие варианты. Сезон во второй лиге в этом году начнется с 15 июля. А до этого мы с 23 апреля будем участвовать в отборочных матчах кубка России. Основные же матчи первенства России начнутся с 9 мая.

– Сегодня спорт держится не только на бюджетном финансировании, но и на вливаниях богатых людей, равнодушных к нему. Известно, например, что алтайский бизнесмен Ракшин солидно помогает новосибирской футбольной команде «Сибирь». По некоторым сведениям эта помощь составляет десятки миллионов рублей. Почему, имея основную торговую сеть своих магазинов на Алтае, он не помогает команде «Динамо»? Почему не участвуют в ее поддержке другие наши олигархи? Ведь такая помощь дела бы им не только честь, но и признание людей.

– Трудно говорить за другого человека. Тем более, что я не олигарх. Мы ведь можем только что-то предполагать с той или иной степенью уверенности. Бога-

тые люди финансируют спорт, как правило, потому что об этом их просит власть. В данном случае – власть Новосибирской области. Причем попросили его на каких-то определенных условиях, которые самому Ракшину оказались интересными. Лучше, конечно, об этом самого Ракшина спросить. Вообще же, нередко финансирование футбола в регионах зависит от непосредственного интереса к этой игре губернаторов или мэров крупных городов. Есть много примеров, когда футбольные команды возникают, практически, «на ровном месте», но затем так же бесследно пропадают, когда эти губернаторы и мэры покидают свои посты. Так в свое время было в Калмыкии или в Назарово (Красноярский край). Развивать спорт нужно с организации специализированных детских школ. Галицкий, тоже владелец торговых сетей, именно так на Кубани и делает, за что ему честь и хвала. Но он вкладывает в создание футбольной инфраструктуры личные деньги и, получается так, что пытается конкурировать с государством. С моей точки зрения, это неправильно. Все должны быть в равных условиях, пользоваться равными финансовыми возможностями. Думаю, в перспективе все футбольные клубы должны стать частными. Тогда футбол в нашей стране будет развиваться естественным образом, а практика упования на покупку за огромные деньги футбольных легионеров из-за рубежа перестанет быть главной стратегией побед наших российских команд. А алтайские олигархи помогают команде «Динамо» каждый год, но размер этой финансовой помощи, прямо скажу, не очень значительный. Тем не менее, прошлые годы без этих небольших средств мы бы вообще не выжили, и мы им за эту помощь искренне благодарны.

– Материальная база команды «Динамо» обветшала. Стадион «Динамо», построенный полвека назад, ни разу не реконструировался. У поля нет подогрева, на стадионе нет табло. Об удобствах зрителей не приходится и говорить. Культура обслуживания на стадионе на уровне первых послевоенных лет. У нас есть какие-нибудь перспективы шагнуть в XXI век?

– Начиная с прошлого года, перспективы у нас, я считаю, хорошие. Мы договорились с администрацией края и совместно нашли финансовый механизм вложения денег в нашу футбольную инфраструктуру. Это было не просто, но мы это сделали. В течение 3 лет мы получим 42 миллиона рублей на реконструкцию стадиона «Динамо». Шесть с лишним миллионов мы получили уже в прошлом году и уже их освоили. На эти деньги закуплены три с половиной тысячи пластиковых кресел. И сейчас идет их установка на северной трибуне стадиона. Болельщики теперь будут значительно комфортнее чувствовать себя на матчах. К началу сезона северная трибуна будет полностью реконструирована. Кроме того, мы планируем оборудовать ложу для журналистов, оснащенную всем необходимым: удобными столами, сиденьями и так далее, вплоть до Интернета. Кроме того, уже куплено и установлено новое мультимедийное электронное табло, а также собираемся обновить асфальтовое покрытие на всей территории стадиона, а дальше будем заниматься системой подогрева поля, освещением и так далее. Параллельно краевой совет «Динамо» сейчас ведет переговоры с администрацией края об инвестировании средств в реконструкцию внешнего периметра нашего стадиона, в создание современных торговых точек. Думаю, что и этот вопрос в итоге будет решен положительно. Пока нет огромных миллиардов и в краевом бюджете и в обществе «Динамо» на строительство нового футбольного стадиона в Барнауле, такой вариант развития инфраструктуры, с моей точки зрения, вполне приемлем.

– А стоит ли хотя бы в будущем надеяться на появление в Барнауле нового крытого футбольного манежа, чтобы и дети и взрослые футболис-

ты могли заниматься круглый год любимой игрой, как в Омске и Новосибирске?

– Насколько мне известно, на недавней встрече нашего губернатора с президентом страны эта тема обсуждалась, и вопрос этот в принципе был решен положительно. Началась подготовка необходимой документации. Но, вряд ли этот манеж появится в ближайшие годы. Строители, конечно, могли бы возвести его достаточно быстро, но согласование финансирования занимает, как правило, немало времени.

– Барнаульские болельщики знают цену хорошему футболу. Они ждут от команды только самых высоких результатов. Насколько могут оправдаться их ожидания?

– Мы делаем для этого все возможное. Мы начинаем лицензирование во второй лиге, и вернуться в нее мы хотим, конечно, не для того, чтобы удовлетвориться какой-нибудь «почетной» шестой ли седьмой строчкой в турнирной таблице. Рассчитываем, как минимум, быть в призерах, а как максимум, если все будет складываться удачно, собираемся бороться за первое место. Поскольку команда у нас очень молодая, и, по сути, не завершился еще процесс ее окончательного формирования, более амбициозные обещания давать сегодня было бы неразумно.

– А будут ли какие-то нововведения в самой организации игр этого года во второй лиге?

– Возможно. Сейчас рассматривается вопрос о введении правила для команд: в заявке на матч должны быть указаны не менее 50% собственных футболистов этих команд. Я, правда, считаю, что нужно ввести за правило такую ситуацию, чтобы на поле было не менее 5-6 своих игроков, но для начала и такой вариант уже не плох. Это будет серьезным препятствием для попыток победить «любой ценой» силами «гастарбайтеров». Все-таки футбол не та игра, где один-два звездных игрока могут обеспечить победу над командой мастеров. В итоге это должно хорошо сказаться на развитии отечественного футбола.

– Благодарим Вас за беседу, Виктор Владимирович! И удачи «Динамо» в наступающем футбольном сезоне!

– Приходите на наши игры. Мы собираемся порадовать своих болельщиков достойной игрой.

Интервью подготовил **Константин ФИЛАТОВ**

Иван МОРДОВИН

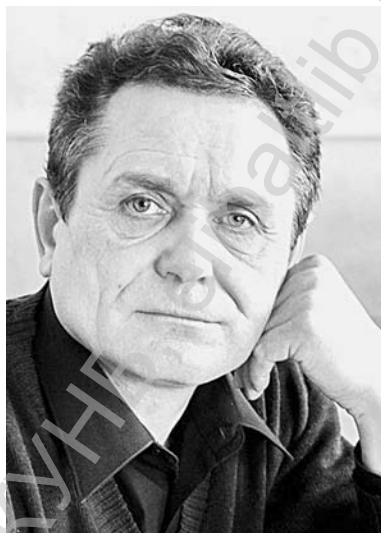
Иван Мордовин родился 11 сентября 1948 года в с. Кольванском Павловского района Алтайского края.

Его стихи публиковались в краевой, региональной и центральной периодике, в журналах «Алтай», «Огни Кузбасса», «Енисей», «Барнаул», «Бийский вестник», в еженедельнике «Литературная Россия», в различных коллективных сборниках.

Он автор четырех поэтических книг. Дипломант Первого всесоюзного конкурса поэтов-верлибристов им. В. Хлебникова (1988 г.) и лауреат краевых литературных премий: им. Н.М. Черкасова (2005 г.), «Певцу родного края» (2008 г.).

Член Союза писателей России.

Живет в Барнауле.



ПОДСНЕЖНИК

Зима приходит и уходит,
Подснежник корку льда пробьет.
Все повторяется в природе –
Свершается круговорот.
И мы с тобою не исчезнем –
Хочу я верить до конца.
Зачем, зачем с печальной песней
Прощаться вышла у крыльца?
Я возвращусь в начале мая,
Меня ты встретишь у ворот,
Когда последний снег растает,
Когда подснежник расцветет.

ВЕСНА

Приход внезапен взбалмошной весны.
Чего так ждешь –
внезапно вдруг приходит!
Покою сердце не находит,
как после выстрела
среди тишины.
Но ты по-прежнему живешь,
ее единственную любишь!
И знаешь, что себя погубишь,
другой подобной – не найдешь.
Всего лишь миг – и в капельках росы,
в снежинке каждой космос тает
и, птицей притворившись, улетает,
посадочной не зная полосы.

ВИОЛЕТТЕ В АРГЕНТИНУ

Кактусы за твоей спиной,
за мою – мальвы
в охапке света.
Ты в далекой стране
не со мной,
распрекрасная Виолетта.
Вот метелицы заметут
городок, что похож на волка...
Очень холодно, зябко тут
и без кактусов
очень колко.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СНЕГ

Застрелиться... и делу конец.
Ни оркестров, ни отпеваний.
Девять граммов – свинцовый венец,
избавление от страданий.
Как прекрасен в этой стране
взгляд девчонки – веселый, синий
и подаренный ею мне
поцелуй,
на ресницах иней,
из моби́льника звонкий смех,
поздравление с Новым годом...
С неба падает белый снег.
Белый, белый.
Откуда он родом?

ИЗБА*Как ныне собирается вещей Олег...*

А. Пушкин

К Олегу в стан собираться надо,
 Черед и мне, брат, и тебе.
 В набегах врагам услада,
 А не в бревенчатой избе.

Ее покинуло народа
 Немало испокон веков.
 Изба у сада-огорода
 Ждет не дождется мужиков

С полей, удобренных богато
 Глубокой раной ножевой...
 Ждет своего она солдата
 Под ветхой крышей дождевой.

СОЗЕРЦАТЕЛЬ*Николаю Гайдуку*

По ту сторону белого света
 Занесло однажды меня.
 Там я встретил живого поэта
 В захолустье безвременья.
 На вершине плывущего рифа
 Посреди немой пустоты
 Мне напомнил он древнего скифа
 Непреклонной, степной красоты.
 Его пряди в ковильных созвездьях
 развевались,
 в раскосых глазах
 фиолетовых
 солнца плескались,
 отвергая забвения страх.
 В невесомых, просторных одеждах,
 без тугой тетивы и коня,
 он казался совсем не мятежным
 и с надеждой глядел на меня.

ИЗ 90-х

Девочка-стервочка,
 морщинка на лбу.
 Подлое времечко
 на гульбу и пальбу.
 Морщинкою той отмечена
 пропасть лихих годов.
 Впрочем, обычная трещинка
 на скорлупе веков.

АНГЕЛ

Мерцают звезды за окном,
 Сугроб глядит в мое окно.
 Нам хорошо сейчас вдвоем
 С любимым ласковым котом.
 Он в унисон мурлычет мне,
 А я возьми вдруг замолчи...
 Вновь ангел в ледяном окне
 Явился посреди ночи.
 Его так просто взять... прогнать...
 А ну, лети себе, лети!
 А то привык людей пугать,
 Спасать,
 Кого нельзя спасти.
 Известен мне твой Млечный Путь,
 Какую весть несешь в глазах...
 И так мне хочется уснуть,
 Про все забыть
 в зеркальных снах.

ЖУРАВЛИ*Петрову-Одинцу*

Я ничего, мой друг, не понимаю,
 В немом оцепенении стою,
 Птиц запоздалых провожаю стаю,
 Тоску неразрешимую свою.
 В полете птицы обретают волю,
 Ты их назад вернуться не зови.
 Пусть льется песня над затихшим
 полем
 Последним откровением любви.
 Не рви цветов прощальных,
 Уцелевших
 Среди пожухлых
 Золотых садов.
 Не надо слов –
 Дежурных, надоевших –
 В предчувствии осенних холодов.



Михаил ТАРКОВСКИЙ

Михаил Тарковский родился в Москве в 1958 г. После окончания пединститута им. Ленина (отделение «География-биология») уехал в Туруханский р-н Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником.

Автор рассказов, повестей и очерков о жизни таежных охотников и рыбаков. Лауреат премий журналов «Наш современник» и «Роман-газета», а также премий Соколова-Микитова, Шишкова, премии «Ясная Поляна» им. Л.Н. Толстого.

Живет в п. Бахта Красноярского края.



ЕНИСЕЙ, ОТПУСТИ!

Повесть

ГЛАВА I

1

Глаз человеческий так устроен, что враз один только кусок жизни видеть, и если стоять на берегу реки или океана, то углядишь лишь воды синюю полосу, да камни, да ржавый винт, да домишко с дымом, да еще что-нибудь заскоружло-простое, вроде ведра и лопаты. А бывает, во сне ли, в какой другой дороге так от земли оторвет, что аж зудко станет, как глянешь вниз – сначала будто облачка пойдут, потом забрезжит что-то промеж них, а дальше присмотришься – и вся махина памяти разворачивается, будто плот, и куда ни ступи – все живей живого, и одинаково важно каждое бревнышко, а вовсе не то, что последним подцепил.

Один человек был женат трижды. Прожил он долгую и трудную жизнь, идя в ней по велению сердца и делая то, что считалось правильным среди его товарищей – простых и работающих людей, промысловых охотников. С первой женой прожил он несчастливо и расстался, потеряв сына. Позже встретил и полюбил он другую женщину, но и с ней долгих отношений не вышло. Тогда он совершил поступок, многими наотрез не понятый: оставил тайгу и все в ней нажитое и уехал в город. Там он вскоре сошелся с доброй и приветливой женщиной, однако, привычка к промыслу оказалась столь сильна, что через несколько лет он затосковал и решил вернуться ненадолго в те таежные места, где, как ему верно казалось, он только и был собой.

Неоглядный снег и лед встали перед глазами с первых дней жизни в городе и уже больше не отпускали. Виделось все по-зимнему отчетливо: меловой яр с гранеными откосами и черными языками тайги, деревня с такими вертикальными дымками, что казалась подвешенной за них к небу. Синяя

алмазная даль, резные торосы, залитые снегом, словно мчатся единой и неистойвой стаей, и за каждой торосиной с подветренной стороны шлейф, стрела, нисходящее снежное ребро с точеным лезвием.

Солнце низкое и густое, будто пробиваясь сквозь кристаллический воздух, перегорает от натуги, да и дня-то нет – один закат. Все резкое и нежное, словно выделено главное, и внутри все чувства тоже окрепшие и самого густого замеса. Снег на заторошенном Енисее рельефный – бескрайнее горное покрывало, и у каждой вершины один склон нежно желтый, а другой – синий.

Прорубь с засаленной прозрачной водой и рыбаина с огненными пятнами на боку, замирающая, чуть коснувшись снега, будто тот под морозом, как под током. Обратная дорога с сети, терпеливое переваливание ревущего «Викинга»* через торосы, полет вдоль берега и избяное тепло, медленно доходящее до лица сквозь забрало куржака. И чувство, когда и точная тяжесть пшени, и холод, и арктическая ширь Енисея, и жар печи доведены до такой обжигающей остроты и так режут по душе, что все прочие лезвия как посаженные.

Пока месишь снег или ворочаешь засевавший в наледи снегоходище, ослепительность снежной окрестности будто выключена и становится наградой лишь по завершении дела, когда, переодевшись в драную фуфайку и таща в избушку охапку дров для раскаленной печки, боковым зрением уловишь догорающее небо. И именно эта вековая драная фуфайка и ватный зуд в перетруженных ногах и дают право на этот алмазный снег, рыжую икру в мятой алюминиевой чашке и красно-зеленое зарево северного сияния, набранного из фосфорно светящихся иголок – точно таких, на какие по весне рассыпаются непомерные обсохшие льдины.

Колка дров, скрип полозьев, легкие и крепкие звуки, будто все пространство поскрипывает на морозных шарнирах, и ликующие дни в начале зимы – с бледно-рыжей взвесью солнца в воздухе и огненным жезлом над местом его погружения, и законченное совершенство округи тем непосильней, чем раздрызганной людская жизнь. А дальние и ближние предметы одинаково четко глядятся сквозь стеклянное пространство меж небом и землей, и оно заполнено то синим, то рыжим, то сизым гелем и лишь в оттепель отмокает в бесцветном растворе.

Загар самый жестокий весной, когда день длинен несказанно и синева в воздухе то прозрачная, то шершавая с седым песочком, но всегда обложная и затухает лишь на ночь. С утра и до полудня мороз и округа еще под слоем железного снега, и человек в тайге ли, на реке ли – всегда в дороге, и лицо выделано потом и выдублено налетающей смесью солнца, ледяного воздуха и снежной пыли. С ветра кожа красная и ночью во сне остывает, как заготовка, доспевает смуглостью, зато лоб под шапкой всегда голубовато-белый, и граница – как по линейке. Ниже нее рыжина, смуглина, охра – луженая, жухло-кремневая, будто вековая; глянешь – вот и кедровая плаха такая же, и смола на затеси, и жир на подвяленной рыбаине – все одного хозяйства инвентарь, одной далью мечено.

Было тогда что-то дальнбойное и в облике Прокопича. Лоб, лицо прямое, брови, выгоревшие до белизны, скулы обожженные, каленые, каркас их высокий, крепкий, будто для раздвижения пространства, отбоя ветра. Лицо густо-желтое, и на передыхе-остановке на нем в прозрачные капли то-

* «Ямаха-викинг» – название снегохода.

пится снежная пыль. Кожа чуть подсочена, подсушена морщинками, и дело не в возрасте, а в постоянном прищуре, выглядывании дороги то в слепящей бесконечности, то в мутном молоке. Теперь лицо Прокопича розовато-белое и дряблое, словно, лишившись загара, осталось без пропитки от старости.

2

– Знаешь, Прокопич, поезжай – я тебе уже и рукавицы сшила. Поезжай – и тебе, и мне легче будет, я тебя прождала столько, что уж три месяца – не разговор. Все равно жизни нет... с твоим Енисеем. Садись пилимени ись, – говорила Зинаида Тимофеевна, женщина негромкая и умная тем крепким и добрым умом, которым бывают так сильны простые русские люди, хлебнувшие лиха и выжившие внутренним светом.

Енисей, выбираясь из города, начинался постепенно, ширясь с каждым днем дороги и, словно щадя, забирал душу постепенно. Толкач буровил его двумя спаренными баржами, заставленными контейнерами, бочками, железяками. Все это было нагромождено так плотно, что, казалось, вот-вот рухнет и только держится друг на друге, как на клею. Баржа сидела низко, и вода перекатывалась через нее, как через плот. Прокопич то поднимался в рубку к капитану, крепкому дельцу и давнишнему знакомому, то стоял на палубе в неуклюжем оцепенении, раздавшейся фигурой вбирая простор.

Скалистые лесные хребтики, дымка, проблеск автомобильного стекла на берегу – все казалось огромными пространствами для счастья, куда можно вместиться своей кубатурой, а лучше двумя смешанными, заполнить, чтобы оно наполнилось смыслом, заработало, а не пропадало ничейной и дразнящей далью.

В А., последний большой поселок перед деревней, пришли утром и встали на разгрузку. С борта тленно-речной запах берегов, смолистый – леса доходил только слабыми волнами, отрывками, и теперь догнал и поглотил. Галечный берег, грубо развороченный колесами и гусеницами, полого восходил к высокому угору, вдоль взвоза стояли в разных позах ржавые баржи и понтоны, мимо них медленно спускались к воде трактора и машины. На рейде плавкран поднимал лес на грузовое судно.

Обилие техники должно было поглотить, закоптить, но все это грохочущее железо оказывалось ничтожно мелким, незначительным по сравнению с огромным Енисеем, с дымкой, белесой не от снега, дождя или тумана, а от запредельной задумчивости пространства. И чем дальше к Северу, тем сильнее ощущались осенняя тугота пространства, его наполненность каким-то выматывающим смыслом, от которого сосало под ложечкой и казалось, что все люди с их судьбами нечто подсобное, а главная тяга – где-то рядом гудит в навалившемся поднебесье.

Весь день ждали кран, усланный на другую работу, и Прокопич прибил к вареву прибрежных мужиков, необыкновенно невозмутимых на любую проволочку, отточенных на слово и мастерски притертых к окружающей обстановке. Обсуждали дизеля, легко кочующие с машин на баржонки и наоборот, и продирались по самым сложным узлам с такой свободой, что любая запчасть, протертая их комментариями, набиралась невиданной живучести. У каждого была прорва техники, и они, как руками, продолжались ею в тайгу и на реку, и теперь из затишка передышки озирали свой размах, и без их участия будто хранящий форму.

Терся при них поддакивающий и никем не замечаемый мужичок, давно уже существующий при утечке водки, как жадная тряпочка. О своем вечном похмелье он рассуждал, как о чем-то отвлеченном, внешне планетарном, и

исключал всякую его связь с собственной волей. Он с тихим раздражением бубнил, что если не похмелится, с ним снова будет то-то и то-то, и требовал подмоги с чистым сердцем. Не встречая в других отклика, он почти жалел их за трудное и многогранное существование, и если у всех окружающих жизнь имела неизбежные переключные и пустоты, то лишь он один казался обеспеченным монолитным делом до конца.

Обладал он своеобразным географическим сладом с пространством и, рассказывая о родных, с точностью до градуса давал хозяйский направ-кивок головой: «в Хатанге», «в Алинске», «в Чиринде». Примечательно, что прострел «в Южно-Курильске» звучал так же просто, как и «в Шишмаревке».

Нужный кран в тот день так и не приехал, и разгрузка баржи перенеслась на утро. Небо расчистилось, и на фоне заката плавкран монотонно вращал стрелой, взрабатывая дизелем и нанося соляжкой. Пароход с лесом ушел, и над головами вместо строп носился огромный трехстворчатый ковш, которым кран брал у себя из-под борта грунт. Ковш, раскрыв пасть, с грохотом рушился в воду, отяжелело поднимался, полный гальки, и из его сжатых челюстей мощными лентами сыпалась вода. Вечерний холодок подобрал дымку, и даль с металлической толчеей волн и темно-синим хребтом будто сложилась, и в душе тоже все сжалось в одну крепкую картину при взгляде на пылающее рыжее небо, на фоне которого продолжал метаться черный и отчетливый ковш.

Утром подошел снизу катер с баржой, и Прокопич еще продолжал кутаться в остатки сна, казавшиеся тем уютно-спасительней, чем настойчивей врзалась в сон упругая сирена. Воздух был режуще свеж, когда он вышел из затхлой каюты, спустился по трапу и, прохрустев мокрой галькой к воде, умылся ледяным Енисеем.

Поворот скрывался в тумане. Катер работал, пенилась белая вода из-под кормы, парнишка-матрос, сидя на сырой бухте каната, курил папиросу, и дым был острым и давнишне знакомым. Темный берег стоял стеной, но солнце уже холодно лучилось сквозь лиственницы, чайка кричала с реки вольно и отстраненно, и все эти безошибочные штрихи брали глубоко и вязко, будто подлинность жизни была в прямой зависимости от ее сырости и стыни.

И Прокопич все больше терялся в густом и плотном тумане происходящего, и каждый день за ним смыкались мысы, как глухие двери, и то, что значило все, с утра рвало душу, а к ночи рубцевалось и отпадало отсохшей корочкой, и все было неправдой – и эти глухие, как туман, створки, и эта корочка, и эта требовательная даль; а правдой были только совесть, память и то, как укладывается неподъемная бухта жизни в сердце и голове.

Палуба баржи, на которую он поднялся, была со швами сварки и вся в испарине, и на ней стояли оббитые трактора без фар, ящики, узлы и бродил сутулый кержак в энцефалитке.

3

Прокопич держался на том, что святее и единственнее той жизни, которую он вел, нет ничего на свете, а когда уехал в город, оказалось, что остальные людские пути сосуществуют в мире с таким стальным и равнодушным равноправием, что его судьба чуть не распалась. Другая жизнь была униженно рациональней и требовала опоры, но любая из этих опор, по сравнению с Енисеем, казалась искусственной и нуждалась в постоянном укрепе. Да и плотность этой жизни казалась чрезмерной по сравнению с сельской, происходящей из естественной утряски людей по земной поверхности. Она-то и давала и разреженность, и волю, делая из каждого человека событие.

Относиться хуже к людям он не стал, но именно в вынужденности людской близости, не подкрепленной никакой обобщающей далью, и была основная потеря городского сожительства. Худая близина эта заминала какие-то важные закраины души, и что-то в ней гило, отмирало и гасло, и даже во сне толпы посеревших смыслов клонились и мялись в ее волнах, как водоросли.

И много тяжелой воды утекло, прежде чем Прокопича выдавило сквозь слои осознания и вернуло к жизни, но уже на других правах, и теперь все, что он встречал, находилось с ним в особых отношениях, которые нельзя было назвать иначе, чем последняя близость всему существу. Все живое и неживое стало так право самим фактом своего существования, что прежний опыт уже не давал ничего, кроме чувства великого незнания, и бывшего единственной силой. И чем гуще оказывалось вещество окружающей обстановки, тем сильнее ощущал он собственное разрежение и тем сильнее манила заострившаяся знакомость жизни.

И кержак на барже был тоже давно знакомый, с плохими зубами и рыжей клочковатой бородой, у всех староверов растущей с горестной вольностью, из-за какой облик их и обретает выражение той потрепанности, по которой они безошибочно узнаются. «Асон, – представился он и срифмовал, как запомнить: – Сон – Асон». Был он словоохотливый, но когда Прокопич спросил, чьи трактора, пожал плечами и только позже, прошував разговором, негромко поделился: «Мои».

– С Объединенного? – догадался Прокопич.

– Но. Поужнее перебираюся. К сыновьям. Жена там уже.

– А чо так?

– Да надоело. Бьешься-бьешься – и все без толку. Договорился с начальством, что картошку, капусту принимать будут. Бесполезно. Одни обещанья. Они, оказывается, в городе набирают и сюда везут – дешевле. Прошлый год сулились ягоду принять, так в разговор и ушло, а мне пришлось семьдесят ведер в Дудинку везти. – «Ведер» он произнес через «е».

Некоторое время Асон рассказывал, как гостил у брата в Боливии.

– Ну и чем там ваши занимаются? – спросил Прокопич.

– Ну, в общем, этой – агрокультурой.

– А живут лучше, чем здесь?

– Конечно, лучше! – возмутился Асон. – Там пахарей ценят. Это только у нас простой труд не нужен никому.

– А чо ж возвращаются-то? – спросил Прокопич.

– А здесь Бога больше, – ответил Асон.

– А как там зверь-птица? Шарится хоть живность-то кака-то? – сгрудились мужики.

– Да вот было дело: решили раз с братом пройти охотой.

– И чо добыли? – застыла компания.

– Тропическу чушку.

Приехал кран и за час все разгрузил. Прокопич поднялся на буксир. Заработал дизель, и баржи с мокрым шорохом сползли с берега. Казалось, прошел целый год, пока Прокопич торчал на берегу. В ушах звучали голоса, перед глазами стояли потрепанный Асон и похмельный мужичок, переспросивший про «тропическу чушку» и привычно кивнувший в сторону Боливии, причем на юго-восток, будто взгляду было привольней прошить Сибирь, Китай и Тихий океан, чем тесную Европу.

4

Слушая с уже родного уютного дивана рокот двигателя, глядя с палубы на берега, Прокопич вдруг поймал себя на зачатке мысли о том, что он никуда не хочет приезжать, потому что чем ближе была деревня, тем сильнее давила душу тревога и беспокоил вопрос, примет ли его тайга. Он ощущал себя, как молодой парень, который бросил любимую, а счастья не нашел, и на душе тоска, и кажется, стоит девушку увидеть одним глазком, как покой вернется и его можно будет, не оставаясь, унести, будто плащ. Он долго добирался и у двери понимает, что время ушло, неизвестно что у девушки на уме и цела ли забытая одежда.

Никогда Прокопич не чувствовал себя таким обостренно обидчивым к происходящему. Парень заводил мотор и что-то кричал на отходящий толкач, бабенка передавала посылку, и все показывало, что жизнь движется подчеркнута независимо от Прокопича. Хотелось встретиться с ней глазами, убедиться, что признала, но она глядела мимо и особенно ласково оказывала волной убогую лодчонку паренька и его обшарпанный мотор, будто награждая за неподкупную связь с Енисеем. Он принадлежал этим берегам с головой, а Прокопич, несмотря на свой осанистый вид и законное похаживание по палубе, был раздвоен выбором и отлучен от главного, потому что Енисей брал на духовное иждивение лишь тех, у кого выбора не было.

Как ни готовился Прокопич ко встрече с родной деревней, всё – и берег, и камни, и даже дым ребячьего костра – оказалось неузнаваемо другим, отличным по цвету, выражению, будто предметы остались теми же, но были обведены контуром совсем иного состава. Он и раньше замечал, как меняется мир каждый год, и давно понял, что дело только в глазах и что как по-разному напишут десять художников один камень, так и сам он за десять лет увидит его в десяти разных копиях.

Еще с города виделась Прокопичу сухенькая предосенняя погодка, аскетический рядок изб на угоре, сизое небо. Галечник, пески – все ровное, строгое, прямое от горизонта до горизонта, вышколенное и отутюженное до стальной линейности речной работой ли, памятью ли уехавшего человека.

В деревню пришли утром, а с вечера напозла незаметно сплошная и тихая туча, ночью пошел дождь, а утром, когда Прокопич по крутому трапу сошел на берег и чуть не споткнулся о трос, натянутый меж лебедкой и чьей-то лодкой, все казалось особенно парким, синим, дымящимся и будто снятым с гигантской и сырой печи.

Необыкновенно заросшим новой, дикой и сочной травой казался подъем к угору, и волнами валили пряные и спелые запахи земли, дерна, навоза, какой-то сладкой падали. Все было расхристанным и раздрызганным: кусты новой травы и осыпавшийся угор с норами береговушек, жирно чиркающих над головами, несмотря на осень, рыжие куски гнилого дерева, ржавая шестеренка, запчасть собачьей челюсти. И на угоре пористые углы старых изб, выступающие вразной торцы с рыхлыми звездами трещин, истлевший брус с крепким рыжим сучком под осыпавшейся серой мякотью, кусок которой мертво валялся рядом. Лохматая сучка с репюхами в штанах, прихрамывая, пробежала с настолько деловым видом, будто опаздывала на важнейшее собачье заседание, где решался вопрос, запускать ли охотникам собак зимой в избушки, и если да, то, начиная с какого градуса. Еле узнаваемый в усохшем пенсионере остяк по кличке Пушкин брел с похмелья и было рыпнулся к новому приезжему с предложением мгновенных и неогра-

ниченных пушных и рыбных услуг, но, узнав Прокопича, открыл рот и восхищенно застыл едва не на неделю.

К десяти завязался ветерок, тучи раздуло и вода из мокрого дерева стала уходить, сжимаясь и собираясь пятнами по пепельному полю, и буквально за час небо вытянуло всю влагу в мутную дымку и унесло за горизонт.

Остановился Прокопич у Володьки, тут же со сказочной строгостью отправившего его в баню («Тоже Баба-Яга!»). Володька нагонял пар, пока тот не достиг такой обжигающей силы, что казалось, из-под веника идут ледяные сквозняки по всем закоулкам души и тела. До поры это не приносило ничего, кроме сладкого зуда, но вдруг после одного гейзерно-долгого выброса пара от жгучего удара веника невыносимо зачесалась спина и каждый его охлест начал приносить сумасшедшее наслаждение, будто меж телом и веником вился невидимый гнус и его припечатывали распаренной березой к спине, как мухобойкой. Прокопич выскочил из бани и, взревев, вывалил на себя ведро стылой осенней воды, почерпнув из дождевой бочки.

Он сел на крыльцо. Сердце стучало ровно. Выжав лишнее, оно поджалось и окрепло и, целиком взятое в оборот, впервые за многие годы не успело думать.

Забрезжил утраченный натяг жизни, без которого происходящее замирало и, объединившись с Прокопичем в одно целое, окрашивалось в цвет его тоски. Как во всяком человеке, она, будто ветер, могла дуть сутками, потихая, лишь когда происходящее отрывалось и шло хотя бы на полкорпуса впереди.

Задувала с ночи и к полудню катала душу свинцовым валом, отливая на солнце, и он знал, что так и будет, потому что слишком мало времени, чтобы правильно переделать все троса жизни, в которой и всего-то два берега: окружающие люди да великая плоть Земли, а все меж ними залито трудовым Енисеем родного дела и мечтой о доме, без которого погибель. Но даже если все и как надо сделано, то все равно найдет дырку свербящий ветерок и надует положенную недостачу счастья.

Сидели за бутылочкой – плотный, раздавшийся Прокопич и худощавый бородатый Володька, с розово поблескивающим тонким, чуть шишковатым носом. Володькой он был только для Прокопича, а остальные звали Степанычем этого трудного мужика, которого ничего не интересовало, кроме его тайги и куска Енисея, где он жил навечно, как пристойная рыбина. Казалось, полста лет бил он в одну точку, но только эта точка была таких размеров, что ее ускользящее яблочко сводило воедино все жизненные прицелы. Охотничий участок Прокопич, уехав, отдал Володьке, и тот прибрал его лучший кусок, куда теперь Прокопич и собирался.

Пришли человека четыре близких, да еще забрел Борька, осеребрившийся, ссутулившийся и как две капли воды похожий на своего покойного отца, знаменитого механика. Его возврат в образе Борьки давал ощущение и горькой остойчивости жизни, и ее вечного размена, потому что Борька в подметки не годился отцу.

Мужики обрадовались Прокопичу по-человечески просто, в объезд его раздумий и не требуя объяснений. Прокопич, в себе самом только и ценивший причастность к Енисею, не догадывался, что многие его товарищи, особенно приехавшие позже, эту жизнь и открыли через него и ему подобных и поэтому не сомневались, что Енисей в таких не кончается.

Всю неделю до отъезда в тайгу Прокопич готовился сам и помогал Володьке прибираться к зиме. Досняли картошку, вывезли лодки, оставив

только деревяшку, скатали бревна, испилили и перекололи остатки дров. Погода стояла солнечная. Прозрачный северок остужал потеющее тело, и жара сколько приходило, столько и уходило. Подчищенный сухой огород с одинокими копешками ботвы, трактор со слитой водой, перевернутая бочка — все оцепенело, обещая, что снегу хорошо будет ложиться.

Отъезд в тайгу представлялся огромными воротами, которые так окрепли и отстоялись в воображении, что казалось, когда он войдет в них по-настоящему, сотрясут все его существо до самых глубин, но шаг за шагом вдавался Прокопич в будущее, и ничего не происходило, несмотря на то, что он уже сидел в деревянной лодке на горе груза, Володька ворочал румпель и мимо набирал ход галечный берег с осиротелой кучкой провожающих.

Стык должен был пролегать между рывком шнура и первыми проворотами винта, но ничего не сотрясалось ни внутри, ни снаружи, и он близоручко озирался, чтобы не прозевать долгожданную дверь, а она стояла так близко, что он был ее частью, а она таилась и ждала, когда он скроется, чтобы спокойно и навсегда затвердеть.

Не было никаких ворот, вообще никаких сооружений на входе в постепенное и упругое настоящее, и даже наоборот, вода казалась совсем плоской, и Прокопич как-то особенно голо укрывался от ветерка, обтрепывающего груз, но о том, что перевал произошел, говорило ощущение нового открытия. Оно состояло в том, что главным потрясением, ожидавшим его столько лет, была полная простота произошедшего.

Вода Феофанихи, впадая в Енисей, долго текла вдоль берега, не смешиваясь, и была темно-синей, а Енисей казался рядом с ней грязно-мутным и разбавленным. В эту горную воду они въехали тоже постепенно и незаметно и принадлежали Феофанихе с упреждением. В устье глядел с берегов частокол карандашно-острых, будто из-под точилки, пихт. За поворотом в галечном перекате мотор выворачивал прозрачную воду как плугом, и под ее стеклянной кожей проворно и длинно вился за винтом пенный смерч. Через пять верст встали по берегам кедровые увалы, через пятьдесят река подсушилась и ощерилась камнями, а через сто восстала грозовой синью над ней горная даль. Русло сжалось, и они долго ехали сквозь зубчатое нагромождение ржавых кирпичей и кубов, и, пока поднимали порог, хребты настороженно нависали, а когда прошли верхний слив, успокоенно расступились и стали поодаль.

Отвезя друга на базу, Володька оставил его одного.

ГЛАВА II

1

Как ни тепло и понятно было Прокопичу с Зинаидой Тимофеевной, просторы брошенной жизни заявляли о себе неумолимо, но едва попал он в ту обстановку, о которой тосковал, как стронулось и завращалось неподъемное колесо памяти и он стал принадлежать себе еще меньше.

Все самое главное протекало для него в этой тайге, здесь сколачивал он окалину людских отношений, выстаивал мутную взвесь событий до зимней ясности, здесь тосковал по дому, маялся разладом с Людой, виной перед сыном и здесь горел любовью, когда появилась в его жизни Наталья. Мысы с камнями хранили каждую складку его лица, а теперь, намолчавшись, заговорили без спросу, и едва напомним ствол листвени изгиб женского тела, как душа с детской послушностью пустилась в путь, волоча Прокопича по

старицам прошлого. К вечеру обострились запахи дыма, тайги, горькой травы на жухлых берегах, и отверзлось, насколько привязан он к этому миру и насколько велика ноша этой привязи.

Под нарами валялась баночка от Андриюшиного детского питания, просроченный ящик которого был отдан Прокопичу в тайгу, и они в Володькой даже пытались им закусывать.

Острые на новое и производительное охотники давно уже обезжиривали соболей женскими колготками. Отрезали нижнюю часть, и получался капроновый носок, который надевался на руку. Такой варежкой и одиралась жирная и ускользящая мездра – капрон оказывался хватче остального. Колготки увозились в тайгу с запасом, служа предметом шуточек: дескать, барахляных этих девок вытрясаем, а колготки в дело запускаем. На гвозде висел увядший слепок Натальиной ступни.

Воистину сосуд человек и послушно наполняется окружающим, а когда кончается заряд привычного, мается неприкаянный и открытый ветрам, пока в извечной работе не соединится с жизнью в новой застройке. Однако ничего не рушится в сердце, а только прячется, оберегая, поскольку нельзя одновременно идти по двум бортам реки, не порвав душу.

Но в какой цвет не окрашивались река и тайга в то или иное время, разговор Прокопича с этими строгими собеседниками никак не был связан со сменой женщин или другими потерями и тянул высоко и ровно, пока оставшая жизнь его же грешной тенью взмывала на вершины и сбегала в ущелья. И обе эти половины были равно важны и несоединимы, и, пока крепла тайга осенью и свежела первым снегом, стыл Прокопич на семи ветрах памяти, и одному небу известно, сколь кубов тоски и отчаянья прогнало сквозь его душу в те дни в ту и другую сторону.

2

В пору, когда самыми синими были великие дали, что влекли тысячи людей расширять поля своего применения, казалось, нельзя жить под этой синевой и не зарядиться ею, но выходило, что можно, да еще как. Первую жену звали Людмилой, и был у них сын Андрей, и сошелся он с ней из-за того, что дурак бы не сошелся с одинокой, красивой и работающей соседкой, с которой даже картошка в одной ограде и граница по колышку.

Вот она, как сейчас, – в большом окне с тяпкой и в купальнике. Лучшие в деревне ноги светятся, как створы. И надо бы тоже к тяпке, да сети не смотрены, а соседка так рыбу любит, что проще колышек вынуть.

В деревне каждый больше, чем просто мужчина или женщина, и острее раздел: та даль, что за оградой, – хозяйина, а та, что внутри, – хозяйкина, и чья бездонней – еще поглядеть. Если добытчик мужик, вся окрестность, как брага, на него работает и к горловине дома стекается, а уж перегнуть ее да на любви-заботе настоять – это хозяйкино дело, и такое это варево неподъемное-неразъемное, что кажется, целые уклады пространства бродят и требуют единения. И некогда пытаться друг друга на схожесть, когда работы по горло, а ты силен и молод, и все бы ничего, да только жена стала понемногу огорчать Прокопича, оказавшись из тех недалеких женщин, что в прежние времена звались «злая хозяйка».

Как желудочный сок, вырабатывается в одних радость, а в других – извечная желчь и осуждение. До женитьбы Прокопичу казалось, что Людина раздражительность происходит от ее одиночества, усталости, слабости, что душе ее не хватает жара, чтобы варить то, что положено, и надо помочь,

догреть ее, но ничего не получалось, и чем больше она привыкала к Прокопичу, тем меньше сдерживалась в зверином недовольстве, которое накапливалось в ней, казалось, от самого течения жизни.

Первая выходка насторожила и поразила, но он не придал ей значения, и бездна беды открывалась позже с каждым повтором. Люда сидела за столом и вдруг слово за слово начала нести настойчивую околесицу, бывшую всего лишь внешним проявлением чего-то ужасного, что происходило внутри, и повод был случайным, то есть тем, на котором это ужасное ее застало. Истерика состояла в повторении одной и той же глупости, но с разной глубиной захвата, по мере нарастания которой она теребила рукой коробок или терла одной рукой другую. Пальцы у нее были тонкие с выпуклыми суставами. Несмотря на то что ее возмущение могло быть связано с чем угодно, например, с тем, что сучка Укусовых лаяла на их телку, виноватым всегда оказывался Прокопич.

Уйти было нельзя, потому что без зрителей представление срывалось, переносясь на другое время, переговоры только возбуждали, а молчаливое наблюдение приводило в бешенство. Прокопич испробовал все от полного умиления до выволакивания на мороз и утирания снегом. Когда отпускало, она удовлетворенно улыбалась и о происшедшем не вспоминала.

Все это было внешней стороной дела и говорило о внутренней тесноте, о том, что порода души здесь самая небогатая и что золотишко тепла, если и водится, то либо самое непромышленное, либо там, где не взять. И вот эта пустая порода и ворочалась, и разрасталась, и чем шершаво-серее была, тем сильнее сама в себе вязла и истирала других.

Прокопич знал, что настоящая любовь светит во все стороны и нельзя любить одним лучиком, как нельзя по-настоящему понимать собаку, человека или реку – и не понимать остальную жизнь. И именно зная, что такое любить, верила Зинаида Тимофеевна Прокопичу, именно потому и понимала, что Енисей для него больше, чем река.

Воистину, то, чем богатой душе прирасти в радость, то у бедной последней отберет. К себе относилась Люда со всей мещанской серьезностью, не допускающей ни шутки, ни совета, и малейшее положительное явление воспринимала как упрек себе, поэтому всегда ходила надутая и обиженная, осуждая всех, и чем ближе стоял человек, тем больше не устраивал и в большей переделке нуждался.

Крепче всех доставалось Прокопичу, потом шли остальные в последовательности: Андрей, собаки и коты, бывшие самой привилегированной кастой. Когда у нее заболела голова, а это происходило при легчайшем дуновении ветра, она обкладывалась ими, как подушками, и лежала целый день.

Было их штук пять, никаких мышей они не ловили и кормились на такой убой, что казалось, в доме чем бесполезней житель, тем больше ему почета. Звали их Цветиками, Лютиками, Ветерками или чем-то в этом роде. Одного фаворита облизывала особо, брала под одеяло, кормила специальными кексами, причитая: «Иди, слядкий мой, к маме».

Коты вились под ногами, когда Прокопич нес кружку кипятку или горячую сковородку, и она вылетала, рассыпав рыбу, под матюги растянувшегося хозяина, в то время как виновник, весело задрав хвост, уносился к отдушине. Мыши заедали.

В зависимости от погоды кошарня заселяла разные уровни, в мороз лепись по шкафам, печкам и столам, а в тепло, спускаясь на пол. Чуяли за-

ранее, и, когда полосатое воинство вместе с зоной игрищ поднималось на новый этаж, дома ждали морозов. В двадцать пять градусов осваивали табуретки и диван, в тридцать – телевизор и спинку дивана, в сорок – книжные полки, а в пятьдесят – верха шкафов и печи, и дай волю забрались бы и на люстру.

Падали, срывали календари и шторы. Пришедшему из тайги Прокопичу не давали выспаться. Лезли часов с четырех. Сначала одавливали пудовыми задами ноги, потом живот, а к утру, как танки, подбирались к шее. Самый жирный, кажется, как раз Ветерок, забраться не мог, норовил привалиться, и Прокопич несколько раз его придавливал и просыпался от вопля.

3

Делиться с Людой чем-либо было делом неблагодарным, все оказывалось несмешным, неинтересным, неглубоким, будто весь душевный инструмент в ее присутствии тупился. Зато сама вся состояла из правил и, когда их нарушали, задиралась, как сырая доска под рубанком, и каждая заноза заявляла о своих правах и требовала справедливости. Дела отставлялись, как уют, включался аппарат попреков, и раздражался глупый и великий скандал.

После ссоры никогда не мирилась первая и, казалось, могла сколько угодно жить под одной крышей отдельно и равнодушно. Когда шел мириться первым, чтобы прекратить глупую растрату жизни, улыбалась и разговаривала, будто ничего не произошло. В недели отчуждения начинала готовить еще вкуснее: мол, стараюсь, ни на что невзирая, масть держу, а вы все не цените. Считала, что мужик без жены обречен на грязь и голодовку, и главную свою нужность видела в «накормить-обстирать», не вслушиваясь в Прокопича, повторявшего, что может сам себя и накормить, и обстирать «лучше любой бабы» и что ему друг нужен.

Губы у нее были крупной и капризной отливки, а глаза небольшие, стеклянно-дымчатые, в розоватых припухлых веках и с ресницами чуть склеенными, не то росисто, не то воспаленно. В разрезе глаз, в веках, в сходе ресниц, когда она их прикрывала, был тот же богатый и вольный росчерк плоти, что и в губах. Тонкие выгнутые брови высоко огибали глаза, и лицо казалось неподвижным, напоминая маску, которая тем сильнее походила на лицевой диск совы, чем отвлеченней был предмет разговора, и лишь ночью упруго расцветало требовательным ртом. Тело имела сильное, незагорающе-белое и веснушчатое.

Спала спокойно, независимо от препирательств, и даже, казалось, тем крепче, чем сильнее был накал вечерней свары. Во сне лицо ее менялось, становясь неожиданно тяжелым. И, глядя на приоткрытый рот и грубобольшой подбородок, чувствовал Прокопич дикие приступы духоты, которые терпел только ради Андрея, да и развод в замкнутом пространстве деревни при общем хозяйстве был делом хлопотным.

Считается, что если с женщиной душевная рознь, то тошно к такой и прикоснуться. Но, насидевшись в тайге, еще как прикоснешься, да еще наткнешься на детское, жалкое, что примешь за доброту, и, когда у замороженного, иссохшего мужика сводит шею от нежности, некогда делить близость на низовую и верховую, и кажется, одна подставит крылья и другую перенесет через пропасть, а красота все зальет, и все простит, и, когда погаснет, в памяти такой слепок счастья оставит, что сто раз повторить захочется.

За разлуку такая надежда в Прокопиче настаивалась, что чудилось, чуть-чуть – и найдет в жене то главное, ради чего вместе, и продолжал впускать, погружать ее в себя, и каждый проблеск понимания был как победа, и чем реже они случались, тем казались драгоценней. Наутро выяснялось, что у Прокопича слишком расслабленный вид, что он в тайге «смотрел красоты», а она здесь работала, и что если он явился отдохнуть, то лучше бы и не являлся, и что может хоть сейчас оставить их с Андрюшей в покое и «упереться в свою тайгу досматривать, шо не досмотрел». На что Прокопич отвечал, что никуда не поперется, но постарается сделать все, чтобы уперлась как раз Люда и не ближе, чем «обратно в Хохляндию к мамаше», и что если она будет так громко кричать в расчете на Андрюшины уши и так топтать, то он выдернет из места крепления ее хваленые ноги и выкинет под угор, где их будут таскать собаки, потому что они больше ни на что не годятся. Ноги, конечно, а не собаки... А Люда отвечала, что он сам ни на что не годится, что она давно мечтает уехать к маме в Житомир, и дальше начиналась та мерзость, к которой Прокопич за девять лет жизни так и не сумел привыкнуть.

Хотя считается, что дети объединяют, но в плохих семьях они бывают как раз главным стыком розни, где неродство оголяется до такой степени, что дом расплзается по швам.

Трудно в детстве, когда и то охота, и это, и топор тяжелющий и идет как-то косо, и ружье вроде вытесывал из доски, а оно такое корявое вышло, что стыд. А будущее так тянет, что из кожи бы вылез, лишь бы побыстрее вырасти, да тут еще взрослый парень от мотоцикла отогнал и чуть по шее не надавал за то, что «за газ лапал», и вот набегается мальчуганчик – и назад в детство, к маминым оладушкам: «Мам, у нас чо-нибудь есть вкусное?» А если заболит, то и совсем в пеленки закатится, в жар да туман, где только мамина забота и нужна, а никакие не мотоциклы. А потом снова на улицу, и так мотает мальчишку меж двух огней, да еще родители каждый своего масла подливают, мать – подсолнечного, а батя – автолу. Один чуть не палкой во взрослую жизнь гонит, а другая назад тянет и так облизывает, что бате тошно, и начинается:

- Ты зачем его так балуешь, поднимай его, хватит валяться!
- Пускай парнишка поспит, еще успеет наработаться!
- Ничо не успеет, пускай сразу привыкает, а то в армию пойдет, будет как хлюпик, был у нас один такой, смотреть противно.

И бывало, давно на улице парень или, наоборот, спит без задних ног, а они все через него жизнь делят, все свое решают – не нарешаются. Мать нужной хочет быть, а отец помощника растит, да такого, что самому ему сто очков по неприхотливости даст, – так в разные стороны и тянут. И растет парень, как деревце, у которого отец подпорку отберет, а мать обратно поставит, и начинается:

- Ведь сказал же ей и палку выкинул, а ведь нет, дождалась, пока ушел, нашла и подставила, да еще ленточкой перевязала.
- Прямо изверг какой-то, с такой силой эту палку зашвырнул, еле нашла. Иди, сыночка, иди, моя! Иди покушай!
- Со мной парень как парень, с охоты приду, не узнаю: такой разваженный!
- И, главное, концерт идет, мы с Андрейкой смотрим. А там ребятишки, все в костюмчиках, аккуратненькие – прелесть, со стриженками, и артистка-то эта, ну полная такая, знаешь... И ты представляешь, ворвался, пульт вы-

рвал, хорош, говорит, пучиться, так и сказал: «пучиться» (бескультурный какой!), поехали, сына, на рыбалку... Прямо дались эти сети, то неделю не смотрят, а тут как приспичило!

И такая вокруг мальчишки каша, что какое уж прошлое-будущее, настоящего-то нет! Так и шло все враздрай, а кончилось тем, что Люда, забрав сына, уехала, но, к счастью, до Житомира не добралась, осталась у тетки в Ирбейском районе, и Прокопич раз в году навещал Андрюху, а на лето забирал к себе.

4

Наталью он встретил в пору, когда душа уже испытала и жизнь, и женщину и ждала любви со знанием дела, не тратясь на пустяки... Бывает, мельком увидишь и запомнишь человека, а потом выяснится, что звать его Петькой, что он брат Лариски Краснопеевой и работает в кочегарке, и хотя дела и нет ни до него, ни до Лариски, все кажется, будто порядка в жизни прибавилось.

Будучи весной по делам в А., Прокопич познакомился с Натальей в гостях, испытал то же чувство разгадки, поскольку видел ее раньше у них же в деревне, на площадке. Она стояла у вертолета в шубке и чернобурочьей шапке и давала разнарядку коробкам: «— Эти Кукисам, эти Фабриченко, а эти Шароглазовым...». И все время улыбалась, просто сияла, словно была хозяйкой не только груза, а и всего снега и солнца на свете. Было столько блеска в ее облике, в желтых очках, прозрачно пропускавших глаза, в улыбке, стоявшей на лице, как погода, что Прокопич вынужден был, побакланив с пилотами, показательно взрыть гусеницей снег и, поставив «Викинг» на дыбы, унести в белом шлейфе и не оборачиваясь. Гари так наподдал, что у самого мурашки побежали, как со стороны представил, а что уж о женщине говорить!

— Где бы я тебя заметила, там народу столько! Да и не до того было, я с мужем разводилась. Папа говорит: слетай хоть куда-нибудь, протрясись, а то лица на тебе нет, — говорила она за столиком в баре, и углы рта расходились широко и щедро, вмываясь в щеки, и глаза лучисто светились в нежных и неглубоких морщинках. Долго сидели возле ее дома в машине — черном дизельном «Мистрале»*, и, когда он взял ее руку, она ее медленно забрала, не переводя взгляда, и в этом выборе руки было гораздо больше, чем в том, что она говорила.

Днем уже вовсю жарило, солнце, углядев черновину, рыло воронку и угольным шлаком и лужами вытаивали дороги поселка. Прокопич уехал ночью, дождавшись, когда та как следует настоится на синеве и морозе, чтобы, скатившись на Енисей, упоить холодом «Викинг», не новый, но очень хороший и специально заказанный на малоизвестном рынке в одной финской деревеньке. Прибавляя большим пальцем газ, он словно прощупывал темную даль на податливость, и, когда чуть выдвигал лицо за кромку стекла, от обжигающего удара ледяной стены оно моментально немело и расплзались по вискам слезы.

Деревня вытаивала зимним хламом. Ближе к весне привозили из тайги хлысты на дрова, тут же пилили, и у каждого дома копилась гора опилок. Внутри ледяные, днем они отмякали рыжим ворсом, меж ними сочилась

* «Тойота-сурф» и «Ниссан-мистраль» — японские джипы, их зеркальные копии известны к западу от Урала как «Тойота-4-раннер» и «Ниссан-террано-2».

водица и проглядывала черная земля. Она липла к подошвам, и ее отирали о снег, зернистый и рыхлый. На Енисее тоже отпускала, все пешее и моторное валялось в сырую корку, и только холод был единственной управой над расстояниями.

С вечера небо глядело особенно ясно, и к утру протаявшая земля обезвоженно серела, светился ледок, и все – дрова, щепка, опилки – было подсушено и прохвачено намертво. Енисей стыл в волне надувного снега и звал в дорогу, как сведенный мост, и если одолеть вперевалочку заскорузлый кочкарник деревни, то до Натальи оставалось часа четыре лету.

На подъезде к А. вставало солнце, и горело лицо, и сквозь темные очки дорога казалась покрытой сизым лаком, и чем мягче была дымка, тем ярче сияла за краями стекол слепящая голубизна. Мотор пел ровно, и жилы морозного воздуха, пропущенные сквозь заборники в капоте, держали ревущую машину, как тросы, готовые, будто в сказке, рухнуть с окрепшими лучами солнца, и Прокопич успевал.

В багажнике лежала рыба и ведро сохатины, уже порезанной, поперченной, пересыпанной луком и пропитанной уксусом. Магазин так и назывался «У Натальи». Возле него стоял черный «Мистраль».

– Приве-ет! – удивленно и расслабленно протянула хозяйка, улыбаясь и выходя из машины. – Ты откуда?

– Все оттуда! Принимай гостинцы!

– Значит, на шашлыки поедем?

Ее руки по-детски беспомощно держали его голову, рот был приоткрыт, и меж губ отворялась мягкая и знобящая бездна. И думалось, ничего не скажешь о ней, не испытав этих губ, а они с каждым приездом набирали единственности и однажды сказали, что, Феофаниха-то, оказывается, впадает в Енисей ровно на половине между деревней и А. и что «тебе, Кураев, какая хрен-разница, откуда на охоту заезжать?»

Разница была главная, что жить теперь пришлось в чужом доме, но Прокопич так горел любовью и столько отваги было в Натальином ответе, что уронить отношения с дорогой высоты он уже не мог.

Не было в А. той первозданной близости к земле и тайге, как в деревне, где жил он на берегу Енисея, как на краю студеного кратера, и даже кровать стояла у енисейной стены и голова его, покоясь у окна, и во сне оставалась открытой его излучению. Из А. до Енисея приходилось добираться, и он пролегал отдельно и поодаль, не мешаясь в удобную, с водой и отоплением, жизнь. Но в том, как, приблизившись, озарял синим просветом, вычерпывая через глаза и забирая дыханье, как неусыпно переливался в расплаве вала, и сквозило, сколь условна всякая от него свобода.

Енисей здесь называли «берег», ездили до него на машинах, а лодки держали на платной стоянке. А-ская жизнь была слоистой, и народ рассыпался прихотливым спектром от прожженнейших бичуганов до самых сложных чудаков. Фон же создавали гонористые и искусственные мужики, каждый из которых считал себя лучшим рыбаком и охотником.

Наталья жила в отдельном доме с ванной, телефоном и тремя комнатами: гостиной, спальней и детской, где обитал Виталя, ровесник Андрея. Дедушка, начальник экспедиции, обожал внука и приезжал с другого конца поселка, солидно тарахтя вишневым «Сурфом».

Прокопич был в ту пору и знаменит, и хорош, и обаятелен и у некоторых, особенно у начальства, даже вызывал ощущение, что мог бы распорядиться

собой достойней, чем «шарахаться по тайге и колотить соболей». И хотя никто не знал, чего именно «большого» он заслуживает, кроме разве главной роли в документальном сериале про Енисей, но его величие и заключалось в том, что он жил, беря свое и не зарясь на чужое. Пересуды же о «лучшей доле» оставались на совести окружающих, которые всегда стараются из зависти выдать таких людей в некие корыстные дали, вместо того чтобы остальную жизнь дотянуть до их сияния.

Попав в новый переплет, Прокопич вжимался в него с самым естественным видом, и лицо его так умело выражало некую правду происходящего, что все сверялись с ним, как с зеркалом, и с удовольствием расчищали любое поле. Был у него какой-то тям* к обстановке, всегда он оказывался наиболее находчивым, остроумным или решительным, а лицо могло сушиться самой можжевелевой улыбочкой или каменеть листовым косяком, даже когда душа трепетала, как сиг в ячее. Тяготило теперь лишь житье не в своем доме и отдаленность от Енисея, лежащего не прямо под окнами, а в неподъемных семистах метрах. Но Наталья перевешивала все, а остальное не заботило, пушнины он добывал, сколько было надо, и в тяжкую минуту помогал Наталье в расчетах с коммерсантами.

После льда ездили в Острова. Все было залито водой на многие версты, и светлой ночью дальние выстрелы бухали так, будто совсем рядом отрубали что-то глухим и отрывистым топором, а ближние повисали настолько картинным эхом, что оставалось загадкой, в какие объемы сыпается его пространное тело. И вся окрестность лежала не то пластом стекла, не то крышкой огромного рояля, по которой малейший звук, как льдинка, катился без остановки в любом направлении.

На второй день вдул северо-запад, заполоскал выцветшую палатку с жестяной трубой и так нажег лица, что, едва их касался жар печки, они набирались по края огненной тяжестью. Солнце, выйдя из облака, желто наливало потолок, и все внутри озарялось – стеганое одеяло, мягкий дырчатый хлеб, малосольный сиг, поротый со спины, и горячий утиный суп, на поверхности которого ходили, переливаясь, стаи золотых колец. Все было в этом жиру, и руки, и Натальины губы, и жаркое, как печь, лицо, и ее слипающиеся глаза тоже были будто вымыты и смазаны этим жиром.

- Ну не возись ты так, Кураев! Прямо встряхнул меня всю! Я же объелась.
- А ты не спи, давай выпьем лучше!
- За что?
- За тебя.
- Ты подхалим. За меня пили.
- Тогда за наших супругов бывших, они хоть и редкостные болваны были, но вовремя чемоданы собрали. Будь здоров, Коля, будь здорова, Людочка! Спасибо тебе, хоть ты и стерва.
- Стерва, зато порядок любила.
- На столе да на полу.
- А тебе где надо?
- А мне надо в жизни. Давай приоткроем, я зажарился, как этот чирок.
- Тогда укрой меня. Любишь ты холодрыгу!
- Зато Енисей видать. Смотри, утки прут! Давай выпьем!

* *Тям* – способность к чему-либо.

- За что?
– За порядок!
– За какой порядок?
– А за так-кой, ш-ш-шоб никакой вольницы!
– А свобода?
– А свобода – это когда любой маньяк... Ты почему такая вкусная? Или любая маньячка... Ты маньячка?
– Я маньячка... а ты уткой пахнешь...
– ...может сказать, что важней его пупа нет ни хре-на.
– Оно и есть так.
– Не так!
– Так!
– Не так! Объяснить? Вот мы едем на лодке, да?
– Нет, не едем! Мы на острове сидим, и ты ко мне пристаешь!
– Говори: едем на лодке?
– Ладно, едем, только не души!
– А куда едем?
– В Острова.
– Правильно. В общем, прем в Острова, все по уму, а ты говоришь...
– «Поцелуй меня, дурак!»
– Не перебивай. Ты говоришь: «Дрель давай!»
– Я так не скажу.
– Ну давай скажешь! Короче: «Дрель давай!» «Зачем?» «А хочу дно продырять в лодке. Моя личность требует, чтобы дыру пробуровать и сквозь нее в рыбьев глядеть. Как они икру мечут».
– Ну и что, ведь интересно же. Продырявлю, чуть посмотрим, и ты сразу чопик* забьешь!
– «Чопик!» Ты откуда такие слова знаешь?
– Муж научил.
– А еще чему он тебя научил?
– Погоди, покажу. Давай выпьем! За что?
– А что главное в жизни?
– Икра!
– Щас!
– А что тогда?
– Курс – главное! И никакой икры без курса!
– А курс кто знает?
– Мужик знает!
– А баба?
– А баба в дырочку смотрит. На рыбьев.
– И чо?
– И молчит.
– Класс какой! Приехали, называется, на остров... Слушай, а ты так и скажешь мне: «Цыц, баба!»
– Иди сюда...
– Нет, стоять! Говори, Кураев! Скажешь мне: «Цыц, баба?» Почему у тебя борода в чешуе всегда?
– Цыц, баба! Я люблю тебя! Давай выпьем!

* Чопик – деревянная клиновидная пробочка, заглушка, затычка универсального назначения.

– Ты знаешь, вот мой муж... Он вроде и так себе мужичок был, а мне с ним как-то проще казалось. А с тобой, ведь знаю, ну... что ты лучше в сто раз, и ты не представляешь... насколько труднее от этого. Иди...

5

Всегда ничтожно маленькими кажутся цепки утиных табунов на фоне хребтов и разливов, но, когда идет их пора, все, замерев, служит им, вернувшимся домой. И сам Енисей свой поход строит под этот пересвист, и так неподкупна их магнитная точность, выводящая острие ледохода к океану, что во славу им стоят скалы, льды сияют по берегам и шумит ветер в голых крестах лиственниц.

Еще по морозному льду начинается ночной ножевой налет, когда с бешеным свистом падают с неба на окошко воды свиза и черношей, дресвяники и саксоны*. И, оглядевшись, расцветают изломами снежных линий и бежевых разводов, рыжих и зеленых углов, желтых и красных щек и лиловых зеркалец. И ликуют души людей, переживших зиму, и от идущей с неба переклички навсегда повисает над Енисеем обнаженное сердце охотника, когда, сухо звякая трелями, слаженно, будто конница, заходит на посадку незримый табун острохвостов. Прошел лед, а они все неслись дымными небесами – подвешенные к стремительным крыльям.

И снова был шелестящий бег по Енисею, взрытому валом, глухой дроботок волны по днищу лодки, и поселок в частоколе труб и антенн. Был стол на просторной белой кухне, и Наталья с обожженным лицом поднимала хрустальный стопарик и чокалась с Прокопичем осторожно и нежно, глядя в глаза.

Было в ней какое-то одуряющее обаяние, высшая женская проба в каждом движении, стелила ли она постель, прикуривала от веточки или, включив в машине любимую музыку, подпевала с наигранным исступлением, в такт мотая головой и жмуря глаза, или вдруг, выпустив руль, делала сжатыми в кулачки руками ерзающее, будто в танце, движение. Любила все сильное, дорожное, речное. Любила вернуть что-нибудь заправско-моторное и, управляясь с собаками, могла прикрикнуть, а могла долго смотреть, как щенок, откликаясь на голос, смешно наклоняет голову, будто сливая через ухо лишнее любопытство, или распекать: «Ах, вот ты какой хитрый, это ты из-за хлеба такой послушный!» и гладить не сильно, но точно – чтоб тот млел. Когда кто-то лез на дорогу или не так ехал, могла очаровательно поругиваться, а могла, оперев локти в стол, держать лицо в ладонях и, глядя неузнаваемо раскосыми глазами на едящего Прокопича, сказать: «Ну что, хорошая я... тебе жена?»

Еду Витальке уносила на большой тарелке с размашистой россыпью распластованного помидора и сырной корочкой тостов, а он, не поворачиваясь, копал вилкой, уставясь в компьютер и елозя лазерной мышью с багровым ответом. Время от времени срывался и набрасывался на баскетбольный мяч, который в прыжке кидал в корзину, облепив сверху тренированной кистью. Зайдя на кухню за куском торта, разворачивался на пятке и, вдруг подпрыгнув, уходил обратно за компьютер. При первой попытке ночевки Прокопича устроил такую истерику, что пришлось остановиться у товарища и вживаться по шагу и пристально.

* Енисейские названия уток: *черношей* – чернеть, *дресвяник* – чирок-трескунок, *саксон* – утка-широконоска, *острохвост* – шилохвост.

6

«Без дикой любви тайга мертва, как мертвая капля смолы»*, – пронзили однажды Прокопича стихи в журнале, и повторял он их много недель подряд, потому что, как обострено чувство женского в тайге, только охотника и знает.

Видится оно во всем, в ногах собаки с резными жилками, в оттепели, привалившейся сыро и тягуче, как женщина, что отчаялась вернуть окрепшую душу любимого и все доказывает, будто подлежит возврату прошлое. И так настарается, что уже заморозит по-зимнему, а его парной очаг вдруг откроется в мшистом нутре ручья под ледяной оправой, да так живо, что голая смородина, стоящая рядом, тоже пыхнет тало и пахуче.

В запахе норки или горносталя с его нашатырным удушьем, по краю всегда отдающим духами. В березе с жестяной листвой, что вдруг зашумит и обдаст извечным, уже и не таежным, и не деревенским, а просто жизненным, русским. В пихте, обвинившей кедр, или в елке с раздвоенным стволом, страшно и понятно похожей на женский стан. В мокрой одежде, облепившей бедра, в валящем снеге, в треске печки.

Всякий запах и звук подчеркивают нехватку второй половины, и ее доля того огромного и простого, что испокон веков вмещало труд и усталость, еду и отдых, тепло и холод, так переполнит душу, и та вот-вот не выдержит – настолько непосильна двойная пайка жизненного великолепия.

Когда Прокопич возвращался к Наталье, тело ее казалось огромным и желанным домом, и он лежал с ней под одеялом, как под крышей. И не только сам, а все бескрайнее, что за ним стояло, оказывалось прилажено к этим губам.

Засыпала она постепенно и недвижно, как даль осенью, и он любил сползти головой, чтобы совпала скула со впадиной под ключицей и душе легко и прикладисто стало в ее покое.

Казалось, от счастья должен осоловеть человек, оглохнуть и ослепнуть, но у Прокопича второй нюх открылся, и все лучшее, что привлекал он для завоевания Натальи, вместо того чтобы отпасть, с ним и осталось. Погоня ушла из души, и перестало казаться, что вечно чего-то не успевает, и поэтому виноват.

Стало больше читаться и думаться в этой просторной квартире, куда не долетала поступь Енисея и где слабело вечное на него равнение и думы, не передует ли дорогу, не подмоет ли лодку и не пропадет ли рыба в сетях, пока север гуляет.

Какая-то жалость к предметам, собакам появилась. Мог часами складывать дрова или, дотошно помешивая, варить в ведре над костром собакам, а потом смотреть, как они едят, следя и подправляя, и находя в том тысячи оттенков своей нужности. А потом менять сено в будках и наблюдать, как они смешно оживляются от его запаха и укладываются, атаптываясь и крутясь на месте.

Стал с Виталей разговаривать, об Андрее больше думать и звонить по три раза в неделю – и тут, словно в ответ, происходящее в прежней семье потребовало вмешательства: истерия Люды довела ее до больницы, и Прокопич забрал сына.

Андрей приезжал к ним и летом, но вопрос о его житье не стоял, поскольку большую часть времени они проводили с отцом в тайге, а главное, был он

* Строка прекрасного стихотворения «Жизнь» Владимира Богатыря, поэта, охотника и старинного товарища автора.

здесь в гостях. Но, когда Наталья спросила Виталию, как он отнесется к тому, что с ними будет жить еще один мальчик, тот скривился не на шутку – так был приучен к приему заботы. И так требовал, чтоб готовностью утолить любое желание сочлились даже стены комнаты, личные, как одежда.

Прокопич снял квартиру и зажил на два дома. Наталья приходила к ним, они к ней, все чего-то ждали, хотя все было сказано сразу:

– Ну да, такой вот он, избалованный и мной, и бабушкой. Ты его таким и застал, ну что теперь делать? Ты же помнишь, что с ним было, когда ты первый раз остался? Он тогда едва от нашего развода с Николаем оправился. И вот он к тебе только начал привыкать, и тут Андрюша появляется. Ну не могу я его ломать! Не могу! А главное, вот ты уедешь в тайгу, а Андрюша-то на мне останется, а у него мать есть. Ее подлечат, не дай Бог, ой, прости, Господи, и она начнет звонить или вдруг приедет. Что я буду делать?

Больше ничего и не могла добавить, делала все, чтобы не пошатнуть равновесия, и выходило, один Прокопич вечно недоволен. Что-то в ней изменилось, подоглохла, подослепла, как в начале материнства, и материнское ощущение, что если придется выбирать между Виталей и любимым мужиком, то выберет Виталию, так сквозило, что Прокопич, хоть и не слышал этих слов, но чувствовал всем существом.

Ждал он другого и знал, что ни в его семье, ни в семьях близких ему людей такого противопоставления быть не могло. Крепчайше сидела в нем память о военных временах, о житье в поселенческих бараках или в пору освоения новых просторов, когда сходились люди во имя общего будущего, брали женщин и соединяли их детей со своими, не видя разницы. И дело было ни в поступи эпохи и ни в жестокости условий, а во внутреннем ощущении жизненного замысла, не выполнимого поодиночке, в неписанных правилах обоюдного доверия и поддержки, которые не может пошатнуть никакое благополучие, если люди по правде хотят быть вместе.

Андрюха был в самом бестолковом и неприкаянном возрасте, долговязый, с огромными ступнями и голосом, который то брал грубо и басовито, то срывался и визжал вхолостую. Сдружился с ним Прокопич невероятно, и, когда тот к нему приваливался, сжималось сердце, и он знал, что ради парня сделает все.

Учился Андрей хорошо, но кровного интереса к призванию не выказывал, и надо было следить и править его, тем более что поступать и учиться дальше он собирался в городе. На городское жилье приходилось зарабатывать в тайге, и, чтобы он путем доучился и подготовился, пришлось отправить его в Красноярск к старому товарищу Прокопича с живописной фамилией Евланов. Тот работал на алюминиевом заводе и жил с семьей в двухкомнатной квартире. Андрей спал в одной кровати с Вовкой, евлановским сыном, и вместе с ним готовил еду, прибирал в доме и находил время на учебу.

Прокопич снова жил с Натальей, но отношения изменились, и вся Наталья семья, и гладкое обустроенное житье – все будто лишилось запрета на раздражение.

Дедушка влип с лосями, которых его пилоты вместе с начальником милиции и главным охотинспектором лупили в дивном количестве и без лицензий, и Наталья с возмущением говорила о молодом следователе («сопьяк, тоже»), который вызывал дедушку на допрос. Прокопич не только не поддержал ее, но и сказал все, что думает: «Еще понятно, когда браконьерничает безработный мужичонка, у которого семеро по лавкам, но не люди, всё и так имеющие».

Едва пришел под Новый год с охоты, прилетел из Норильска однокашник-охотовед, и так накатило старинным, товарищеским и незаслуженно забытым, что загуляли они крепче крепкого. Пили дома, шарились по гостям, и Наталья устала, а Прокопич не мог остановиться.

Стала вырываться наружу обида, да и вожжа под хвост попала, что не указ баба, раз с мужиками сидит в кои-то веки. Наталья, чтобы закруглить дело и вернуть Прокопича, избежав застоля дома, предложила пойти всем в кафе, и мужики настроились, а ей вдруг расхотелось, и Прокопич с охотоведом засели на несколько дней уже в другом месте.

Прокопич, если надо, мог быть и грубым, и жестоким, и вредным, ишла коса на камень, он не звонил Наталье, Наталья не искала его и только выговаривала подруге:

– А я не знаю, где он! Может, он у бабы! Откуда я знаю, что он у Сереги? Нет, так не будет! Что это такое: хочу – прихожу ночевать, хочу – не прихожу? Это не гостиница!

Потом он приехал с Серегой за какой-то кассетой про росомуху, и был глупый разговор с Натальей, в котором каждый гнул свое и считал разное: Наталья – что раз он мужик, то должен первым и мириться, а он – что не ссорился и, если надо, в два счета нашелся бы у Сереги.

– Развожусь, Сережка, никогда не женись, – сказала Наталья, пока Прокопич рылся в поисках кассеты. Ненакрашенное лицо ее было усталым и выцветшим.

Когда Прокопич пришел домой, там стояли его собранные вещи. Он отвез их товарищу, снял в банке деньги, забрал соболей и уехал в Красноярск. Там он удачно сдал пушнину и купил однокомнатную квартиру на Взлетке, где и зажил вместе с сыном.

7

Ложь начинается, когда нельзя говорить о том, что волнует, и трещина в доверии, как в скальной породе, стоит ей появиться – уже не сойдется, а обида и раздражение – вода да мороз – год за годом разопрут и в крошку развалят. И главное в этой лжи, что, чем больше люди любят друг друга, тем сильнее не могут простить, и круг замкнутый.

Прокопичу казалось, так неразрывно соединился он с этой милой и легкой женщиной, что, как жить, решали уже не они по отдельности, а их некое общее и теплое устройство. Оно было погружено в него на такие глубины, что, когда вдруг разделилось, сотрясение оказалось чудовищным и необратимым.

Он предлагал продать ее дом и построить большое, на всех, жилье, и Наталья соглашалась, но из-под палки и с доводом, что квартира дедушкина и она ею не распоряжается. Ее «Я не знаю, что делать» – звучало, как «Оставьте меня в покое», и выливалось в очередное обсуждение границ, дальше которых она не может отступить, а он вторгнуться, будто враг или оккупант. Постоянное требование водораздела казалось таким несправедливым, что таскание туда-сюда всего этого забора было уже делом десятым. Из людских слабостей Прокопич не знал ничего хуже сытого деления на мое – не мое, так давившего его в Люде, и, когда это душевное сальце почудилось ему и в Наталье, настала катастрофа.

Острее всего была обида за Андрея, в котором не захотела она увидеть Прокопича, почуяв его только по-бабьи, через Люду. И что не на любовь опиралась, а на правильное, но низовое соображение, на какое-то «вдруг придет Люда» и устроит сучье разбирательство.

И, как на два дома располовинило Прокопича, так и Наталья на две части разделилась: женской, сладкой осталась, а главной, человеческой ушла, и худо было Прокопичу в его двух домах с этой опустевшей женщиной. И чем дальше уходила она человеческой половиной, тем жарче, отчаянней и молчаливей жгла женской. Никогда так не понимал он ее нежность, и не была она такой кровной, именной и раз выпавшей, и худо было одному в тайге, и не хотелось жить. И пронзительно-близкой, вернувшейся казалась она, снясь в избушке, словно знала, что действие ее кончается и из морозной дали видится жизнь в остывшей и окончательной расстановке.

Хуже всего было при Андрюхе в поселке, где Прокопич хоть и старался быть веселым и жизнелюбивым, но забывался, и сын заставлял его на выражении сохлой прищуренности, с каким сидят возле сварки или еще чего-то испепеляющего. После прежней радости само течение времени становилось невыносимым, а застарелость жизни казалась такой телесно-близкой, словно жилы их были общими.

Когда отправил Андрюху и спал изнурительный разлив на два жилья, то как бы ласково ни ждала его Наталья на устье, текли они дальше уже, как раньше, не смешиваясь. Но так доверчиво струилась она рядом, так ровно дышала и так о чем-то подрагивала на его груди ее раскрытая кисть, что обида Прокопича уже к ней не прибавалась и была только его заботой.

Хоть и не охота бывало маячить на виду со своей бедой, а к людям все равно тянуло, и уж раз зашел, то надо поддержать разговор, поинтересоваться, а на месте души одна рана, да в таких заскорюзлых бинтах, что любое слово – лишняя боль и шевеление.

И хуже всего, что в беде человек и добрее должен стать, и к чужому чутье, а Прокопича, наоборот, так объяло болью, что сам валился, и других рушил. Соседский парнишка хочет с ним на мотоцикле прокатиться, деду-соседу охота на лавочке посидеть-поговорить, и оба раздражают, и он рычит: отойдите, мол, не трогайте, не до вас – потом.

Кобель ласки просит, рвется на цепи, в глаза заглядывает и скулит, а человек отмахивается: не трави, брат, душу, ведь рвешь ее, напоминаешь, как гладил тебя, в силе будучи, как бы сейчас приласкал, если б до тебя было. И собака, видя, что мимо порыв, возвращается к будке, промахнувшись, и глядит опустело и спокойно. И вовек не простить, что тебе худо, а собака виновата, и что припас тепла для счастливых времен бережешь. Дескать, когда в радости буду, тогда полюблю и пойму, а сейчас грех к живому прикасаться и только делу порча. И такой липой от этого благородства обдаст, что стыдом охлестнет, потому что хоть и обесцвечивает человека беда, но зато себя насквозь видать.

ГЛАВА III

1

Серого Прокопичу принесли незадолго до его неожиданного и все перевернувшего отъезда. Ждал он его несколько лет, заказав у хозяина знаменитого зверового кобеля. Сбитый, крутомордый, с крепкими ушами и толстыми тут же затоптавшими лапами, оказался он тогда как нельзя нужным и таким отличным, какими бывают только щенки лаек. Спросонья был особенно теплым, тянулся, горбом выгибая спину, и зевал, выпрастывая язык дрожащей ложечкой, оживал, вилял всем телом и гулко побряхтывал, поскрипывал какими-то мягкими глубинами. Оставил Прокопич Серого вместе со всеми надеждами об их таежном будущем и отправил Володьке,

но у того хватало собак, и кобель так и оказался без дела и хозяина. Одну осень брал его Володькин сосед, но упущенный Серый требовал труда и внимания, а тот отступил, и с тех пор собака сидела на цепи.

Эта загубленная собачья судьба все и решила – Прокопич взял на охоту Серого.

Бывает, пожилой человек набирает охапку дров и два последних полена не помещаются, валятся, а оставлять неохота, и вот старается, прилаживает, а потом встает с колена, опираясь на поленицу, и тащит. Рука отнимается, да еще спина с одышкой добавляют, но когда совсем не вмоготу, то возьмет, второй, свежей рукой обнимет беремя сверху, подхватит – и сразу первой руке подмога, и передых от нее по всему телу расходится. Да и по тайге любой знает, как в работе отдыхать, и, когда лямка в плечо чересчур зарезалась, большой палец подсунет и на кисть примет, и вроде груз тот же, а телу легче.

И когда пошла у Прокопича работа – рыба, птица, ловушки, – перелегло в душе от изболевшихся мест на новые, и полегчало. Без надлома вернулось все, что казалось отвыкшим, и снова Прокопич придумывал зазор, а его и не было ни между ступнями и лыжами, ни между руками и топоричем, словно их только подправляло, и они оживали раньше хозяина.

Серого кидало, как без рулей, и он то лаял на бурундука, то гонял зайцев, и горько было смотреть на этого сильного и крупного кобеля, столько упустившего в своей жизни. Но Прокопич старался, да и кобель оказался не безнадежным и, наткнувшись случаем на соболюшку, хорошо залаял, и надо было теперь закрепить дело.

На особо зверовые способности Прокопич уже не надеялся, что и подтвердилось, когда Серый взлаял во тьму с подвывом, но далеко не убежал, возвращался, носился рядом с хозяином со вставшей холкой и, заходясь дрожью, длился в диагональ с задней лапой, пружинисто оттянутой и взрывающей снег. Наутро Прокопич набрел на след медведя, отвернувшего задолго до избушки. Судя по целенаправленности, с какой он поднимался в хребет, зверь шел ложиться. Прокопич представил, как заводил-закачал он мордой и отвернул, почуяв человека, и как уходил, слыша лай, и было что-то непостижимое в том, что шарашится он по тайге, как по дому, не ища ни угла, ни своей половины, и, большую часть жизни проводя в одиночестве считает это в порядке вещей.

Пора было настораживать, но навалилась оттепель, перейдя в страшный снег, и Прокопич, сходяв по путику, не встретил ни следа, не говоря о белке или глухаре. Крупный сырой снег валил пятнистой завесой, облеплял стволы и хвою, и чем глуше становилась ватная обивка и чаще вздрагивали, сбрасывая груз ветки, тем сильнее хотелось мороза. Казалось, проще перенестись за тридевять земель, чем дожидаться, когда в небе передернет огромный затвор и с ночи так хлестанет стужей, что сотрясенная округа осыпется хрустальной крошкой и откроет точеную даль тайги.

Ближе к вечеру сменился ветер и под краем клубящейся тучи стал открываться темный бок хребта в талке кухты. Прокопич занимался с дровами и снова глянул на небо, только когда нежно запылал под ногами снег и засветились рыжие поленья. Синева уже отстоялась, и в ней медленно всплывала облачная рябь, напоминая не то перо тундряной птицы, не то елочку мышц самой серебряной рыбины. Солнце садилось, охлаждаясь и застывая, и на фоне его бледно-синего следа гравюрно тонкими казались силуэты лиственниц, голых, чуть припорошенных и недвижимых. Гнутый и протяжный излет ветвей придавал такую манящую силу небу, что все виденное в тайге за долгую жизнь расплеталось в душе на струистые реки.

В Сибири по какому притоку ни едешь, тысячью километров ли восточней, западней, всегда кажется, что это только край самого главного, и черты, которые так привораживают, лишь за горизонтом достигают своей полноты. И поэтому так манит все неуловимое, вроде сладкого дыма лиственничных дров или той невиданной чахлости, которая сразу отличает тайгу от любого другого леса.

Особенно остра она весенними белыми ночами, когда елки с призрачными слоями веточек вытянуты в такую напряженную струнку, что от неподвижности рябит в глазах, и на их илестом подножьи с той же нежной оцепенелостью стоят, не касаясь земли, стрелки черемши, и салатовые веретёна чемерицы, кажется, спустились с небес на тонких и потусторонних струнах.

И кроны кедрача или лиственничника хоть и бударажат расхристанностью вздетых ветвей, но даже и в их свирепом разноее есть свой кристаллический порядок и глубочайшая сосредоточенность на внутреннем замысле. И когда в прозрачном заборе ельника брезжит горная даль, то верится, что, если нельзя слиться с нею преследованием, то можно размыть, разьесть ее отступающее стекло трудовым потом. И в рукопашной схватке с работой, замесив в одно соленое тесто снег, опилки, кровь, рыблю слизь, бревна и солярный выхлоп, надеяться, что заметит небо твой грубый хлеб и в один великий вечер так одарит закатом, что не останется сомнения – признало.

Так виделось в юности, пока глаз не приспел и не убавил распашку, а допроявлялось уже позже и урывками в пору трудовой мужицкой зрелости, когда и товарищество, и соревнование перемешаны воедино, и люди, много делающие, становятся все более раздражительными на безделье и прочее ротозейство.

Да и, казалось, слишком бывалый он для восхищения, и порой сам красоту затирал, стесняясь, как новичок, нового приклада или свежего топорщика. Так ко дню жизни набрала она сок, да притухла, отошла, как рыба, от берегов, чтобы к ночи вернуться.

2

Нет ничего трудней начала, будь то охота, рыбалка или какая другая добыча, и чем дальше не сдвигается дело, тем больше изводит закупорка. И начинает казаться, что никогда не попадетсЯ свежий след и не раскатится вдали лай, слитый эхом в один протяжный и бесконечный окрик.

Горбатую гору с курумником на вершине скрывал берег, с других точек ее тоже что-то загораживало, и по-настоящему открывалась она почти с ее же высоты, а если идти по лесу, приближение оказывалось тоже слепым, настолько заросшим крепкой и высокой тайгой был ее бесконечный склон. Каменистая вершина уже белела от снега, и ее опоясывали худосочные пихты, абсолютно вертикальные, игольно голые и лишь на концах оперенные густыми ершиками хвои.

Ночью Прокопич несколько раз выходил на улицу и глядел на подошедшие звезды, которых после оттепели всегда в несколько раз больше. Завязывался морозец, и он шупал снег и, густо дыша, повторял пробы пара, все никак не устраивавшие.

Проснулся он рано, растопил печку и дождался рассвета уже готовый к выходу. Больше всего на свете хотелось, чтобы Серый нашел соболя, но Прокопич так отяжелел за последние годы, что не знал, справится ли сердце с ходьбой, если это произойдет далеко.

Дорога в гору нуждалась в первойшей насторожке, потому что была на той стороне реки и уже шла шуга. Вода текла по камням плавным пластом,

и вся поверхность невообразимо шевелилась звездчатыми комьями шуги и тонкими льдинками. Каждый ком ходил по кругу, переворачивался и, задев за камень, выпрастывал серебряное стеклышко, в котором вспыхивало солнце. Комья были глубоко синими, но синеву то и дело, волнуясь, высасывала река, и обезвоженные иглы пульсировали жидким оловом.

Пересекая реку, ветка участвовала в двойном движении: с мягким шорохом резала шугу, и одновременно ее вместе с расступающимся месивом волокно вниз, и под борт головокруглительно неслась янтарная рябь каменного дна.

Едва Прокопич вытащил ветку и оглядел вполглаза голубую кожу реки с темно-синими ежами, как Серый спугнул табун косачей и принялся гонять их с дурацким лаем, гордо взглядывая на взбешенного хозяина. Уже на дороге он побежал по старому соболиному следу и поднял глухаря, которого Прокопич добыл и, радуясь почину, повесил на елку. Потом долго не было свежих следов, и Серый дважды вернулся, когда хозяин слишком долго возился с кулемками.

Прокопич знал, что чем больше думать о следе и о лае Серого, тем больше не будет ни того, ни другого. Он прошел больше половины дороги и решил попить чаю, и, конечно же, едва закипела вода в котелке и Прокопич всыпал туда шершаво осевшую горсть заварки и продырявил топором банку сгущенки, откуда-то издали и сверху залаял Серый.

По-настоящему Прокопич вздохнул, когда увидел сахарно-свежий соболин след с размашистым конвоем собачьих лап. Некоторое время он смотрел на след соболя. Было столько великолепия в стремительном прочерке меж парами следов, в самой этой парности, и в косой растяжке каждой пары, сохраняющей на всем протяжении летучую синхронность. На донце следа различались отпечатки подушечек, а весь овал обрамляла мягкая корочка, и края были в нежнейших щербинках.

Когда собака лает на горе, чем ближе подходишь, тем хуже ее слышно, а под навесом вершины попадаешь и вовсе в мертвую зону. Чем выше пробирался Прокопич через ковер пихтового стланика, присыпанного снегом, тем больше поддавался новому волнению: если Серый орет на самом верху, то соболю ушел в курумник и его не взять.

Показался среди лилового частокола стволов просвет вершины, и Прокопич остановился, переводя дух и выглядывая Серого. Тот ходил взад-вперед, задрал морду. Соболю сидел на пихте у самого края леса. Дальше бугрилось присыпанное снегом полотно курумника.

От волнения Прокопич несколько раз смазал, но добыл зверька и дал вволю потрепать Серому, а через полчаса грел у костра невыпитый чай, расслабленно прислоняясь к кедрине. Сердце билось ровно и счастливо. В ушах стоял ликующий лай Серого, а перед глазами достывало все то огромное и постепенное, что он видел с вершины, куда не поленился поднаться, несмотря на камни под шершавыми снежными шапками.

Такого прилива сил, как во время подъема, Прокопич не испытывал давно. Легкость, с которой он поднимался, усиливалась, словно слабело притяжение тоски, и боль разрежалась и оседала на каждом слое тайги, как на гребенке.

Весь оковалок простора до поворота реки, ближайшей горы и облака заполнял податливый синий воздух, и глазу лежалось привольно на огромных пролетах, где, чуть поведя зрачком, можно было ошагать целый пласт расстояния. Потому и гляделось без прищура и дышалось вразмах, и чем больше было плечо взгляда, тем сильнее утка душевного напряжения.

Даль начиналась под ногами и уходила постепенно и осязаемо, и в десяти верстах состоя из того же заснеженного камня. Безлесные верхи были отертыми и гранеными, таежные склоны шероховатыми, а оплывшие ноги с белыми складками ручьев – литыми, как стылая лава. Волнистое покрывало так нарастало и копило такую тяжесть, что, казалось, продолжает доливать-ся и опадать. И его великая успокоенность рождалась именно из-за того, что, будучи одушевленным, оно не могло не быть зрячим, но зрение его было направлено в самую молчаливую и бескрайнюю глубину.

Стойкая минута эта не требовала ни прошлого, ни будущего, и, когда пути ее и человека неумолимо разошлись, Прокопич, не отдавая себе отчета, пора или нет, повернулся и пошел вниз, лишь у границы леса еще раз обернувшись. Ослепительно белая вершина стояла, опоясанная пихтами, и их черные верхушки горели с тропической четкостью.

Что-то в природе сорвалось, не дозрев до настоящей зимы. Посерело небо, протяжно загудел юго-запад. Подступал вечер, и, насторожив еще несколько капканов, Прокопич повернул к дому и, пройдя с километр, услышал далекий лай Серого, доносившийся с того же места, откуда он недавно спустился.

День был настолько емким и законченно-прекрасным, что возврат казался уже лишним, несмотря на всю радость за успехи Серого. Насколько устал, Прокопич понял, только когда пошел вверх, ступая по старым следам и срывая перемычки между ними с конским понурым усердием. Из-за ветра стал теплеть и тяжелеть воздух, но он все шел, время от времени останавливаясь, и прислушиваясь к лаю, и даже тайно надеясь: вдруг Серый ошибся и попадетя навстречу. Серый лаял уверенно и со знанием дела. Лай затихал по мере приближения горы, и слышался только шум ветра.

Тяжко давалась высота, не будучи в охотку. Пихтовые ветки шуршали по голяшкам бродней, снег и мох проминались под ногой, и железные лбы камней казались тем тверже, чем мягче подавалась подстилка. И с каким бы запасом Прокопич ни заносил ногу, она осаживалась, теряя половину высоты, а запоздалый упор сбивал с шага. Склон становился круче, но ступалось прямо и верно ходил сустав, хотя в коленях давно кончилась смазка. Сухожилия горели и держались за кости, как корешки пихты за камень, и ноги продолжали в бесчисленный раз распрямляться меж тяжестью тела и базальтовым прессом горы.

Наконец Прокопич дошел до верха. Серый стоял на краю леса и лаял в камни. Ветер свистел в пихтах, и внизу гудела и ходила посеревшая тайга. Прокопич взял Серого на веревку и, успокаивая, оттащил от камней и повел обратно, катаясь вниз неловким и расхлябанным ядром. Совсем степлило, отсырел снег, мох срывался рыхлым скальпом, и камни сидели безалаберно непрочно и выворачивались, ударяясь с трезвым и холодным звуком. Мешался Серый, то падая под ноги, то натягивая веревку. На дороге Прокопич отпустил кобеля, и он, словно зарядившись от нее домашним настроем, побежал вперед.

Бродни сыро валились в грубую смесь давленной черники и снега, и вспоминалась варка варенья и засыпанная сахаром ягода. Хотелось чаю, морсу, киселя. Прибавились оставленные лыжи, которые теперь пришлось тащить под мышкой. Едва кончился разгон склона, мокрого Прокопича накрепко осаждало усталостью, прижимая сквозь подстилку к каменному дну, и он тонул. Тело было ватным, и в его мягких полостях пересыпались кульки с дробью, а главный узел бессилия сидел в сладком очажке под ложечкой.

Смеркалось, и, хотя дорога была знакома до каждой кедрины, оставшийся кусок дотошно множился подробностями. Спустя годы они воскресали

с пожизненной силой. Казалось, вот сейчас будет капкан рядом с выворотнем, за ним ручей, а там еще десяток ловушек и берег, но тут выросла упущенный памятью поворот с длинной затеской, и она напирала с плотской точностью. Мокрая от пота одежда обводила хватким контуром, словно кто-то лепил его из холодной глины. В ходьбе она то отлипала, то прилипала, и где-то подогревалась от тела, а где-то набиралась уличной стылости.

Когда не оставалось сил, Прокопич стелил лыжи и ложился на них пластом, и не было большей тяжести, чем тяжесть усталого стынущего тела, и не было ничего спасительней.

Рухался на спину и лежал головой к дому, и вес этого отдыха был несопоставим с теми короткими отрезками дороги, на которые он набирался сил во время своих лежанок. Они проносились молниеносно: похоже пролетают расстояния, когда кончается бензин и нарастание скорости накрепко связано с исчезанием его остатка.

Страшно хотелось пить, и Прокопич ел снег, топя под языком и катая по рту. Вернулся Серый, лизнул, сунулся мордой в лицо, шею и собрался бежать, но Прокопич приобнял и задержал его. Серый сидел напряженный, напружиненный, а Прокопич лежал, прижавшись к его боку. Бок был твердым и пах псиной, мокрым снегом и хвоей. Когда Серый внюхивался в ветер или лизался, бок вздрагивал.

Кобель возвышался над Прокопичем, а он лежал у его лап и думал о том, что ничего не знает об этом огромном существе и о том, сколько лет просидел он на цепи и сколько пихтовых веток не доскользили по его бокам, сколько верст снега, моха и камней не добежали под его ногами. Ноги Серого уходили высоко вверх, как пихты, и по ним передавался гул его сильного тела, и оно казалось ему полным чего-то главного, чего не было в нем самом.

Такое же чувство испытал он давным-давно, когда привез жену с родов домой, и ночью Андрюша спал в кровати, а она лежала рядом, и лицо ее с закрытыми глазами излучало такую красоту, что свечение это искупало весь ее нелепый характер. Налитые молоком груди были нежно оплетены набухшими жилами и тоже светились в темноте, и все пространство было напитано сырым вздрогом обновленной плоти, ушито молочной вязью ее дыхания, и Прокопич парил в этом молоке, и оно вымачивало его просоленную душу, облегало и мыло сердце, и заполняло все пустоты. Покой был стойким и густым только в пределах дома, и, стоило выйти за порог, сворачивался, слоился на тоску и звал обратно, туда, где каждый час совершалось неповторимое.

Там еще всюду дымилось и рубцевалось пространство, но слишком неравными были разъятые глубины, поэтому, когда недостаток жизни в одной становился таким же вопиющим, как переизбыток в другой, в Андрюшке что-то срабатывало и он, как усохшая деревина, раздражался истошным скрипом, и Люда, не просыпаясь, срывалась с кровати и вкладывала в его сведенный рот вспухший бутон соска, и он в несколько судорожных хватков прилаживался и затихал так пронзительно, что, казалось, даже время в эти минуты бьется плотками.

Серый снова завозился, что-то выкусывая в бок, и переступил лапами возле глаз Прокопича, которые еще хранили отпечаток огромной многокилометровой дали и теперь будто соединяли белую вершину горы с подножием собачьих лап. Ноги Серого тянулись вверх, и, повторяя их мачтовый натяг, длились еще выше лиственни и кедры и мялись под ветром шумно и истоиво. И казалось, что люди – как деревья, и если лиственнь смолевая и тяжелая, как камень, то никто не требует от нее кедровой легкости. И когда выбирают оси-

ну на ветку или кедрину на матицу*, то сначала ищут прямую, без бугров, и несбежистую**, а потом уже валят, а если кто загубил лесину зазря, то сам и виноват, потому что она могла на другое погодиться или просто расти.

Если бы Прокопич не видел, с какой силой Андрюха жамкает деснами Людины соски, то никогда бы не узнал, почему они стали такими огрубевшими и измятыми. И почему эта веревочная измятость и перевязывает всех троих самой крепкой привязью, которую дети чувствуют гораздо лучше своих отцов и матерей и в которую никто и никогда не вмешается, потому что рассчитана человеческая совесть лишь на разовое родство. И потому грудь любой другой матери, пусть и самой прекрасной и ласковой женщины, покажется такой непривычной и свято чужой, и женщина эта останется навсегда при своей молочной дали, дороже которой для нее не будет ничего.

И, когда зверь бродит в одиночку, сизый от лунного света, есть в этом что-то и рвущее душу, и величественное, и лишь человек жалок в своем бездомье, и нет ничего важнее дома. Но для мужчины жизнь – нарастание главного, и ширится он постепенно, а женщина чуть не с истока главным разрешается, а потом всю жизнь дотихает им, поэтому и живут оба в разные стороны, и нет ничего труднее дома.

Есть великие излучения природы, и женщина их часть, и, чтобы детей вывести, ей даже от самой себя заслон нужен, и не товарищ она там, где суждено бродить тебе, как зверю, в извечном одиночестве. И есть две тайны в жизни – глубь женщины и даль пространства, и, как ни тщишься, не пересечь их за горизонтом.

3

Все это думал Прокопич, уже лежа на нарах в избушке. Перед этим была темнота, и белый знакомый берег, и гулкая ветка, и медленность каждого движения, в которое он влипал, и оно отпускало не сразу, а продолжало дергать и взвешивать, словно в раздумье, допускать ли к следующему шагу.

В черно-белом бесцветье все было мягче, чем утром, и резак носа легко рассекал частую и высокую рябь с остатками шуги, и вода шелестела легко и безлично. И каждое новое действие, например, попытка поправить веслом упавшую за борт веревку, становилось таким серьезным препятствием, будто совершалось впервые. При этом все время казалось, что он выясняет какие-то застарелые отношения с пространством и предметами, и не было ничего родней этого чувства. И если у других ощущений были какие-то отличия, оттенки, то это оставалось единственным безошибочно узнаваемым и так вмещало остальную жизнь, что казалось, память разжижило, и все, жившее в ней по отдельности, парило теперь в ее расплаве свободно и ровно.

Уже протопилась печка, просохла одежда на вешалах и чайник опустел по второму кругу, когда Прокопич вышел покормить Серого, и тот отяжелело отошел от таза с кормом и залез в кутух, завешенный мешковиной. Ветер уже улегся, и успокоенно проглядывала белая звездочка в усталом и мутном небе, и луна освещала темные листовники и кедры вокруг избушки. И по знакомой и доверчивой худосочности, по расслабленной обтрепанности и мятости, по какому-то особенно простоволосому виду леса после сильного ветра, сбившего кутуху и оборвавшего ветки, видно было, что тревожиться Прокопичу больше не о чем и приняла его тайга, так, что ближе и не бывает.

* Матица – потолочная балка, глядящая в избу и держащая главный груз потолка.

** От слова «сбежистая», что означает «морковистая», то есть с сильной потерей толщины от комля к вершине.

Но покой не настаивал, и, как из темного нагромождения сопков выплывала одна с игольчато-стройным пихтачом и алмазной вершиной, так на месте прежнего вопроса вставал новый, еще более важный: а готова ли душа Прокопича принять так же полностью и безоглядно извечную красоту тайги?

Утро он встретил бодрим и выспавшимся, восход солнца проведя в хозяйственных заботах. Когда колот крепко завитую чурку, короткое эхо, отдаваясь о стену избушки, сливалось с отрывистым ударом колуна, и сухие поленья отлетали с поющим звуком.

Когда спело последнее полено, Прокопич поднял голову и увидел верхушки лиственниц, гравюрно прорезавшие серебряные облака. Отсвет неба лежал на алюминиевой канистре, на снегу, и даже на лабазке под навесом ярко серебрился подсоленный сижок и блестела затертая обойма от карабина. Прокопич стал думать о словах и о том, что «обойма» происходит от глагола «обнимать», и вспомнил, как первый раз улыбнулась ему Наталья, а он спросил: «Как тебя зовут?»

И прозвенела в этом гулком и протяжном «зовут» такая вечная разлука, такая надежда на слияние человека с человеком и такая близость к женщине, что хоть и давно оглохла даль от ее имени, а потребность звать осталась на всю жизнь.

Так он и звал ее этим утром, звал сквозь обиду, сквозь Люду, сквозь Андриюху и Зинаиду Тимофеевну, и так сильно и искренне звал, что почудилось, в небесном просвете медленно обернулась Наталья и махнула крылом облака, а Прокопич встал в снег на колени и помолился, чтобы серебряно и легко отлила от души ее уходящая нежность...

4

– Бывают мужички, к которым вечно ходят советоваться. Он уж давно отпахал свое по артелям да экспедициям, отшумел и отжил, а у молодого с трактором неполадки, и ответ один: «Иди вон у Петровича спроси». А у Петровича ни мотора, ни трактора, ни куска тайги, только избенка на берегу, да ведро, да лопата, которой он тихонько копается в огороде. А копнешь самого, так он спокоен и так не сомневается, что все мыслимые просторы с ним навеки, что нет истинней его власти над жизнью. И горше одинокой старости в забытом богом поселке. Пойдем, Серый... – говорил сам себе Прокопич, отходя от избушки и подправляя топориком затесь.

Небо сквозило все серебряней в ячее ветвей, и каждая листвень стояла прямо и ровно, а одна, с двойной вершиной, держала на отлете кедровку. И все было на месте в то утро, и каждый был занят своим делом. Небо, где перегоняли отставшее облако к сизой и перистой стае, и собака, и пожилой человек, приехавший попросить прощения за неловко прожитую жизнь. И придумавший разлуку, которой не было, и теперь очень удивленный и все будто ощупывающий душу и не верящий произошедшему. И опасаящийся, что заскоузла она, переродилась сальцем и остыла к вечному сиянию природы.

К вечеру Серый обляял соболя, и Прокопич, добыв его, не удержался и поднялся на хребет, откуда долго глядел на белую гору, сначала освещенную солнцем, а потом погасшую и ставшую еще четче.

День был ясным и длинным, но, каким далеким ни казалось бы его начало, Прокопич знал, что навсегда душа в том серебряном утре и не будет вовек ей остуды.



Татьяна БАЙМУНДУЗОВА

Татьяна Баймундузова родилась в 1977 году в Барнауле. Окончила АлтГУ по специальности филология, работала телерадиожурналистом на ГТРК «Алтай», главным редактором и ведущей информационных программ в радиогруппе «ФМ-Продакшн», редактором отдела поэзии журнала «Алтай», постоянный автор журнала «Русский мир». Автор книг «Вне круга», «Стихотворения», публикаций в региональной и федеральной периодике.

Член Союза писателей России.



* * *

Холодно на двухтысячном километре.
Мне поутру не занимать тоски...
Вот человек, знающий все о ветре,
Твердой походкой движется от реки.

Вот по тропе черноволосых кеток
Непоправимо долго иду к нему.
Любишь меня? – шепот таежных веток...
Любишь меня? – отблеск в речную тьму...

Ветер не стихнет сутки, а то и двое,
Лодки уйдут на север, в далекий путь.
Там, где безветрие, жизнь ничего не стоит,
Там обмануться легче и обмануть.

Здесь же, в краю, откуда не ждут обратно,
Сердце мое усталое сохранит –
(Любишь меня?) – тот, кто мне ближе брата,
(Любишь меня?) – тот, кто меня простит.

К ночи ударят громы, дожди польются.
Словно к черте последней – береговой –
Выйти на этот ветер и задохнуться...

Любишь меня... – лодки перевернутся?
Любишь меня... – лодки придут домой.

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛОХОДА «ЗАРЯ»

Это стало обычным делом – ходить без зонта,
Под дождем и по-над рекой – посредине вод,
Нитью взгляда вплетаться в линию горизонта,
Вызволяя зарю из тумана.

И теплоход,
Будто белая шхуна с алыми парусами,
Проползает по руслу, течения не скорей,
Вниз – не в пропасть, а по-над пропастью меж камнями,
Пришвартуйся по правому краю, не бойся, Грэй.
Глянь мою деревяшку – побитую ветром лодку.
Ты узнаешь сегодня (внимательнее впитай
На причале моем дичайшем огонь и водку):
Берега – у реки, а у пропасти – только край.

Я не знаю, поймешь ли, давя сапогами глину,
Крупку мамонтовых позвонков замешав с песком.
Для чего поселила я душу свою в долину,
В эту водно-небесную гладь за материком.
Я живу здесь обыкновенно, хожу без зонта,
Белой ночью ловлю туманы, готовлю сеть...
И слежу за нитью:
Завалится линия горизонта –
Ничего не выйдет – придется пересмотреть...

В ДЕНЬ 36-ЛЕТИЯ

О, чудная тарковская погода:
Июньский снег ложится на пески,
И белый день по линии исхода
Клонится к седине моей реки.
Опустится и, медленно-печален,
Сольется с беспощадною водой.
И снег уже почти горизонтален,
И год уже почти тридцать седьмой.
И свет иной...
И длинный план прощанья
Под звон оконный – выдох ветровой.
И вот уже течет воспоминанье.
И Лета под горой. И свет иной.
Ничто не прерывается исконно,
И в день грядущий,
мной не прожитой,
Мой сын пройдет по полочке иконной
Над этой неизменною рекой...
Над бездной да святится Имя Отче.
В канун июня, в снежную пургу
Нет никого на свете одиноче,
Чем мальчик на высоком берегу...

* * *

С крыш течет весна, достает до дна,
Я тебе верна, как вина.
Я тебе дана, как твоя страна,
Неоконченная
Война.

И живи со мной да высоко пой,
А как будет бой – я с тобой.
Ты себя прикрой за моей душой,
За твоей душой –
Мой покой.

А потом иди и меня веди,
И собой свети, как святы...
Заболит в груди – не сходи с пути,
Доберись и жди
Впереди.

Я пойду на зов, из руин, с низов,
По тропе ветров и костров...
Исповедник снов, ты готовь мне кров.
И любовь.
И молитвослов.

* * *

Неужели ты не слышал,
 Как зеленая волна
 В ночь ударила по крышам
 И запела у окна?

Гул стоит неодолимый –
 Вечной юности клаксон!
 Отчего ж ты смотришь зиму,
 Продлевая белый сон,

Словно кто зовет далече,
 Кто иной, – не я, не я,
 Будто вечности предтеча
 В отголосках февраля.

Я ль пою тебе негоже,
 Бесноватая весна...
 Говоришь: помилуй, Боже,
 И отходишь от окна.

* * *

Холод, морок, два цветочка,
 Сорок черных человек...
 – Ты не бойся жизни, дочка,
 И живи как человек.

Не ищи в своей природе
 Исключительных примет.
 ... Тот октябрь на исходе
 Вот уже пятнадцать лет.

Но не это ль Божье чудо,
 Что, тобой подожжена,
 Жизнь моя горит покуда,
 Как лампада у окна.

Папа, что же это было,
 Что же будет впереди?
 Папа, я тебя простила...
 Уходи.



Анатолий КИРИЛИН



Анатолий Кирилин родился в 1947 году в г. Барнауле. Автор нескольких книг прозы. Издавался и печатался в Барнауле, Новосибирске, Москве.

Член Союза писателей России.

Живет в Барнауле.

ПОД НЕБОМ АПРЕЛЯ

П о в е с т ь

Палата выкрашена светло-серой безжизненной краской. Дверь открыта, через нее видна такого же цвета коридорная стена и окно. За ним опять стена – дома, стоящего напротив, – и снова серая краска. В палате пятеро, лишь один помоложе, лет сорока – сорока пяти, остальным за шестьдесят. Тихий час. За исключением высокого, астенического склада старика, все спят. Иван Петров сидит, привалившись к спинке кровати, вяжет сеть. Когда она удлинится настолько, что мешает работать, Иван обматывает готовый кусок вокруг металлических прутков спинки и продолжает неторопливо стягивать узлы, подгонять ячейки. Руки у него непрерывно дрожат – следствие контузии, оттого работа идет медленно, движения кажутся неуверенными. У Ивана нервное, подвижное лицо с крупными чертами, жесткий седой ежик, острый взгляд. Сейчас он в очках, потому кажется добрее, в остальное же время на лице смесь нескончаемой обиды с желанием посчитаться.

– Иван! – тихонько окликает его проснувшийся сосед. – Ты почто ячейку-то крупную такую делаешь?

– Шестиперстка, – удовлетворенно кивает тот.

– Неужто у нас еще где большая рыба ловится?

– Та бог ее знает, не ловлю, запрещено.

– Чудак, зачем же сети?

– Трудотерапия. Чтобы руки не разучились работать. Вишь, какие они у меня?

– Ну и вязал бы тогда помельче, дольше хватит...

– Обижаешь! На мелочовку такую нить изводить, гляди, крутка-то какая – на заводе специально для этого дела крутят. В ночную смену, когда большого начальства нет, договорятся с кем надо, перестроят машину – и только шум стоит.

– Как же выносят потом?

– Эка трудность! Через забор покидают, а там уже их ждут. Я эти нитки на барахолке покупал, дерут, черти, по три червонца за катушку. Ворованные же, говорю. А твое какое дело? Не хошь – не бери. Обложил я его всяко, но нитки взял, не удержался.

– Отдашь кому?

– На черта? Браконьеров и без того не переловишь...

Сосед, недоуменно пожав плечами, откинулся на подушку. Его, самого молодого в палате, зовут Анатолием. Двадцать с лишним лет работает монтажником, ветрами, дождями, всякой непогодой дубленый, а поди ж ты, сдался организм, и привычка не помогла. У него жестокий радикулит, плохо поддающийся лечению. Врачи, пытаясь добраться до истины, спрашивают что-нибудь вроде: «Не было ли в детстве травмы головы?» – а он злится: «Причем тут голова, если зад не шевелится?» Ходит Анатолий мелкими шажками, с трудом передвигая ноги, а больше лежит, читает или радио слушает через наушники. Ложе у него специальное, вместо сетки – деревянный настил – для жесткости. Днем ничего, а ночью – залежится в одном положении – бок немеет, просыпаться приходится. Высокий лоб с расплывающимися залысинами, толстые стекла очков делают его похожим на учителя математики. Все в палате одеты в бледно-зеленые больничные пижамы, только он один в принесенном из дому спортивном костюме, мягких домашних шлепанцах.

Тихий час закончился, мимо открытой двери потянулись к туалету курильщики, где-то заиграл пронесенный контрабандой транзистор, нетерпеливые доминошники рассыпали по столу костяшки. В этой палате никто не обращал внимания на общую побудку, не расшевелил их и крик из коридора.

– Нервное отделение! Полдничать!

В палату стремительно вошла массажистка Ирина.

– У-у, лежебоки! Там булочками так вкусно пахнет! Что новенького, дядя Саша?

Она села в ногах у деда Крутикова, которого и больные и медперсонал звали дядей Сашей. Старожил, уже полтора месяца здесь, он в палате самый тяжелый, на фронте позвоночник передавило. Мало того что ноги ходить отказываются, стопы сковало в таком положении, будто он все время пытается привстать на цыпочки. Передвигается дядя Саша с помощью костылей, мучительно переставляя изуродованные ноги в ортопедических ботинках. И на костыли, видно, надежда плохая, совсем ослаб за долгие годы болезни – кабы одни-то ноги!.. В коридоре он всегда держится поближе к стене: если падать, чтобы не оказаться без опоры...

Массажистка, дурашливо счастливая от избытка молодости, завитая под казачью папаху, наманикюренная, забросила ногу на ногу, высоко оголив колени: кого стесняться?

– Я же вас передала утренней сменщице, а та не успела, новенькая. Приходится сейчас беспокоить, – щебечет она, втирая крем. – Ух, синяки-то какие! Сосуды близко, сегодня потише буду.

Безжалостно сильные пальцы забегали по изможденной плоти.

– Что, больно?

– Нет, это я так...

– Он у нас молодец.

Анатолий, приподняв голову, наблюдал за уверенными действиями сестры. «Молодец» лежал, тяжело глядя перед собой, руки за головой цепко ухватили спинку кровати, дрожат, на лбу испарина.

– Ой, мне бы недельку хотя б вот так полежать, выпалась бы!

– А что, – опять подал голос Анатолий, – мы с Иваном на одной койке уляжемся, а вы здесь... Как там погода сегодня?

– Хорошо, тает даже немного, а к ночи, обещают, заметет.

– То-то, гляжу, спину ломает, спасу нет.

Закончив, массажистка укрыла дядю Сашу, пометила что-то у себя в блокнотике.

– Так, кто у нас следующий? – Она повернулась к соседней койке, где постель напоминала воронье гнездо. Во все стороны торчали простыни, одеяло, перекрученный матрас, подушка, а посередине покоился маленький старичок, утонувший в пижаме. – Ну и накрутил!

Сестра осторожно, чтобы не разбудить больного, расправила матрас, подткнула простыню.

– Смелей, сестренка, он вчера «расторможку» получил, на три дня теперь хватит.

– А массаж?

– Какой массаж? Пускай спит, хоть мы-то отдохнем маленько.

Заглянула дежурная сестра.

– Стуков, к вам пришли.

Федор Стуков давно уже не спит, лежит с открытыми глазами, отвернувшись к стене, делает специальные упражнения для лица. Инсульт обезобразил его, рот повело набок, отчего речь стала невнятной, с пришептыванием. После кровоизлияния вся правая сторона тела плохо повинуется ему, но Федор не сдается. По несколько раз в день занимается зарядкой: ходит, приседает, мнет тугой резиновый мячик. Бреется Федор безопаской, ему бы поменять ее теперь на электрическую – сподручней, но он все решил оставить как есть, даже не стал переключивать свой старый, с войны, скребок в левую, здоровую руку, хотя резался каждый день. В отделении выдержке Федора все поразились: за время, пока он здесь, давление ни разу не опускалось ниже двухсот, а от него ни жалоб, ни нытья, только молчаливое, сердитое на болезнь упрямство да еле слышные команды самому себе. Раз-два, раз-два... Точно взводный Стуков готовит молодежь к строевому смотру.

Федор набросил поверх пижамы теплый халат, вышел.

– Уже шесть, наверно? – забеспокоился Крутиков.

– Пятый только доходит, – Анатолий внимательно посмотрел на него.

– Э-эх! – прошелестел по палате вздох.

– Ничего, дядя Саша, перезимуем как-нибудь, в сад ко мне поедем, а там кра-сота-а!

– Не перезимуем, видать...

Вернулся Федор Стуков.

– Жена приходила. Яблоки будете?

– Свои бы куда девать, носят и носят, то ли я здесь другим человеком стал, дома-то сроду их не ел.

Петров для наглядности открыл тумбочку, целая полка забита малиново-щеким апортом.

– Точно, – поддержал Анатолий, – хоть сушить начинай. – Потянулся к своей тумбочке, да неудачно, зашиб руку о деревянный настил. – У, чертovy дрова! Надоели хуже тещи! – Тут же усмехнулся миролюбиво: – И грех сердчать-то, сроднились вроде с этой деревягой, кому еще так подфартило – на одной койке по третьему заходу селиться? Фантастика! Скоро табличку прибью, дескать, собственность такого-то, не трогать.

– Хм, собственность! – Стуков отложил яблоко. – У нас в госпитале парень лежал, бедро раздробило. Ему на операцию надо, а боится, глазищи огромные, жутью исходят. Вцепился в кровать – и ни в какую, пальцы аж побелели. Уговаривать бесполезно, давай его за руки тащить, вчетвером, однако, управлялись. Сначала все твердил: не пойду, не пойду, а потом, как пальцы-то стали отцеплять от кровати, заорал дурниной – моя! Подумать – вроде о койке печалится. Глупость, какая там койка! Поди, в ту минуту ему взошло, будто от самой жизни отдирают... Койка что, с тех пор и по сегодня не изменилась почти, такая же. Сколько их по больницам, всем хватит.

– В жизни, как у нас в пехоте, – продолжил разговор Иван Петров, – меньше возьмешь – дальше уйдешь.

– Все мы начинали налегке, – сказал Стуков, – а потом обростешь незаметно так и подумаешь: отдал бы все, чтобы как раньше, в молодости, есть ли – нету, болит – не болит, ерунда.

– Во! – Палец Анатолия назидательно вознесся над подушкой. – Теперь и расплачиваемся за легкомыслие, молодому оно, конечно, нечувствительно. Вот скажи, на кой надо было мне горбушку свою проветривать, с железками всю жизнь ломаться? Жена в парикмахерской работает, ножничками чикает – больше меня зарабатывает.

– Да кто ж нас спрашивал, в цирюльню идти или на пашню? – вмешался в разговор дядя Саша. – А там, – он сделал движение рукой, и она непроизвольно обратилась в сторону запада, – тоже не выбирали, что съесть, куда сесть. Что дадут, куда прикажут. Я-то ладно, на танке, а пехота? Посмотришь, в грязи, в снегу, так, Иван?

– Всяко приходилось, грелись зимой у домов горящих, спали тут же на снегу – с одной стороны хоть тепло. В деревне останутся один-два дома – туда всех детишек и стариков соберут, и без нас тесно... А ты, Александр, на какой должности-то служил?

– И механиком-водителем был, и радистом, и командиром экипажа. Кто погибнет, того и меняю, в какой машине пол-экипажа пропало, где один человек – пошел на замену.

– Когда призывался-то?

– Да аккуратно в сорок первом, в апреле. Поучили месяц в Омске и отправили к Бресту на строительство укреплений. Там она нас и застала... Шли пешком, оружия нет, немец впереди нас давно, мы за ним, выбираться-то надо. Ничего, помаленьку набрали немецких автоматов, патронов только мало было... Старшина, помню, хороший парень из Красноярска... Так и шли лесами... После уже на танке учили...

Дядя Саша устало откинул голову, поморщился, недовольный собой: иной раз за неделю столько не наговорит, а тут – на тебе, разобрало.

– У нас в девятой палате старик лежал, семьдесят лет, – Анатолий шаривал ногой тапок, курить собрался, – всю войну из конца в конец прошел, так он сейчас только военные мемуары читает. Смотри-ка, говорит, все правильно пишут. Я у него брал, интересно. Достаньте, там все написано, как было.

– Ты по книгам знаешь, – проворчал Петров, – а у нас эти мемуары каждый день читали: что сдали, что взяли.

– Уж вы как со мной ни спорьте, до солдата все сведения не доходили. Сейчас вон только стали писать, как там в верхах было.

В палате повисла тишина, будто каждый зацепился мыслью за что-то неожиданное и оттого замер. Нарушил молчание Иван Петров, хмыкнул:

– Милиционер родился!
– Почему милиционер-то? – въедливо поинтересовался Анатолий.
– Не знаю, так говорят, если вдруг тихо станет.
– Слышал, что говорят, а все-таки почему? Нелепость ведь какая-то, причем тут милиционер?.. Э-эх! – Он смешал во вздохе укоризну и непонятно откуда взявшуюся грусть. – Чеховские герои говорили в таких случаях: тихий ангел пролетел... А тут – милиционер!

– Иди-ка ты, книжная душа! – беззлобно ругнулся Иван.

Анатолий доковылял до встроенного шкафчика, нащупал в тайнике за дверью сигареты. Оставлять их в тумбочке или прятать под матрас бесполезно, больничное начальство ведет непримиримую борьбу с курильщиками. Поймают – выписка с нарушением режима, иди тогда жалуйся. Единственное место, где можно курить без опаски – туалет, он закрывается изнутри, и выпускают туда только по условному стуку.

– Что ж, пошли подышим. – Петров с видимой неохотой оторвался от сетей.

Из всей палаты курили только они двое. Федор Стуков бросил недавно из-за невыносимых головных болей и сейчас мучился, каждый раз провозжая куряк страдальческим взглядом. И Петрову врачи настоятельно советовали бросить эту вредную привычку, сам уж сколько раз обещал себе: сегодня докурю на прощанье, а завтра все, баста! Но духу решиться окончательно не хватало, как-никак сорок лет не расставался с табаком. Сестра, единственный родной Ивану человек, не могла прибавить решимости, хотя и напоминала чуть не каждый день: «Вань, бросил бы ты эту заразу». Но очень уж не настойчиво звучало предложение: добрая душа, в ней вместе с заботой о здоровье брата поднималось беспокойство, как же он без привычного-то, хуже бы не стало. Когда Петрову сделали пункцию и он не мог несколько дней ходить, сестре разрешили подняться в палату. Среди кульков и свертков со съестным в руках у нее были сигареты «Прима», как просил.

– Что ж ты, – с деланным неудовольствием поднял брови Иван, – может, я курить попробовал бы здесь бросить?

– Давай назад! – спохватилась она.

– Ладно уж, приду домой – брошу, а то завянешь тут совсем. Оно ведь как, после обеда все курить бегут, я не хочу, иду исключительно для компании. Подумаю – и не буду ходить, зачем? Не хочу же. Глядишь, постепенно так и брошу: час после обеда, час после ужина, да и занят если чем, не до курева... – Он повертел пачку, вздохнул: – И хорошие сигареты стали редко бывать, – посмотрел на соседей, – в деревне-то я «Север», иногда «Беломор» курил, этим не баловался. Ты бы пока это, – опять сестре, – ну, не бросил курить, купила бы немного в запас, знаешь, чтобы не бегать в случае чего.

Она виновато опустила глаза, поправила на коленях халат для посетитель и вздохнула – точь-в-точь как ее брат только что.

– Да я уж и так купила, пятьдесят пачек...

Пришло время вечерней уборки.

– Здравствуйте, роденькие мои! Устали, поди, болеть-то? Ничего, от нас больных не отпускают, домой все здоровые уйдете.

Сегодня дежурит тетка Катя – так сама представляется. Немолодая уже, с тяжелыми, вспухшими от воды и дезинфицирующих растворов руками, она всегда что-нибудь рассказывает за делом. Замполит – по-доброму окрестил ее Иван Петров.

– Это что у нас тут такое красивое? – Она показала на яркую бутылочку «Фанты» возле спящего.

– Напиток такой, дочка у него проводником работает, из Москвы привезла, – объяснил Стуков.

– Вона куда люди ездят! И денег платить не надо... И-эх! – Тетка Катя сокрушенно обратила ладони кверху, будто удостоверилась, что в руках ничего нет. – Работала я в колхозе звеноводкой, мы три года подряд на свекле первые были, по двести двадцать – двести пятьдесят процентов сдавали. А свекла, сами знаете, с ней надо весь год работать: зимой удобрения вози, снег задерживай, летом – тут и говорить не приходится. Тракторист у нас был, Федя, один-то что он сможет, так мы зимой ему помогали. Первый год получила я премию семьсот рублей, на другой поехала на сельхозвыставку, сюда, в область. А на третий мы уже двести пятьдесят процентов получили – нас троих, Полю, Ньюру и меня, в Москву назначили. Порадовалась, да недолго, корове как раз приспело телиться. Мужик мой говорит: куда я с ней, вдруг не растелится, первотелок ведь. Девчонки у меня, – одна тогда в шестом, другая в пятом классе, – что с них спросишь? По хозяйству, конечно, помогут, а тут – такое дело... Нам тогда на выбор предложили или в Москву или шубу покупай... Так и поехала вместо меня Шура из второго звена, а я взяла шубу и стиральную машину. На ту шубу потом – поверишь, нет – смотреть не могла, висела она, висела, покуда моль жрать не начала. Мужика до сих пор пилю: из-за тебя нигде не была...

Она быстро управилась со своими, на первый взгляд, нехитрыми обязанностями, однако, эта быстрота не мешала ей забираться с тряпкой в такие углы, куда другие редко заглядывали. «Бездельницы!» – между делом ругала она своих сменщиц.

– Ну вот и все, пойду к другим. Вы уж тут не скучайте, через пару деньков увидимся. Может, принести чего? У меня капуста нонче – прямо удивление, люди жалуются, мягкая уже, оно и правильно, апрель на носу, а нашей хоть бы что, хрустит и такая ядреная! Принести?

– Спасибо. Куда нам, тумбочки ломаются. Выйдем – тогда, может, в гости нагрянем, так под твою капусту-то... куда с добром, а, мужики?

Федор Стуков неумело улыбнулся окривевшим ртом.

– Ух вы, озорники, вам бы только...

Тетка Катя не смогла договорить, у нее самой губы потянуло судорогой и в горле стало, точно от дикой груши. «Что ж ты, милая, всех убогих жалеть – надорвешься», – подумал Стуков вслед выбежавшей из палаты санитарке и, выбрав самое крупное яблоко, пошел за ней...

– Девять, верно, уже? – спросил вернувшегося из курилки Анатолия Крутиков.

– Без десяти восемь. И куда это ты, дядя Саша, все торопишься у нас?

– Доживать пора, муторно.

Вечером, когда расходились по домам врачи, заканчивались процедуры и оставалась одна дежурная сестра, отделение немного напоминало жилище, где собрались после работы уставшие за день домочадцы. Из палат доносится спокойный говор, шелест переворачиваемых страниц, на посту уютно зеленеет абажур настольной лампы. Но ощущение домашнего покоя обманчиво, нет-нет и пронесется по отделению стон, и все головы обернутся в его сторону, или громыхнет стулом в дальнем закутке спрятавшийся от всех старый человек, заново начинающий учиться ходить. «Успеть бы, – думает он, – жить-то осталось всего ничего...»

Спать ложились рано, Крутиков за день смертельно уставал бороться с собственной немощью, у Стукова к вечеру подсакивало давление, и от электрического света болела голова, Анатолию – утро, вечер – все едино, спать готов сутками, у Петрова бессонница, не поддающаяся никакому снотворному, ему тоже безразлично, девять сейчас или двенадцать. Если же и забудется ненадолго, старый кошмар, который год мучающий его, заставит открыть глаза. Сон этот стал неотделимой частью существования Ивана, как родимое пятно, как шрам. Сначала на него наступает падающий лес, затем деревья исчезают куда-то, и Иван оказывается на краю рва. Начинает перебираться через него, а следом – не то волки, не то собаки. И вдруг слышит, за рвом мужик голосит: спасите, помогите! Ну, думает, обирают человека. Перемахнул через ров – никого, а собаки, те все не отступают. Изловчился Иван, поймал одну, изорвал в клочья, так нет, опять целая, бежит, за ноги хватает. Потом приходит к болоту и видит, из камышей кто-то в – него целится. Иван за винтовку – не стреляет. Кинулся в камыши, придавил изо всей силы того, кто целился, а он лежит неподвижно и только смотрит на Ивана, в глазах ни боли, ни страха, ни просьбы. И вдруг Ивана осеняет: глаза-то удивительно знакомые! Чьи, ни разу не смог вспомнить, знал только, смотрят они на него издалека, из той, довоенной, жизни...

Он опускает ноги с кровати и долго сидит, разглядывая темноту.

Деревня, где жили Петровы, в войну сгорела дотла. Маленькую, дворов на двадцать, слизнуло ее краем огромного пожара, и История, вполне возможно, не заметила этого. Возвращаясь с фронта, пришел он на родную землю. Точно незаживающая рана болела она без привычных деревьев, людей и посевов, и вместе с ней кровоточила душа Ивана. Бежал он от этой боли в Сибирь, там жила сестра, единственная, уцелевшая из всей родни. И не было в нем стыда за свою слабость, были горечь и злость, отданные работе, а вернее сказать – утопленные в ней. Валить деревья – наука нехитрая, Иван быстро совладал с ней, находя в лесу забвение и блаженную усталость. Сестра жила в городе, неподалеку, он ездил в гости, но не так часто, как хотелось ей. Звала перебираться насовсем, однако, он не захотел тогда окончательно расстаться с землей, с деревней. Около года прожил в леспромхозовском общежитии на краю Рожневки, а потом женился на печальной и одинокой женщине, готовившей лесорубам обед – Анастасии. Беднее ее дома в деревне не было, стены – плетень, обмазанный глиной, на крыше – заросли бурьяна. Когда весной шел тот бурьян в рост и ожившие корни будоражили землю, она просыпалась сквозь ветхий настил, падая на стол, на постель. Иван за лето срубил новый дом, соединил его с прежним, сносить не стал, уважая чье-то трудное время: не в радости, видать, строили такую ветхость и не в достатке – вон сколько леса под боком, а взять не могли... Обжились потихоньку, обзавелись хозяйством, Иван день ото дня все крепче прирастал к новому месту. Одно плохо, детей у них не было. К сорока годам Анастасия заболела, хворь у нее случилась какая-то загадочная, врачи беспомощно разводили руками и всякий раз делали новые назначения. Вся жизнь Ивана проходила в работе, где он двойной тягой рвал себе хрип, чтобы прочно стать на ноги, – не давала покоя обида за поруганную землю, за разоренный родительский очаг, – в хлопотах по дому, огороду, в заботах о больной жене. Не было места в его жизни праздникам, людям, которые могут украсить любое бытие лучше всякой хозяйственной радости. Но с одним человеком Иван все-таки сошелся и стал со временем все больше и больше дорожить его дружбой. Это был

дед Матвей. Трудно сказать, что связывало этих людей, в деревне считали, не пара старик Ивану, хозяйством не занимается, часто весел без причины, разговорчив не в меру, живет, сколько помнит его Рожневка, один. Справедливости ради надо сказать, что веселость деда Матвея не была шутовской и не длилась бесконечно. Иногда он неожиданно замыкался в себе, днями бродил в одиночестве по берегу реки, потом стаскивал на воду лодку и уплывал вверх по течению. Возвращался через неделю, посветлевший, будто трава, умытая росой.

Анастасия чувствовала себя все хуже. Разъезды по больницам совсем расстроили хозяйство Петровых; дед Матвей в отсутствие Ивана приходил кормить живность и замечал, что ее становится все меньше. А тут врачи какой-то курорт порекомендовали, как знать, глядишь, поможет... Но свозить Анастасию на курорт они не успели, умерла она в самом начале лета. Хозяин был в огороде, сажал картошку, так и не услышал, что сказала жена напоследок.

Дед Матвей сделал гроб из досок, сложенных у него в сарае несколько лет назад для новой лодки. После похорон дед сел напротив Ивана, помолчал, горестно крутнул головой и вышел. Назавтра, едва рассвело, он отвязал свою лодку.

Вернулся на этот раз недели через две. У хозяев весело разрасталась первая окрошечная зелень, вода освободила и матвеевский огород, ниже других спускавшийся к реке, и он выделялся в прибрежной полосе серым потрескавшимся пятном. Дед Матвей посмотрел на свою усадьбу пустыми глазами и опять отправился на реку. Так в тот год и не посадил картошку.

Осенью Иван мешками перетаскивал к деду половину своего урожая.

Произошло неожиданное. Иван, всегда одинокий на людях, видевший в последнее время весь смысл своей жизни в единственном человеке, жене, устоял, начал помаленьку копошиться по хозяйству, приходит в себя. А дед Матвей слег. Не то чтобы больше задела его беда Ивана – стар он уже, а старому человеку любой удар – двойная тяжесть... Иван полностью принял на себя заботу о больном Матвее, целыми днями сидел у него. Молчали оба. Дед Матвей уставится в одну точку и лежит так часами. Взгляд удивленный и насмешливый одновременно, будто бы говорит: эх, ты, голова, столько прожил на белом свете и не знаешь, что даже самое долгое плаванье когда-нибудь подходит к концу.

Нескончаемо тянулась зима. Дед Матвей почти не поднимался, хотя говорил Ивану, будто чувствует себя хорошо, и просил узнать, не надо ли кому сделать лодку.

– Ищи заказчика с зимы, – поучал, – это тебе что те сани, наперед думать надобно.

Заказчиков не было, и Иван пошел на хитрость: выписал доски в леспромохозе, оплатил вместе с доставкой.

– Порядок, скоро строить начнем.

Лучше деду Матвею не стало. Однажды он окликнул Ивана, кивнул на окно и попросил:

– Весна скоро. Помоги-ка подняться.

С трудом добрались до сенок, где были сложены доски. Дед погладил одну, приложил к ней ухо, притих. Словно и не доска это, а большая ракушка, в которой всегда слышен шум моря.

– Ну вот, пора и мне.

После смерти деда Матвея жил Иван как бы в невесомости: ни рук, ни ног не чувствовал, ни земли под собой. Что делал, о чем думал, спроси кто – не знает. Иной раз вспомнит: неужели я теперь совсем один? – и тут же мысль эта уплывет куда-то, вроде не было ее вовсе...

Однажды он обратил внимание на старый лодочный остов, чуть выглядывающий из земли; еще одно половодье – и его совсем затянет илом, замочет. И вдруг до Ивана дошел весь смысл происшедшего, маленьким и беспомощным почувствовал он себя на этой земле. Надо же, столько раз осиротеть в течение одной-единственной жизни! Он теперь казался себе выбитым из последнего окопа в цепи оборонительных сооружений... Вот и деда Матвея не стало, человека, который всегда уносил с собой чужое горе. Иван знал, куда плавал Матвей, на Мыльниковскую яму – так называется единственное глубокое место на реке, там с одного берега почти не видно другого. На середине дед бросал весла и подолгу сидел, глядя на воду.

Ничто больше не держало Ивана Петрова здесь, на чужой земле; вернувшейся против его воли все, с чем когда-то пришел он сюда – боль, разочарование... Не было только злости, сгорела за три десятка лет.

– Температурку! Температурку мерять!

Сестра бесцеремонно включает свет. Шесть часов утра, начинаются первые процедуры. Каждому на тумбочку она ставит баночку с таблетками.

– Какие-то новые, что это?

Стуков с любопытством разглядывает розовую пилюлю.

– Врач назначил, у него и спрашивайте.

– А где вот такие маленькие, мне их все время давали?

– Странные люди, почему я-то знаю? Что написали, то и положила.

Через час сестре меняться, она устала, глаза кажутся неестественно большими от глубоких теней, окружавших веки. Стукову жалко сестру.

– Что, Оля, не пришлось поспать?

– Да чего там! – сразу оттаивает она. – Дома выплусь... Ну, счастливо оставаться. Свет-то выключить?

После завтрака начинается обход. Сначала заведующая отделением, высокая властная женщина, пролетает по коридору со свитой медперсонала, затем врачи расходятся по своим палатам. Сергей Петрович – самый молодой врач отделения, может, потому он всегда подчеркнута строг, сосредоточен. На нем модные вельветовые брюки, красивые заграничные туфли, на руке предательской новизной поблескивает обручальное кольцо – женился совсем недавно.

– Вставал? – кивает на спящего.

– Нет, – отвечают хором.

– Надо поднимать, хватит.

Врач потрогал больного за плечо, но тот, промычав что-то невнятное, поглубже зарылся в спутанную постель.

– Теперь, думаю, сам встанет, заставьте его на обед сходить обязательно... Итак, что у вас новенького?

Он подсел к Крутикову, откинул одеяло. Молоточком обстучал конечности дяди Саши, чиркнул острым хвостиком рукоятки по животу – никакой реакции.

– Хорошо, прекрасно, – фальшиво приговаривает доктор, – теперь попробуем встать.

Дядя Саша, приподнявшись, с трудом подтягивает к себе стул для опоры. Большие руки его с широко разведенными тяжелой работой казанками ка-

жуются еще сильными, но сейчас они дрожат от напряжения, едва справляясь со столь простым делом. Доктор обходит его, чиркает молоточком по спине, по икрам.

– Ходить надо больше, двигаться.

– Сколько можно ходить-то? Находился... Всю Европу прошел и проехал... Вот в Геленджике дочь у меня живет, поеду на все лето. Восемь лет назад ездил, хорошо было, думал даже, сам пойду, без костылей.

Сергей Петрович рассеянно смотрит мимо больного, похоже, не верит в Геленджик.

– Дело нужное, отдохнете, погрееетесь.

Следующий Федор Стуков. «Сейчас опять начнем от печки», – думает он без энтузиазма, потому что врач постоянно расспрашивает обо всем на свете, пытаясь добраться до корней болезни. Интересно, что нового он узнать хочет? Все тут ясней ясного.

– Простужались часто?

– Как не простужаться? Под Ленинградом бои – Ижора, Колпино – нас в пилоточках застали, налегке. Кругом сырость, болота, двое спят, третий из-под них воду вычерпывает. Не вычерпал – и так спим. Потом в госпитале лежал, по тридцать чирьев было.

Врач пишет что-то в пухлой истории болезни, затем меряет у Стукова давление.

– Вы мне раньше все таблеточки маленькие такие давали, по-моему, хорошие...

Сергей Петрович сделался строже обычного, сейчас, наверно, скажет: больной, мне виднее, что назначать, что отменять! Но, видно, передумал и ответил с простой человеческой досадой:

– Кончились, будь они неладны! У жены (тоже медик) спрашивал, нет и у них.

– Как называются-то? – поинтересовался Анатолий и тут же записал.

С Петровым у доктора разговор не получается. Тот не доверяет его молодости и первым делом обидно спрашивает:

– Вы учиться-то кончили, Сергей Петрович?

Доктор не удостоил его ответа, прошелся по костистым Ивановым ногам, померял давление – все молча.

– Домой-то скоро?

– Как сочтем нужным, – сухо отчеканил Сергей Петрович.

– Чего тут зазря валяться?

Едва доктор скрылся за дверью, из кучи белья показался маленький сухой старичок с легким седым пухом на голове.

– Здоров же ты спать, Ефим! – поприветствовал его Петров.

– Первый раз и выспался, а ты уж и позавидовал, нехорошо.

– Кому завидовать, у тебя жизнь хуже собачьей, обижают все.

Ефим с любопытством вытянул шею, не разыгрывают ли? Но Иван, не поднимая головы, сосредоточенно занимался своими сетями.

– И правда ведь, всю жизнь мучился. В молодости жрать нечего было, сейчас вот в больницу попал.

– Брось приbedняться, – одернул его Стуков, – в шестьдесят пять лет, можно сказать, заболел впервые по-настоящему – на жизнь он жалуется!

– А что ж, и жить-то стал, когда к шестидесяти подошло. Дети работать пошли. Раньше как – в зарплату долги отдашь и опять в долг.

– Ну, ты горазд! Кто говорил, боится, что без него деньги пропадут? А оказывается, у тебя и денег-то отродясь не бывало! Наверно, потому и не было, что складывал, машину, поди, собирался покупать?

– Какая там машина? На гараж не хватит.

– Что ж, не научился, значит, воровать... А теперь какие с нас воры, руки, смотри, трясутся.

Петров отложил сеть и внимательно посмотрел на свои длинные пальцы.

– Теперь и пожить бы, – продолжал Ефим, – да куда там – хромой, слепой... Знаешь, как я мучился? Я бы себя застрелил, честное слово!

– Ты бы себя не застрелил, – спокойно возразил Петров.

– Знаешь, Иван, когда шутки, я понимаю, а тут... Я ведь серьезно, так мучился! Кровоизлияние – не шутка. А жена ничего путного принести не может. Возьму и не пушу ее больше сюда, мне хватит, что дают покушать.

– Кто же тебе яблоки принесет?

– Дочери принесут.

– Нет, что ни говори, жена есть жена.

– Дурак я, деньги на нее переписал, теперь жалко, останусь без копейки. А подумаешь – на кого еще? Дети на золото пустили бы, видел, все в золоте ходят?

– Ох, Ефим! Выйдешь из больницы – Христом-Богом просить будешь: носочки постирай.

– Что ты, Иван! Я сам все стираю. Дети приходят: ты что, папа, простыни новые купил? Во как отстирываю!

Появилась массажистка, она сегодня была не в настроении, работала молча. Ефим не мог лежать спокойно, и Ирина то и дело сердитым движением руки заставляла его не шевелиться. Как всегда, тяжело переносил массаж дядя Саша, кряхтел, давил руками неотзывчивый металл кровати. Ефим почувствовал:

– Ты, Александр Иванович, накали на сковороде соли, погрей больное место, а потом намажь тигровой мазью, понял?

– Понял, кедровой, – морщась, неправильно повторил глуховатый Крутиков.

Все заулыбались, и Ефим, слышавший не лучше дяди Саши, решил, что ему не доверяют.

– Точно, все испытано. И еще на жестком надо лежать, там косточки есть, одна за другую зашла, следует их на место поставить. На курорте даже растяжку делают.

– Ты научишь! – вмешался Стуков. – Может, у него совсем другое заболевание, позвоночник-то передавлен. Вдруг еще хуже будет?

Крутиков тяжело вздохнул и покачал головой – не то соглашался, не то возражал.

– Ничего, Александр, – успокоил Петров, – у нас тут скоростное отделение, все, однако, победим.

– Как это? – не понял Ефим.

– А посмотри, на заднице «НО» написано, погоняют, чтобы скорее бегали.

– Ну да? – Седенький нимб недоверчиво склонился над казенными штанами. – Это значит – нервное отделение.

– Много ты понимаешь!

– Побежишь тут, как же! Лечат всех одинаково, одни и те же капли дают.

– Ты не наговаривай на врачей, Ефим, – заступился Стуков, – не то разуваришься, лечиться плохо будет. Все на медицину жалуемся, а идем опять

же к врачам. Такие уж мы есть. На милицию тоже обижаемся, а чуть что – милиция!

– Ну, тебе нравится, я вижу, наш доктор, мне – не очень. – Петров почесал дужкой очков за ухом. – Может, он и человек хороший, но как специалист не по мне.

– Откуда ему быть специалистом? – обрадовался поддержке Ефим. – Я читал, за границей на врача семь лет учат, а потом отдают в практиканты опытным докторам еще на пять лет. И даже никакого документа сразу не положено, только после практики смотрят, что из него будет.

– Видишь ли, дорогой, раньше четыре класса кончали или семь и специалисты были – куда с добром, потому что не ленились, вникали во все тонкости дела. Врачи ладно, ты возьми кого другого, учатся для диплома. Кончает институт тяжелой индустрии, а работать идет в лесную промышленность: нанюхался, попробовал во время учебы, не захотел. Тот же, кто учился на лесника, затосковал в лесу, пошел в цех. Вот тебе и специалисты...

После переезда к сестре Иван Петров разболелся не на шутку. Недомогание, вызванное проснувшимися к старости ранами, контузией, не рождало жалости к себе, одно лишь глухое раздражение. Главное, пожалуй, что мешало Ивану бороться с болезнями – душевный надлом, с которым уехал он из деревни. Иван называл себя никчемным человеком, нарочно умаляя при этом свои фронтовые заслуги. «Ну, воевал, эка важность, война – воробыный скок по сравнению со всей прочей жизнью, а она, вишь ты, – псу под хвост». Если б ему сказали, бывает, мол, не везет, он бы спросил: кто? или кого? – и был бы искренен в этом вопросе. Несмотря ни на что, он не признавал власти обстоятельств над человеком. Это Иванов спасительный противовес. «От безделья все болячки», – ворчал он, но дела стоящего найти не мог: куда годится инвалид с трясущимися руками?

Вокруг непривычно близко друг к другу жили люди, много людей. В одном их доме, считай, полторы деревни уместилось, но ближе от того сосед соседу не становится. Ему и самому ни разу не пришло в голову взять да и зайти к кому-нибудь. «Ну, я-то, допустим, бирюк известный, – думал он, – а эти что? – И тут же объяснял себе, надо сказать, без особой убежденности. – Стены здесь дюже толстые, не чует человек человека». Со свалившимся на него обилием свободного времени в Иване проснулось необычайно въедливое любопытство ко всему происходящему вокруг. Его поколению, у которого лучшие годы отняла война и нескончаемая работа, зачастую приходилось заполнять свою жизнь как бы с другого конца. Один вместе с внуком штудирует школьную литературу, не по обязанности, самому интересно, другой безуспешно пытается сдать на водительские права, – как раз к пенсии скопил на машину, – третий, проклиная на чем свет стоит себя и старуху, толчется в очереди за новым мебельным гарнитуром... Иван удивляется, что никто – и он в том числе – не хочет мириться с самым бесспорным: пустые хлопоты все это, мишура, а жизнь все равно уходит, и ничто не задержит ее. Как знать, иной раз и мишура – жизнь... Все время теперь он думал об этом, стал много читать, смотрел телевизор с утра до ночи, изо всех сил стараясь понять занятную, «крутую», как сам говорит, а главное – совсем новую для него современность. И все же кое-что не понимал. Оттого с особым вниманием слушал своих городских соседей по палате, вставляя иногда собственные замечания.

Федор Стуков жил по соседству с Ефимом, через дом, правда, узнали они оба об этом лишь здесь, в больнице. И работали, оказывается, недалеко друг от друга: Ефим на заводе, где изготавливают двигатели, Федор – за оградой, на комбинате стеновых материалов. Стуков уже несколько лет был на пенсии, но на свою бывшую работу похаживал частенько, тосковал. Сосед же его, если б не болезнь, работал бы по сей день.

– А чего тебе не работать, – подзуживал его Федор, – знай себе деньги получай, делать-то ничего не надо.

– Да я два года только на окладе, всю жизнь сдельно вкалывал: сколько сделаю – столько получу. Не бойся, свою норму всегда выполнял.

– Норму он выполнял! А то я не знаю вашу наладку, отродясь туфту подписывают. Сам, поди, и подписывал, когда мастером был?

– Я не подпишу – другие подпишут.

– Правильно, кому-то надо премию получать, а сделал ты станок или нет – вопрос второй.

– Таких, как ты, Федор, я вот честно скажу, не больно-то на производстве терпят, выгоняют и нигде потом не берут. Были у нас такие люди...

– Производство! Тьфу ты, господи! С вашим-то производством я знаком, – вступил в разговор долго молчавший Анатолий. – Ни одного агрегата не поставили без дополнительной наладки. На монтаже раз были – хорошо, куратор с вашего завода присутствовал. Ставлю я двигатель – патрубок смотрит не в ту сторону, кручу и так и этак – без толку. Подхожу к мастеру, такие вот дела, говорю. Не может быть! Побежали за куратором, смотрят – чтоб тебе пусто было! Это ж двигатель с другой системы, его в Усолье-Сибирском ждут не дождутся. Или еще помню. Закрываем турбины, гайки осталось закрутить, глядь – а они не те, гайки-то, резьба другая. И что ты думаешь? Самолет снарядили за этими гайками! Там ящичек – в одной руке унесешь, а за ним самолет. Вот он, ваш завод!

– При чем тут производство, это все сбыт. Я, например, свои станки знаю как пять пальцев: токарный, фрезерный, сверлильный...

– Да ты пять-то пальцев знаешь? Какой вот этот?

– Не вижу, мне зрочки закапали.

– Ну вот, не видишь! Не знаешь!

Шутка развеселила лишь самого Анатолия, Петров тем временем настроился на серьезный разговор.

– Выйду – сразу же отправлюсь на прием к директору химкомбината, письмо понесу. Пусть в письменном виде ответит, почему у них металл с реконструкции цехов идет в отвал? Я рядом живу, все вижу. Там и листовое железо, и швеллера, и свинец, и алюминий... Пускай ответит. А нет – в Москву пошлю копию, вон у Ефима дочка проводником работает, увезет. В ЦК напишу, министру черной металлургии, химическому министру. Мне бояться нечего, на войне не такого набоялся.

– Обидно, – поддержал его Стуков, – мы когда «Запорожсталь» восстанавливали, по земле винтики, гаечки собирали, все в дело. Америка говорила, что нам не меньше двадцати лет понадобится, чтобы восстановить, а мы его через три года запустили... Сталинград заново отстраивали – все котлованы вокруг города чистые, а они там ой какие! Зато у нас все завалено битыми плитами. Сутками на комбинат щебенку везут, обратно – бракованные плиты. Я сейчас там в народном контроле, ну, по партийной линии – поручение. Мишку-то Войленко знаешь, наверно, Ефим? Сосед твой? Старший мастер, едрена корень! Прижучили мы его за качество, за перерасход материалов –

так на нас же и поднялся, пугает, наглец этакий! Будто мы государственное добро переводим, а не он.

– У-у, Миша твой живет кум королю. Сколько уж домов в пригороде отстроил! Один делает – продаст тысяч за пять, потом другой. Плиты бракованные ему ничего не стоят, для большого дома они, может, и не годятся, а для деревни – самый раз.

– Не свое, – заворочался дядя Саша, – потому и не жалко... До войны мы мясо сдавали, молоко. Нас заставляли скот держать, чтобы не ленились. Так мы ж не в колхозе были... С его же, с колхозника, и молоко, и мясо, и яйца, он и в колхозе, и дома – везде успевал. У нас в Торках – городишко небольшой – помню, одиннадцать пастухов было, это, значит, одиннадцать гуртов. Сейчас понастроили – город стал – бродит один-единственный гурт. Сказать, подальше в селе скотины много – нет, не скажешь. Кой-кто объясняет, мол, скотину дома не держим, потому что кормить нечем, а куда он девался, корм этот? У нас за речкой луга какие, годами не выкашивают, знать, и корма хватает, не нужен если...

Дядя Саша устал, полез за таблеткой и затих, плохо думая про себя, завидя Стукову, который мог ходить на завод в народный контроль и говорить вору, что он есть вор.

В том городе, где жил Крутиков до войны, была большая железнодорожная станция. Крутиков, благодаря ей, стал пролетарием, сознательно строящим на земле коммунизм. Он ни минуты не сомневался, что построит его, потому-то не было в довоенной жизни дяди Саши места отчаянью и бессильным слезам. Он насыпал песок и щебенку под будущие рельсы, строил станционные здания, с каждым годом укрепляясь в своей силе и уверенности. Война закончила его строительство, а с ним и всю его жизнь, оставив, точно в насмешку, огромные рабочие руки, чтобы передвигал он свое немощное тело. Так теперь думал он о себе. Последний раз Крутиков помнил себя здоровым, когда они рядом с войной помогали гражданскому населению убирать урожай. Было наслаждением смотреть, как женщины ловко управлялись со снопами, одним движением схватывая их перевяслом. Он увлекся работой и знакомым чувством, повторяющимся каждый год по весне, когда у него, пролетария первого поколения, через рабочие башмаки зудились и горели пятки от ощущения пашни, в которую клали семена хлеба многие поколения Крутиковых. Потому ему было стыдно и хорошо перед строем от слов командира: «Ну кто такие снопы вяжет? Тебя же бабы прокляли, поднять не могут...»

Крутиков болел и корил себя за это. В больницу шел неохотно, в тех крайних случаях, когда было уж совсем невоготу. Зачем, думал, зря людей беспокоить, пусть лечатся, кому на пользу. В Геленджике у дочери он был всего один раз и теперь говорил о предстоящей поездке, зная, что никуда не поедет. Однажды достали ему путевку и чуть не силой выпроводили на курорт, в Горячий Ключ, что под Краснодаром. На второй день после приезда он наблюдал, как экскаватор копает траншею под теплотрассу для нового корпуса. За ковш зацепился какой-то ящик, треснул в воздухе, и из него посыпались мины. Экскаваторщик выскочил из машины – бежать, а он долго еще стоял рядом, мучаясь старой ненавистью к войне, жившей в нем постоянно и не нуждающейся в напоминаниях. «Свои мины-то, – определил дядя Саша, – видно, спрятали и забыли». В тот же день он уехал домой.

К Крутикову пришла старшая дочь, усталая сорокалетняя женщина с серьезным лицом и грустными глазами. Посетителей к нему и Ефиму пускали в палату. Ефим, хотя и передвигался без посторонней помощи довольно бойко, вниз спускаться категорически отказался: боюсь на лестнице разбиться, глаза плохо видят... Гостья поправила постель у отца, заглянула в тумбочку.

– Опять ничего не тронул, пропадет же все, папа!

– Я и говорю, не носи.

Покачав головой, она стала выкладывать новые свертки, на постель положила три больших апельсина.

– Это еще зачем? Отнеси назад, ребятишкам.

– Можно подумать, у них нет, ешь давай.

– Что я, апельсинов этих не видел?

– Много ты у нас видишь, как же! – с неожиданной досадой на себя возразила дочь. Тут же задумалась ненадолго и потеплела лицом. – Вспомнила, когда у нас первый раз появились апельсины. Уже после войны, лет пять, больше прошло, мы тогда в бараке жили, помнишь? Какой-то праздник был, дядя Веня принес большие часы с маятником и дверцей стеклянной, а в часах апельсины. Ты и тогда их есть не стал...

Они еще немного посидели, тихо поговорили о семейных делах, затем дочь, попрощавшись со всеми, ушла. Следом появилась одна из дочерей Ефима. У него их три, и все настолько похожи друг на друга, что никто в палате никак не мог запомнить, которую как зовут, хотя Ефим каждый раз громко объявлял: «Глядите-ка, это моя»... – и он называл имя. На этот раз пришла Дина, проводница. Прической она напоминала массажистку Ирину, ростом невелика, в отца, глаза быстрые, цепкие. С порога она обстреляла взглядом всю палату и, не найдя ничего стоящего внимания, обернулась к отцу.

– Очки принесла?

– Вот, возьми.

– О, господи прости! Зачем мне эти? Темные надо, говорил же!

– Где я их возьму, мои, что ли? Разобьешь, фирменные.

– Во! Видали? Фирменные!.. Ладно, – Ефим быстро успокоился, – ты мне тогда коробку конфет достань. Для дела. Надо будет с массажисткой договориться, чтобы домой ходила, когда выпишусь. Массаж, говорят, сейчас самое главное. Дам ей тридцать рублей в месяц, пускай массирует.

– Будет она за такие деньги ходить, держи карман!

– Ты думаешь, она сильно много здесь зарабатывает? Девяносто рублей – не хочешь?

– Девяносто здесь да на стороне триста, а ты... Какие это нынче деньги?

– Давай коробку тащи, остальное мое дело.

– Пойду, мать там внизу, халатов не хватает.

Перед приходом жены Ефим сделался как-то особенно недовольным. Она вошла неуверенно, боком, робко поздоровалась.

– Плохо лечат, – сразу заявил Ефим со слезой в голосе.

– Ну-ну, ты не будь бабой Симой, будь Верой Ивановной, – точно ребенка, увещевала его жена. – Говори, что ты не больной, а здоровый.

– Я ведь и не хотел сюда идти, в больницу-то...

– Ничего, скоро выпишут, дома долечимся.

– Дома! Там девчонка эта сверху с утра топать начинает, из садика забегут в пять часов – и до одиннадцати грохот, с ума сойти можно... Как твой кашель? – вспомнил он вдруг.

– Ничего. Врач говорит, воспаление легких, а я так думаю – ерунда. Мне надо быть здоровой, пока ты болеешь.

– Ты отдыхай, гуляй на улице.

– Некогда все, сейчас еще за Тимофеевну убирать приходится, разболелась старушка. Ну, давай прощаться, на работу надо.

Она прижала его к себе, погладила по затылку. Всем показалось, будто Ефим тихонько всхлипнул. Попрощавшись с женой, он начал деловито разбирать авоську.

– Нет, вы видели, а? Сколько денег на нее перевел, на пенсии, а работал, так она в благодарность вот какие яблоки принесла. Чужой человек давеча был, с работы, принес – это я понимаю. Тут же гниль одна.

– Ну ты, Ефим, даешь! Яблоки как яблоки, – заметил со своего места Анатолий. – Не стыдно, она тебе трех девок родила, а ты? Больная совсем ходит, это ж понимать надо.

– Да, молодец она, мужик на такое не способен, – продолжил Стуков, – кишка тонка. В Ленинграде, в сорок первом, все больше мужчины мерли, женщины в сорок втором стали погибать, они к жизни способнее.

– Как она бегала, чтобы меня в больницу засадить! – гнул свое Ефим.

– Дурак ты, истинный бог! – скучно сказал Крутиков.

Неожиданно Ефим нашел поддержку у Петрова.

– Чего там, все они кобры, женщины эти.

– Во, Иван, точно, умница ты, Иван!

– Именно. А ты – удав.

Ефим опешил.

– Есть у хохлов такая поговорка, – не давал ему опомниться Иван. – Очи бачили, что брали? Бачили. Ишьги тогда, чтоб вам повылазило! Ты ж, поди, доволен был, когда молодую брал?

– Да она не хозяйка сроду, приду с работы – посуда грязная...

– Знаешь, Ефим, когда ты ошибку сделал?

– Знаю, конечно. Когда женился.

– Нет. Когда родился.

Неискренне хихикнув, Ефим закончил опасную тему. «Заключают», – решил.

После ужина Анатолий сходил куда-то и, вернувшись, протянул Стукову коробочку с лекарством.

– С утра всех своих на ноги поднял, достали черти!

Федор, встав столбом, задержал больными веками, попытался и не смог отчетливо произнести «спасибо» своими и без того непослушными губами. Будучи человеком добрым, Федор Стуков от доброты других становился слабым.

Женился Стуков на ленинградке, познакомился с ней по возвращении с войны здесь, в Сибири, куда она была эвакуирована вместе со стариками. Так совпало, что дважды породнился с Ленинградом – через фронт и через жену. В первую же ночь их свадебная кровать рухнула, едва присели с краешку. И весу-то в обоих было всего ничего, а поди ж ты, не выдержала, таковой рухлядью оказалась. Однако жить стали хорошо, потому как им теперь, без войны, и нельзя было иначе. Родилось у них трое детей, старшая – дочь и два сына. Между детьми большая разница в возрасте, младший только нынче должен школу заканчивать. Учится на тройки, дальше получать образование не хочет, токарем, говорит, пойду, хватит мне на пропитание, а ты, отец, ничего в современной жизни не понимаешь. «Бог с тобой, – думает

Федор, опасаясь за свою неумелую науку. – Старшего научил музыке – тот взял и уехал в другой город, и добро бы за чем – в ресторанном оркестре играет. Вот и вся современность им», – огорчается Федор. Сам он играет почти на всех инструментах, от отца перешло. Жили они раньше на самой окраине города, по-деревенски, держали хозяйство. Отец был первым человеком на гулянках, на струнных играл. Старший брат Федора, едва окрепнув в самостоятельной жизни, корову продал – гармонь купил, тальянку. На ней Федор и учился попервости.

Если у Стуковых все дома, в прихожей ступить некуда из-за невероятного количества обуви. Башмакам здесь тесно, а люди ничего, уживаются. В небольшой квартире помещаются хозяин с женой, сын и дочь со своей десятилетней девочкой, внучкой Стукова. У дочери есть своя квартира, но она не любит оставаться там без мужа. Геолог он, отсутствует подолгу. А приезжает – все равно неделями живут у Федора. Соседи за спиной их крутят пальцем у виска, понимая очевидную ненормальность перенаселения. Удивляется и зять: тянет туда, ничего не могу поделать. Год назад пришлось еще потесниться. Верхний сосед поинтересовался у Федора: пианино не купишь? Стуков перетащил инструмент с пятого этажа на третий, надеясь, что внучка, как существо, обладающее от природы большим разумом, чем их брат, мужчина, распорядится будущим умением лучше своего дяди.

Однажды к Федору пришли пионеры из школы, попросили рассказать, как воевал. Стуков считал, что ничего особенного на войне не совершил, но не удивился, понимая, что все меньше их остается. Вот и его черед пришел ребятишкам про войну рассказывать. Говорить начал – самому стало скучно. Не умеет. Пионеры попросили фронтовые фотографии для школьного музея, и Федор, как ни жалко было, не смог отказать – дело нужное. Одну, правда, особенно понравившуюся школьникам, оставил себе, а потом долго переживал: нехорошо получилось. На той фотографии он держит баян почему-то вверх ногами, рядом старшина Смирнов и хороший товарищ Стукова тезка Федя Приставкин. Ребят, наверно, привлек смирновский иконостас – такого набора во всей роте не было. Стуков подумал, пожалел – и понес карточку в школу. Пришлось долго ждать, пока нашли ключ от комнаты, где хранятся все военные документы. Захотелось самому положить фотографию рядом с другими своими. На стенах комнаты умело вычерченные боевые пути наших армий, много фотодокументов – все больше копии с известных журнальных снимков. «Ищите», – учительница придвинула три больших коробки из-под детских игр. Федор открыл одну и увидел горой лежащие фотографии, в точности, как у него. Сколько тут Смирновых, Приставкиных, и награды есть почище, чем у ротного старшины. «Да, братцы, тесновато вам живется, – посочувствовал Федор и обернулся к учительнице: – У вас уже есть похожие, я, пожалуй, оставлю эту себе». – «Как хотите». – Она пожала плечами и первой подошла к дверям.

Болезнь свалила Федора неожиданно. К тому времени он уже не работал, помаленьку занимался домашними делами, гулял. В одну из прогулок и скрутило его. Врачи потом спрашивали, как, что, почему, нервами интересовались.

– Вам никогда не хотелось в переполненном транспорте толкнуть кого-нибудь, ну, кто сильно напирает, допустим?

– Зачем? – не понимал он.

– А в кино не бывает, чтобы вы плакали?

– В кино? Нет.

Среди ночи внезапно загорелся свет, все поднялись.

– Что случилось?

Ефим стоял возле выключателя, зло всхлипывал.

– Не могу больше, это кошмар какой-то, они храпят и храпят, – указал он на Анатолия и Стукова. – Домой хочу, я там лучше себя чувствовал. Лежишь себе спокойно, девчонка эта, так она в шесть из садика придет, в девять уже ложится. Убегу-у!

Со сна не сразу поняли, в чем все-таки дело. Первым опомнился Крутиков.

– Сколько я по госпиталям провалялся, – побагровел он, – таких себялюбив, как ты, не видел. Ты, брат, свинья, и разговаривать я с тобой не буду.

– Вы тоже нервный, зачем лишнего нервничаете? Если я не могу, что теперь? Вот кто-нибудь пройдет, стукнет – я прямо вздрагиваю весь.

– Ни перед кем я так не говорил, никто не скажет, сколько здесь лежу, а вот тебе говорю: в военном госпитале тебя за такие дела костылем бы прибили. Пришел только что и уже порядок свой устанавливаешь. Ты подумал, что он головой мучается, Федор-то? Он пять минут похрапел и перестал. А если в доме восемь человек, что, будить всех?

– Не знаете, а я даже из санатория убежал на десять дней раньше из-за этого.

Крутиков не стал продолжать разговор, начал одеваться, натягивать ортопедические ботинки, что всегда давалось ему с большим трудом. Наконец придвинул к себе костыли, глянул на Ефима, будто плюнул, и вышел.

– Нехорошо, Ефим. – Стуков прикрыл глаза от света рукой. – Тебе шесть-десять пять, ему столько же, ты ходишь, а он нет...

– Да он нервный, у него работа тяжелая была, кочегар.

– Ерунду говоришь, он на железной дороге работал, и то почти сорок лет назад, при чем тут это?

– А я не могу, меня ярость от всякого шума берет.

– Тебе и луковица упадет – в ярость? На каждого человека, Ефим, палату не сделаешь... А ты, извини, глуховат не только на ухо.

На утреннем обходе врач сказал Крутикову:

– Скоро выписывать будем. Немного поддержали, остальное, увы, от медицины не зависит. Но вы у нас молодцом, я таких больных не часто встречал.

Все ждали, что сейчас Ефим начнет проситься домой, но он промолчал. С самого подъема лежал, отвернувшись к стене, должно быть, обижался.

– Ты не спи, Ефим, – побеспокоил его Стуков, – что ночью-то делать будешь?

– Я не сплю, я как ты меня учил.

– Мечтаешь?

– Ага. Про детдом мечтаю, как за черникой ходили, коней воровали.

– Ефим – конокрад, надо же! – Петров даже протер очки.

– Воровали. В Одессе у нас привоз большой, рынок то есть, там и кормились. Раньше частники конфеты делали, стоят, по корыту конфет у каждого. А у нас, детдомовцев, рукава длинные, широкие, пойдем – копейки две в кармане – а приспособились, по целому рукаву набирали. Один раз я попался – отколотили. Или в бочках с вином дыры сверлили, по ведру нацеживали, потом продавали. Ничего так жили, только зимой плохо ходить, пара ботинок на троих. Кто постарше, сажает на плечи кого помоложе.

– Ишь ты, детдомовский значит? – с каким-то уважением даже спросил Крутиков.

Ефим неожиданно широко улыбнулся и подтвердил:

– Детдомовский. Я сначала в Шепетовке был, потом в Одессу привезли. Слыхали про Шепетовку?

– Конечно слышал.

– Воевали, наверно, там?

– Нет, я рядом прошел, стороной.

– А меня вот не взяли, с завода не отпустили...

Ефим пожал плечами, задумался. Стуков тут же поднялся со своего места.

– Эх, Ефим, а ну дадим ходу! – И сделал вид, что пляшет. – Можешь так, а? Тра-та-гушки-и-и! Выпишусь к пятнадцатому, погуляем на дне рождения. Придете ко мне? Посидим, потом к тебе пойдем, Ефим, я теперь адрес помню.

– Точно, заявимся, – заинтересовался предложением Петров.

– Смотри, Ефим, у него ноги длинные, раз махнет – и у тебя дома.

– Он сразу после дяди Саши выйдет, да, Ефим? – спросил Анатолий. – Вот и подготовится к гостям. Федору нельзя пока, давление высокое, Иван сети еще не довязал, так что твоя очередь. Что молчишь-то?

– Он задумался, где водки брать, чтобы напоить всех.

– Ха! Две получки домой носит, денег – море! – Стуков попытался показать, сколько у Ефима денег. – Потому и ходят к нему чаще, любят. Еще бы, две получки! А тут одна – и та...

Ночью опять не спали, плохо было дяде Саше.

Он сидел бледный, комкал испуганными руками запачканную постель. Анатолий сходил за сестрой, но та, едва вошла, зажала рукой рот и тут же выскочила. Федор и Иван, поднявшись, молча начали убирать около дяди Саши, Анатолий принес швабру с тряпкой, ведро, потом взял у сестры чистое белье, постелил.

– Может, прогуляемся? – предложил дяде Саше.

– Спасибо, уже ничего, попью вот...

Когда все успокоились, Анатолий, как всегда, уснул быстрее других. И приснилось ему утро, теплое весеннее утро конца апреля. Только что рассвело, во дворе пусто, лишь возле открытых ворот гаража сидит человек. Это Андрей Андреич, пенсионер и чудака. Целыми днями он возится с чужими машинами, говорят, лучшего специалиста по двигателям не сыскать. Часто мужики, воровато оглядываясь, – не дай бог жена увидит, – по одному заскакивают к Андреичу и запираются изнутри. Выпивают, про жизнь разговаривают. Гаражная зараза, что домино, а то и хуже – бич для семейной жизни, потому хозяйки не любят Андреича. А что на него обижаться, ему не питье, другое важно: лишний раз с человеком обнюхаться – так и говорит. В ранний час, как сегодня, Андреич выходит птичек послушать. Прислушался и Анатолий. Поют. Как-то спешно, по-шалльному, не то что в лесу, где птицы подают голоса размеренно, с фиоритурами, ждут ответа, не боясь всеобщей суеты и беспокойства... И не свежесть утра, не аромат новорожденной листвы, а именно этот дурноватый хор заставил настолько остро почувствовать силу пробуждающегося дня, что Анатолий проснулся. Встал тихонько, вышел в коридор, посмотрел в окно. Там чернела ночь и лежали снега; апрель нынче небывало холодный.

Анатолий считал себя человеком бесхарактерным, а попросту – размазней. Все время он шарахается из одной крайности в другую и всегда под влиянием каких-то обстоятельств. Квартиру начали обставлять – дошли до такого идиотизма, что по дому ходить стало страшно, музей – руками не трогать! Жену обвинил: мешанство развела в доме, а что ее винить, в па-

рикмахерской все покупают модную мебель – она не хуже. Сам хорош – и деньги с книжки снимал и возился с этими деревяшками – не возражал. Только отошли от мебельной страсти – давай коврами стены увешивать. И опять опомнился не сразу. Постепенно Анатолий начал терять к себе уважение. Ну, что такое, купила жена ему на день рождения золотой перстень с вензелем, понравился, взял на работу, похвастать. А там ребята на смех подняли. Подумал – и правда, кто он, рабочий человек или купчишка какой, приказчик из бакалейной лавки – тоже подходит. Совсем плохо стало Анатолию. Взять да пресечь все разом – как? Жена книги приносит, подписку любую достать может, задаром, что ли? Какую-нибудь колбасу взамен подавай, прическу опять же вне очереди. А без книг нельзя, это настоящее, это детям, это даже он понимает. Пропади все пропадом! Жена говорит, что ковры тоже детям. Он вспоминает свой армейский вещмешок, с которого начал жизнь, и недоумевает...

Анатолий теперь подолгу сидел во дворе – думал. Нет-нет и подойдет к старому тополю, вспомнит, как в детстве лазил по нему. Растет дерево необычно, метрах в пяти над землей могучий ствол разветвляется, образуя розетку, в которой они в давние времена устраивали нечто вроде шалаша – штаб. Не проходило дня, чтобы мальчишки не собирались на своем тополе решать что-нибудь очень важное. Теперь тополь казался осиротевшим, Анатолий ни разу не замечал, залазят ли на него ребятишки нынче. «А им же никто не рассказал! – неожиданно открыл для себя. – Сами не догадались и теперь, наверно, ищут и найти не могут, где бы спрятаться от посторонних глаз и заклеить позором Сашку из шестой квартиры, предателя и ябеду...»

Потом появился старый американский фотоаппарат, который Анатолий приобрел по случаю у вдовы деревенского фотографа. Оптика отличная, «рисует» – за несколько километров провода на столбах видны. С крыши пробовал снимать – весь город как на ладони. Тогда и пришла ему мысль сконструировать телескоп. В журналах отыскал необходимые сведения и принялся за работу. Витька, сын, не помогал, мал еще, видимо, чтобы заинтересоваться серьезным делом, зато от помощников постарше, ребят восьмого, девятого классов, отбоя не было. Уходя, Анатолий давал им задание, и в мастерской, оборудованной на чердаке, утром и вечером не стихала работа. Все настолько увлеклись, что Анатолия даже в школу вызывали, за двойки; родители показали на него: вот, дескать, виновник плохой успеваемости. Один из его подопечных умудрился схватить двойку по астрономии, ему, разумеется, вынесли на чердаке всеобщее порицание. Стыдно, кругом карты звездного неба, схемы перемещения небесных тел – в общем, завалиться на школьной программе – позор.

В апреле состоялось торжественное открытие их маленькой обсерватории. Всем желающим разрешалось подняться на крышу и посмотреть в телескоп. Любопытные прошли недолгой чередой, после остались только те, кто вместе с Анатолием работал в мастерской. «Это у нас кружок теперь или как?» – поинтересовался кто-то. Анатолий задумался и заявил с важностью: «Общество. Общество любителей неба». Вечерами они собирались наверху и, гордясь, говорили, что для всех прочих привычнее крыши над головами, а вот они ходят по этим самым крышам, над головой же у них только небо – без края, без границ...

Через год общество распалось. Кто, заканчивая школу, готовился к выпускным экзаменам, кто просто потерял интерес к астрономии – в такие годы увлечения меняются часто. Анатолий пошел в школу, предложил за-

ниматься астрономией у него на крыше, но там от предложения отказались. Одно, правда, разрешили: можете принести в школу ваш телескоп, если больше не нужен. Так Анатолий и сделал, посетовав про себя на людей, которым больше подходит смотреть на небо в узкое пространство между домами.

Сейчас он видел из окна черное небо без звезд и привычной апрельской глубины. Думал об ушедших от него юных звездочетах. Они, конечно, когда-нибудь найдут свою дорогу – в небе ли, на земле... Жаль только, что он не очень помог в этом, не сумел. Может, потому, что сам начал взрослеть слишком поздно? Думал и о тех, кто теперь находится рядом с ним, страдает от болезней головы и сердца, израненных жизнью, войной. «Вот мы и пришли на смену им, не так уж плохи, а все-таки не те...» Давно уже не с кем ему поделиться самым дорогим, что было в его жизни, и вот сейчас, как никогда, захотелось сделать это. Чтобы чье-то больное сердце, напитавшись апрельским небом, задышало с новой силой. Но как это сделать, он не знал...

За дядей Сашей приехала дочь. Он стал раздавать пироги, вафли, молоко. Все подходили по очереди, прощались.

– Ты чего, отец, никак, расплакался. – И дочь пояснила остальным. – Это ему от вас уходить жалко.

Петров долго смотрел вслед дяде Саше и покачивал головой в такт своим невеселым мыслям.

Молчаливую пустоту в палате заполнили звуки извне. Медсестра Ольга в дальнем конце коридора разговаривала по телефону.

– Кто это, ты, Сережа? Андрей? Ну, кто же?

На место Крутикова положили молодого парня. Его сопровождал весь незамужний персонал отделения: красив до неприличия. Ироничная усмешка притушевана болью, но все же не сходит окончательно. У парня не движется шея и сильно болит голова.

– Температура около сорока, – щепнула одна из сестер.

Несколько раз в день у него брали кровь на анализы. Молоденькие стрички из лаборатории подсаживались к нему на кровать с видимым удовольствием. Петров не выдержал, возмутился:

– Всю кровь у парнишки высосете, ненасытные!

Отлежавшись немного, парень представился куда-то в потолок:

– Сергей.

– Ну вот, уже разговаривать начал, дело на поправку, – обрадовался Иван.

Сергею поставили капельницу, и он, скосив глаза, с недоверием смотрел, как капля по капле в него вливается какая-то чужая жидкость; ему бы уснуть, а поди усни!

– Непривычен болеть-то, – констатировал Федор Стуков, – оно и хорошо, это дурная привычка.

Поначалу дело у Сергея вроде пошло на поправку, через день уже сам ходил в туалет. Но еду пока что носили в постель. Каждый день приходила его жена, совсем юная, похожая на десятиклассницу, с мальчишеской стрижкой и испуганными глазами, такими огромными, что казалось, у нее не лицо, а сплошной испуг.

– Алешка к тебе просился, – рассказывала она, – говорю, к папе нельзя, ты маленький еще, чтобы в больницу ходить, а он в рев.

Сергей слушал ее, глядя в потолок, прощался каждый раз небрежным взмахом руки, точно отгонял.

– Плохо живем, – говорил Анатолию, наверно, потому, что тот моложе других. – Был бы у нее характер поспокойнее, помягче, нет, максималистка, она думает, если семья, значит только ты и я. А у меня работа такая, на такси, могу и задержаться. Попробуй задержись – сразу начинается. Что ты, думаю, песни-то мне поешь, знаю я вашего брата. Встретил недавно одноклассницу, – жена, кстати, тоже в нашем классе училась, – замуж вышла за парня одного, свадьбу только что сыграли. Начала мне глазки строить, дескать, не прочь бы встретиться... Не успел, в больницу попал.

Петров что-то напутал в своих сетях, плюнув с сердцем, отбросил нитки в сторону.

– Слушай, молодой, ты в армии был?

– Был, как же, два года отдубасил.

– Два года – срок. Женатый уже уходил?

– Угу.

– И как, скучал?

– По жене-то? Приходилось. Там интересная штука вышла. Сколько девок на гражданке было, а когда по второму году служба пошла, веришь, не то что имена, лица забывать стал. Одна будто бы и осталась – жена. Приехал – ничего, всех вспомнил.

– А я вот неженатый ушел. Говорили нам, человечество защищаем. Это понятно, долг, только трудно мне было представить то самое человечество. Ну, ясно, большое, а что еще? И я, помню, все про мать думал, когда начинали про человечество, вроде понятнее становилось... Защитили, значит, и сам, слава богу, жив. Только одна со мной неутряска получилась: что тогда, что теперь – жизнь прожил – никого, ни жены, ни детей. Там, видно, все мое потомошнее осталось, сгорело вместе с деревней... Так что тебе, парень, и повезло, может. Кроме человечества, еще и за жену с твоим Алешкой пойдешь, ежели что.

Сергей неопределенно хмыкнул.

– У меня сосед, в годах уже, жизнь свою семейную войной называет, дерутся с женой чем попадая, потом по неделе на работу не ходят, синяки замачивают.

– Оно и так бывает: по мирному делу хоть с бабой повоевать. Эх, люди!.. Мы Борьку кололи, помню, поросенка. Грыжа у него вылезла, пришлось до срока. Соседа пригласил, ловок до этого дела, так и он кое-как унял нашего Борьку, активный был поросенок. И что ты думаешь, Машка – вместе их на выкорм брали – чуть не подохла следом. Десять дней ничего не ела, пожует маленько – и отходит. Привыкла, вместе все время. То свиньи, брат...

Петров остался недоволен разговором. «Вишь, – думал, – до коих пор в человеке дурь бродит...» После обхода он ушел из палаты и дожидался в коридоре, когда придет жена Сергея. Едва они простились, вернулся и с рога сделал страшные глаза.

– Ну, брат, что я тебе скажу-у! Язык-то умеешь держать за зубами?

– В чем дело? – забеспокоился Сергей.

Иван прошел к своему месту, маяча из-за спины Сергея Стукову: поддержи, дескать, врать буду.

– Так ты уж, парень, не выдай старика, договорились? Спустился я, значит, позвонить сестре, смотрю, жинка твоя стоит, дожидается, когда халат дадут – очередь там, – а рядом знакомая ее какая, что ли, может, вместе приходили, разговаривают. Меня-то им не видать, телефон за углом аккумулятор. Твоя и говорит: «Я от него совсем уж было уходить собралась, да за-

болел вот, жалко такого оставлять. А поправится – надо будет расходиться, не могу, – говорит, – больше этот обман терпеть – гуляет. Лешку заберу – и к старикам».

– Шутишь! – Сергей приподнялся на локтях. – Откуда она что узнает?

– Эка штука! Они, брат, женщины-то с виду только простые, а так хитрющие – куда нам! Опять же город наш – и велик вроде, да что тебе та деревня: улица с улицей перемигиваются.

– Тут в самую точку, – авторитетно подтвердил Стуков.

– Вот оно как оборачивается... – Петров сокрушенно развел руками. – Пациан вырастет, родителям спасибо не скажет, без бабки-то – ох-хо-хо!..

Стуков продолжил:

– Не пропадут, понятно, и поодиночке, молодые еще, только тут беда какая: надо ж заново кого-то искать, а вдруг попадет, что сама гулять наладится – не загадаешь ведь.

И вообще, менять их, жен-то, – вон мужики жалуются, – одно на одно под расчет получается. До полной бесштанности этак доменяться можно...

Сергей ничего им не ответил, молчал до самого вечера, чем озадачил Анатолия, отсутствовавшего во время разговора.

На следующий день Сергей Петрович первым делом подошел к новенькому.

– Что-то температурка у нас, тетка, держится, а? Ну-ка, попробуем приподнять голову. Та-ак, ладненько, а если так? Хорошо. Сегодня пункцию сделаем, – как бы между прочим заметил он. – Надо исключить один маленький вопросик.

У Сергея сразу же расширились глаза.

– Я не дам, не имеете права без согласия.

– Вот еще глупости, наслушаются бабкиных сказок. Спроси у них, опасно это или нет? Сколько раз вам пункцию делали, Стуков?

– Два.

– Видите – и ничего.

– Н-нет, я не знаю, – Сергей закусил губу. – С женой надо посоветоваться.

– Советуйтесь побыстрее, – с каким-то холодком сказал доктор, – мне лечение проводить надо. Сами же мешаете.

Петров поманил Стукова из палаты.

– Видал старого дурака, а? Думал, на поправку у парня пошло – с такими разговорами лез. Насочинял! Поди, из-за меня и хуже теперь стало, как считаешь?

– Вряд ли, у него не хуже и не лучше, не знают еще, от чего лечить, доискиваются.

– Не-е, правду говорят, захочет господь наказать – последнюю полушку из башки вытянет. Дур-рак!

– Не переживай, придумаем что-нибудь. Подкараулив доктора в коридоре, Стуков обратился к нему:

– Полежать что-то хочется, Сергей Петрович.

– В чем же дело?

– Денька бы так три, не вставая, от процедур этих отдохнуть, от гимнастики.

– Давайте-ка яснее, Стуков, что у вас приключилось?

– Сколько уж физкультурой здесь занимаюсь – а толку? Полежу – может, оно и скажется.

– Значит, вы решили внести поправки в мои назначения, понятно.

Доктор сделал движение в сторону ординаторской, но Стуков придержал его за локоть.

– Понимаете, парню нашему нужна пункция, так ведь? А он боится. Вот вы за компанию меня и уложите, дырку делать не надо, а так, для видимости – пластырь на позвоночник – и в койку.

– Так-так, – Сергей Петрович широко улыбнулся, похлопал Стукова по плечу, – занимайтесь-ка своими проблемами, помощнички! – И, пройдя несколько шагов, расхохотался: – Спасибо, Стуков, век не забуду!

Часа через два в палату влетела жена Сергея. Анатолий звонил по его поручению.

– Не вздумай, Сережа! – горячо стала убеждать сурово и недоверчиво поглядывающего на нее мужа. – Калекой останешься. И так все пройдет.

– Ага! Мой главный консультант прибыл. – В дверях стоял Сергей Петрович. – Что ж, попрошу в кабинет.

Сергею все-таки сделали пункцию, врач убедил жену, сказав, наверно, то, что больному говорить нельзя. Да и сам тот, похоже, согласился больше от противного: что-то слишком настойчиво жена отговаривала.

– Во! всю жизнь я возил, теперь и меня повезли, – с нехорошей дрожью в голосе пошутил таксист, когда его доставили на каталке в палату.

Доктор строго предупредил:

– Три дня лежать и никаких резких движений. А то и вправду калекой останетесь.

Усмехнулся, подмигнул Петрову и вышел.

– Как себя чувствуешь? – поинтересовался Анатолий.

– Нормалек, – Сергей поднял вверх большой палец.

– Тогда давай разговаривать, не то эти три дня долгими покажутся. Слышал я, вам недавно план набавили, тянете?

– За счет посадок выезжаем, а так не очень, поувольнялись многие.

– Будет прибежаться-то, все равно, однако, хватает и детишкам на молочишко и себе на толстый бутерброд?

– Вот-вот, все вы так. Если таксист, значит, у него карманы трещат от денег. Не больно-то! Забываете, что мне ее никто не сделает, машину. Смену на ней, вторую – под ней, так и работаем. Она у меня давно уж на капитальный ремонт набегала, только успевай – ладошки отмывать.

Сергей, похоже, устал от разговора, затих, прикрыл глаза. Переглянувшись, Иван Петров с Анатолием пошли курить. Потом долго гуляли по коридору, не решаясь заходить в палату: пусть поспит, надо. Остановились у окна, Анатолий приложил руку к едва заметной щели. Дует.

– Надо же, снег вроде и не думает таять.

– На Егорьев день мороз – жди еще сорок холодов.

– Это что, до середины мая?

– Считай, так. А еще говорят: на Егорьев день снег на крышах – на Благовещенье на полях... Припозднилось нынче тепло. Когда вернулись, Сергей уже лежал с открытыми глазами.

– Поспал маленько?

– Было. Как провалился, даже сон увидел. Будто к дому приторговываюсь, а дом какой-то странный: сруб барачного типа, внутри ни перегородок, ничего. За домом пустой огород. И стоит у самой дороги...

– Это твой дом про себя напоминает, – убежденно сказал Петров. – Видишь, он хотя и на глазах у всех, а без хозяина пустой, сиротствует.

Заглянула женщина из соседней палаты.

– Здесь Сергей, – она назвала фамилию. – В окно выгляните, пришли к вам.

– Кой черт в окно! – рассердился Иван. – Ему двигаться нельзя.

Сергей дернулся было, но тут же откинулся на подушку.

– Посмотри, дядь Вань.

Петров оперся на высокий подоконник, придвинулся к самому стеклу.

– Женщина какая-то, может, мать или теща, а с ней пацан. Машут.

– Форточку открой, достанешь?

Иван подставил стул, кое-как дотянулся. С улицы неожиданно громко прозвенел ребячий голос:

– Папа! Папочка! Это я пришел!

Лицо Сергея напряглось, сошла ироничная усмешка, может, от боли после неосторожного движения? Туго заходил кадык, словно Сергей силился проглотить что-то и не мог. Иван помахал гостям, затем сложил ладони и прижал их к щеке, спит, мол, ваш отец. Малыш понативно закивал головой, посмотрел на бабушку и, помахав в ответ, крикнул:

– Мы еще придем!..

К Федору Стукову пришла гостья из глазного отделения, соседка по дому, Валентина.

– Федечка, дорогой, с днем рождения тебя!

– Мать честная! Пятнадцатое, все проспали! – стукнул себя по лбу Петров. – Поздравляю, Федя, сейчас микстуры принесут, чокнемся.

– Когда выписываешься, Федя?

– Через пару дней, Валюша, хватит, належаля.

– Ой, я же тебе тут рыбки красной принесла на рождение.

– Спасибо, Валя, нельзя мне, такое дело.

– Федечка, Федечка, как же ты уходишь, подождал бы, кто меня после операции водичкой напоит? Ты ведь мне лучше брата родного... Помнишь, как за грибами ездили? Даст бог, все будет хорошо, опять поедем.

– Какой из меня теперь грибник, Валя?

– Ничего, придешь домой, возьмешь своего Иннокентия Федорыча, гулять будешь, – пояснила соседям: – Собака у него, болонка черная, веселая такая. А птицы – знаете, сколько? Кенари. Поют.

Сергей пролежал уже больше недели, но болезнь все не отступала. Болеть он, действительно, не привык, сейчас начал всерьез беспокоиться. Смотрит на передвигающихся с трудом своих соседей, на их согнутые спины, непослушные конечности и думает, что жизнь часто несправедлива к людям. Они, кряхтя, ковыляют за сестрой, когда кончается раствор в капельнице, есть заставляют – Петров не отвяжется... И себя жалко: что, если шея так и останется деревянной? Весна, гляди, нынче не торопится, точно ждет, чтобы он поправился и вышел отогреваться на солнышке. Вспомнилось, как год назад с приятелями ходили встречать весну в лес. Уже зеленела трава, листочки кое-где появлялись: стоял один из тех дней, когда все оживает на глазах. Они набрали с собой пива, водки и, крепко выпив, начали гонять белку, которую заметили на одной из трех берез, стоявших в отдалении от других деревьев. Должно быть, зверек привык к людям, здесь никто его не беспокоил, подкармливали при случае. Белка перепрыгивала с ветки на ветку, с березы на березу, не решаясь спуститься. Они усердно раскачивали деревья, не оставляли ее ни на секунду в покое. В конце концов белка до того обессилела, что не рассчитала очередной прыжок и застряла в узкой развилке между ветками. Она повисла в неудобной позе, глядя на людей остекленевшими в ужасе глазами, изо рта тянулась, поблескивая на солнце,

тоненькая ниточка слюны. Приятели посмотрели на свои ладони – все в кровавых мозолях, – с таким усердием налитые весенней силой руки мучили несчастного зверька. Но парни тогда не подумали о судьбе белки, о своей жестокости, только посетовали: как же теперь крутить баранку?

Иногда он вспоминал ту прогулку, но так, между прочим – хорошо весной в лесу. А тут вдруг до него дошел весь смысл той горестной забавы. Неужели надо почувствовать собственную беспомощность, чтобы понять, как слаб другой?

Иван Петров придумал необычные солнечные часы. Когда солнце заглядывало в их высокое окно, прямоугольник яркого света, разделенный переплетом надвое, ложился на пол. Постепенно свет перетекал из одной половины в другую – как в песочных часах. Который теперь час, Иван, конечно, сказать не мог, но одно видел безусловно: время идет.

– Проклятая погода! – ругается массажистка Ирина. – Пока до больницы дошла, ноги чуть не отморозила. Весна! Что-то творится с нашей планетой.

– Однако бережем плохо, – солидно заметил Петров. – Дома своего не чувствуем. Я тут недавно читал про Венеру, температура пятьсот градусов, грунт весь сварился – планета любви! А у нас-то на Земле как все удачно устроено. Мокрую тряпку брось в угол – через неделю там мокрица образуется. Гадость, конечно, а живая! Она, может, Земля наша, во всем мире единственная такая и есть, и мы на нее попали!

Иван замолк, но на лице его продолжало расти счастливое изумление, которое дальше уже он объяснить не мог – ни другим, ни себе...

В тихий час никто не спал, один Сергей лежал с закрытыми глазами: непонятно, то ли дремлет, то ли просто отдыхает от света. Перед тем он слушал какую-то передачу, да так и остался в наушниках. И вдруг плечи его затряслись, он зарылся головой в подушку и, комкая одеяло, судорожно вздрагивал уже всем телом. Стуков забеспокоился:

– Плачет, никак?

– А чего ему плакать-то? – Анатолий пожал плечами. – Вон как живет, все у человека есть, всем доволен...

Иван Петров приподнялся на локте, внимательно посмотрел на Сергея, подумал: «Мало ли, из-за чего может печалиться человек». И, улыбнувшись чему-то, стал разматывать свою сеть.



**Валентина
ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ**

Валентина Ерофеева-Тверская родилась и живет в Омске.

Автор восьми поэтических книг, изданных в Москве, Омске, Екатеринбурге, Орле. Лауреат все-российских премий: им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Ершова, А.А. Фета. Стихи переводились на немецкий и болгарский языки, публиковались в периодике, литературно-публицистических российских и международных журналах, хрестоматиях, альманахах, антологиях, коллективных сборниках страны и региона. Член Союза писателей России, член-корреспондент «Академии поэзии», член Высшего творческого совета России и Белоруссии.



* * *

Зреет белая кутерьма.
Наливаются тучи в небе.
Мне сегодня мой дом – тюрьма.
И на волю сегодня мне бы.

Крестовины оконных рам,
А за ними – снегов круженье.
Я сегодня с шести утра
Душу маю до изможденья.

В голос плачу, себя кляню.
И, отчаявшись, жизнь ругаю.
Быть самой у себя в плену,
Осознав – я совсем другая.

Что-то тайное в глубине
Светом внутренним наполняя,
Прорастает, живет во мне,
Мне, напомнив, что я живая.

Ах, снежинки – тьма белых звезд,
Вы пророчите, не иначе...
Ведь за тысячи дальних верст
Рвется сердце, тоскует, плачет...

Прочь! На волю из белых пут,
Сердце. Сердце, ведь ты – живое.
Мне свободой – Млечный Путь,
Только ночи дожждаться стоит.

* * *

Незабвенное детство, -
Мир желаний и грез.
Мне достались в наследство:
Стылость русских берез,
Гонор зимнего ветра,
Шаловливость проказ,
Косы русого цвета,
Серость дедовых глаз.

Пусть лукавинка дремлет
В уголках моих губ.
Я пророчеством древним
Согреться могу –
В нем я черпаю силы
Для любви и добра...
Из загадок России
И меня не убраться.

* * *

Полной грудью вдохну
Опьяняющий чад чабреца.
И кукушка ликует,
Года беспрерывно считая.
Полетит паутинка и
Липко коснется лица.
Сквозь просветы листвы
Облака и роятся, и тают.

Звезды падают в пашни, -
 А затем васильками цветут,
 Золотятся колосья,
 Пространство пронзая усами.
 Ноги будто бы сами
 Меня в это поле ведут.
 Жаром пышет закат,
 Словно пламя стоит за лесами.

* * *

Что мы ведаем? Что не бедные –
 Духом праведным дышит Русь.
 Что пророчили злые беды нам –
 Лихолетья, печаль да грусть.
 На семи ветрах слезы высохнут,
 Ни до темного нам рожна.
 Православные храмы высятся,
 Бабам помнится, как рожать.
 Крепких детушек – воин к воину:
 Чтоб не смолкла родная речь,
 Русь родимую, волю вольную
 С Божьей помощью уберечь.

* * *

...Вот и в твоих глазах
 Вижу желанья радость.
 А за окном гроза,
 Там за окном, не рядом
 Тени и миражи.
 Каплями пей дыханье.
 В луже звезда дрожит,
 Словно шаман в камленье.
 Я под твоей рукой
 В неге и сне забудусь...
 Ночь. Тишина. Покой.
 И откровений чудо.

* * *

Молчи, звезда, не накликай беды,
 Твой свет дошел, а ты давно остыла.
 Крыло метели, словно белый дым,
 Дома и лужи, и мосты накрыло.
 Тревожна ночь в мерцании твоём.
 Кружатся сны, окутанные белым.
 Глядит луна задумчиво в проем,
 А там, за этим рамочным пределом,
 Распахнут мир полету и мечте.
 С метельной песней есть желанье слиться,
 Надеждой вспыхнуть в молодой звезде,
 Зажечь свечу и Богу помолиться.

* * *

В зимы ли белые,
 В ночи ли черные,
 Что б мы ни делали –
 Числа нечетные
 Мечутся в памяти,
 В воспоминаниях,
 В шепоте, в замети,
 В звездочках на небе.
 Нужно те числа забыть,
 Да не хочется.
 Что за печаль?
 Не страшит одиночество.
 Числа нечетные –
 Встречи, прощания.
 Нежность – никчемная,
 Все-таки
 Жаль ее...

* * *

Неизбывная лень, -
 Недопитое чувство печали,
 И холодных ветров
 Законный пронзительный вой.
 Мне тоскуется чаще
 И чаще не спится ночами,
 И фонарь под балконом
 Упрямо скрипит головой.
 Но в сибирской зиме,
 Длинной ночи и ветре разгульном
 Место все-таки есть
 Для моей непокорной души.
 Тишину пробивают
 Машины разбойничьим гулом.
 На оконном стекле
 Сеть узоров – и как хороши!

* * *

Просторно душе,
и слагаются в строчки слова
Доходчиво, ясно, -
ведь время пришло восхищаться
Нестылой весною,
когда распушится листва,
И запахом талым
со странным названием – «счастье».
Найдутся сравненья
проталинам, лужам, дождю.
Дождь нынче шел в марте,
что, в общем-то, рано для Омска.
Как тянутся ветви
и тоже сравнения ждут –
С молитвой, руками,
свечой, оплывающей воском...

ПАРАЛЛЕЯ*

Ущелье змеей между скал проползает.
Туман по-над морем, как белая грусть.
Я с жадностью мерю пространство глазами, -
Пусть память впитает в себя это, пусть!
Как воды с предгорий, недели летели;
Как чаши весов, остаются два дня.
Тревожно скрипят и скрипят коростели,
Как будто нарочно печалю меня.
Эгейское море искрится, тревожит,
Томит расставанье, как тягостный груз.
Но я улыбаюсь сквозь слезы: и все же –
Строкой-ручейком в эту землю вольюсь.



* Город в Греции.

Елена БЫЗОВА



Елена Бызова родилась в 1958 году в городе Барнауле, закончила Алтайский экономический техникум, работала по специальности. Литературой всерьез занялась пять лет назад. Ее рассказы - о делах житейских, о том, что может произойти с каждым из нас, да и происходит постоянно. Незамысловатые истории, где переплетается хорошее и плохое, грустное и забавное.

РАССКАЗЫ

А КУДА ЕДЕТЕ ВЫ?

Звонок мобильного достал его в автобусе. Димка ехал с работы в институт.

Нет. То, что он туда ехал, на самом деле, еще ни о чем не говорило. Идти или не идти на лекции, он еще не решил, но на всякий случай ехал. И тут звонок. От Виктора. Вопрос о посещении альма-матер решился сам собой, причем не в ее пользу.

Виктор, или попросту Витек, мог звонить только затем, чтобы пригласить к себе попить пивка или договориться, где встретиться, чтобы там попить пивка.

- Здорово, Вить.
- Здорово. Чего делаешь?
- В автобусе еду.
- В какую сторону?
- В твою.
- Ага. Ну, давай, жду.

До универа оставалось четыре остановки, до Витькá – две. Пока ехал, прислушался к себе – совесть молчала. Мало того, впервые, наверное, за последние полмесяца настроение было, скажем так, неплохое.

От остановки до Витькиного дома – рукой подать. По пути заскочил в магазинчик, взял пару пива и пачку сигарет.

Едва притронулся к звонку – Витек распахнул дверь, как всегда, весь растрепанный, глаза вразбежку, улыбка набок:

- Заходи.

Из кухни сразу же выглянула любопытная физиономия Витькиного деда:

- Это хто это?

Дед, подслеповато щурясь, уставился на Димку. Внук отмахнулся от него, не утруждая себя объяснениями, и потянул друга в свою комнату.

Там, у самого порога, стояли какие-то сумки. Димка, едва не споткнувшись, перешагнул их и, выставив пиво на журнальный столик, плюхнулся на диван.

– Ну, че у тебя новенького?

– Тут твоя сейчас приходила.

– В смысле? Анька, что ли?

– Ага. Вон сумки принесла с твоими вещами.

Сердце глухо ухнуло, на секунду остановилось и замолотило, как бешенное.

– С какими... А-а, ну да, мы же договаривались... – враз осипшим голосом пробормотал Димка.

Он потянулся к одной из сумок, подтащил за ручку к себе. Машинально, не отдавая отчета в том, что делает, начал зачем-то перебирать вещи. А в голове крутилось: «Ну вот, значит, и все. Теперь уже точно все».

«Хроники Амбера», несколько дисков, зубная щетка, спортивные штаны... А это что? Димка вытянул тонкую тетрадку с замятой обложкой. И нелепая круговерть сумбурных мыслей и движений замерла. Неужели?

Откинувшись на спинку дивана расправил обложку. Да. Это была та самая тетрадь, где он, уходя, размашисто написал: «Передавай привет подруге Анжелике».

Витек, все это время слонявшийся по комнате, перестал наконец маячить.

– Ладно ты. Не зависай, – он открыл банку с пивом, сунул ее Димке, и сам со второй уселся рядом. – Чего это? Что за Анжелика такая? Почему не знаю?

– Маркиза ангелов, блин.

– Не понял. Но что-то знакомое, – Виктор задумчиво прищурился. – Слушай, кино же такое было!

– Ага, было. А еще книжка такая есть про Анжелику, и даже не одна, а целая серия.

Витек потянулся и достал из угла за диваном гитару. Тихо потренькивая начал подстраивать:

– Ну, и?

Димка вздохнул, сунул тетрадку обратно в сумку:

– Помнишь, у меня засада с деньгами была?

– Ага, но ты же вроде выкрутился? – Витек взял несколько аккордов, прислушался.

– Да я-то выкрутился. Но тут как-то захожу к своим, а там паника. Сеструхе надо за учебу платить, а не хватает. Они ко мне, мол, Дим, не выручишь? И не хватает-то всего столычника, а у меня у самого голяк полный. Тогда мать втихаря от отца сует мне пакетик, а в нем колечки ее, сережки: «Дим, ты сдай там где-нибудь, а то я даже не знаю, куда с ними сунуться». Я: «Мам, ты чего?» А она отмахивается: «Сынок, да зачем мне эти побрякушки? Я и так хороша, а у девчонки судьба решается». Блин, я пока от них добирался, голову сломал, где деньги взять. Домой приехал, Анька собирается на семинар. Я говорю: «Слушай, Ань, а у нас нигде никакой заначки не осталось?» Она на меня глаза вытаращила: «Какой заначки, ты о чем?» «Ну, мы же с тобой, помнишь, откладывали как-то на черный день», – и обрисовываю ситуацию. Та плечами жмет: «Ничего мы не откладывали, собирались только». Ну, я прошу ее, чтобы там, у подруг пробила, может, кто займет. Она говорит: «Занять-то, конечно, займут, но отдавать придется с процентами».

«Да и черт с ним», – говорю. В общем, она ушла, а я сижу и думаю. Ну, как так не откладывали? Я же точно помню. А вот, чтобы тратили эти заначки, не помню. Короче, не знаю, что меня толкнуло, подошел и стал книги по одной брать и трясти. Вот из «Анжелики» баксы и посыпались...

– Так может, она сама забыла? – нерешительно предположил Виктор.

– Кто, Аня? Забыла про деньги?

– Ну да... – криво усмехнулся Виктор, – это не про нее. Так ты потому и ушел?

– Да дело даже не в этом. Понимаешь... – Димка задумался, подбирая слова. – Вот у вас с Наташкой: даже когда ругаетесь, все равно вы вместе. Это видно. Это чувствуется. А у нас... вроде и все нормально, а каждый сам по себе.

– Ну, знаешь, у нас с Наташкой тоже не все так просто. Но, хотя...

Виктор вздохнул и, подыгрывая себе на гитаре, запел слегка надтреснутым тенорком:

На двоих – один паспорт для развода ментов,
Плеер марки «Романтик» и кассета битлов,
На двоих – один свитер для холодных ночей,
Пара банок консервов, полкило сухарей...

Вопросительно глянул на друга, тот угрюмо кивнул.

Засиделись допоздна. Витек предложил остаться – сейчас, мол, Натаха уже придет, картошечки нажарим. Но Димка отказался:

– Не, Вить, пойду я. И мать волноваться будет, да и вообще.

– Ты у родителей теперь?

– А куда мне еще? С деньгами наладится, может, снимать буду, а пока...

Ладно, давай.

– Ну, ты заходи, не пропадай.

Автобус оказался полупустым. Ну, как полупустым? Все сидячие места были заняты, кроме тех, что развернуты сиденьями к салону. Сюда не всякий сядет, если есть еще куда приземлиться. Неохота торчать, как на сцене. Но ехать далеко, не трястись же стоя.

На улице стал накрапывать дождь. По оконному стеклу, оставляя за собой мокрый след, поползли редкие капли, преломляя и искажая сверкающую разноцветными огнями картинку ночного города.

У водителя негромко работало радио. Диджей ловко жонглировали словами, и сами же весело хохотали над своими каламбурами. А потом зазвучала мелодия, можно сказать, знакомая с детства, и голос примадонны проник прямо в душу.

Ты так захочешь теплоты,
Не полюбившейся когда-то...

У Димки защипало глаза. Черт, этого еще не хватало. Он заерзал на сиденье, сморгнул и, поправляя волосы, глянул из-под руки на людей. В полумраке салона увидел отрешенные лица. Никто не обращал на него внимания. Каждый в этот момент думал о своем.

Автобус, слегка потряхивая на дорожных выбоинах, неспешно шел туда, где Димку всегда ждали и любили таким, какой он есть. Но вопреки всему – и здравому смыслу, в том числе – ему, до щемящей боли где-то под ложечкой, хотелось туда, где его уже, наверняка, не ждали, да и вряд ли когда любили по-настоящему.

СЛУЧИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ

Историю эту можно начать с того, что Ольга Николаевна ушла на пенсию. Ушла, невзирая на уговоры родного коллектива и лично директора школы. Она и так отработала пять лет сверх положенного, выпустила свой последний класс и решила: все, хватит.

– Ольга Николаевна, голубушка, вы же привыкли все время с детьми, среди людей, вы же заскучаете дома, – говорили ей.

– Еще чего. Я клубнику выращивать буду, как все нормальные пенсионерки, детективы стану читать, сплетничать на лавочке возле подъезда, к дочери в гости съезжу наконец-то. Не хочу больше жить по школьному расписанию!

Вот с такой программой «минимум» она и вышла на заслуженный отдых и стала по пунктам воплощать ее в жизнь, героически преодолевая постоянно возникающие трудности.

Первой в этом списке, если помните, шла клубника. Купить дачу Ольге Николаевне оказалось не по средствам, а взять участок и освоить его с нуля – не по силам. Решить эту проблему удалось, устроив мини огород на лоджии. Получилось красиво, уютно и не так уж хлопотно.

С детективами, давней страстью Ольги Николаевны, все устроилось еще проще. Сначала она по старинке сунулась за книжками в магазин, парочку даже купила, очень быстро их прочитала и поняла, что если так пойдет дальше, она всю свою пенсию там и будет оставлять. «А Интернет-то для чего?» – упрекнула сама себя новоявленная пенсионерка, и еще один пункт программы был успешно воплощен в жизнь.

Труднее всего оказалось научиться «сплетничать». Вот уж, кто бы подумал! «Бабки», как пренебрежительно называла молодежь сидящих возле подъезда старушек, с наступлением стабильно теплой погоды собирались ежедневно в перерывах между сериалами. Ольга Николаевна подстроила свой распорядок дня таким образом, чтобы тоже принимать участие в этих посиделках.

Внутренне подготовив себя к тому, что придется выслушивать нудные суждения на цены, непутевое подрастающее поколение и плохое здоровье, она была приятно удивлена. Нет, конечно, и подрастающему поколению доставалось в разговорах соседок, что называется, по первое число, и постоянно растущие цены обсуждались, и разные новинки в народной медицине тоже не оставались без внимания. Но кроме того, разговор шел о сериалах, фильмах, актерах, о книгах, о разных кулинарных рецептах, изысках и причудах в домоводстве, и даже о политике. Тут же, между делом, отмечалось, кто куда с кем пошел, и выдвигались предположения, что из этого получится.

Первое время Ольга Николаевна готовилась к этим встречам как к урокам, а потом освоилась, перезнакомилась со всеми жильцами, населяющими их большой девятиэтажный дом, и уже сама смело вступала в общий разговор. А уж ее истории из школьной жизни пользовались особой популярностью, у всех ведь были внуки, а то и правнуки. С кем же еще и посоветоваться, как не с ней, отдавшей школе почти тридцать лет жизни.

Осталось одно невыполненное заветное желание – поездка в гости к дочери. Та жила со своей семьей в другом городе. Они-то к ней наведывались, хоть и не часто, у нее же времени все не находилось.

Долго собиралась Ольга Николаевна, наконец собралась. Вещи и гостинцы упаковала, билеты купила – можно ехать. Только вот, как с огородом-то быть?

Вышла еще раз на лоджию, все осмотрела. Два помидорных куста в цвету и уже завязь кое-где, на огурчиках – тоже, перцы, баклажаны... Жалко, если засохнут, а ведь засохнут. По всему выходило, что придется просить кого-нибудь из соседей погородничать вместо нее.

Как не любила Ольга Николаевна обременять посторонних людей своими проблемами, но тут уж никуда не денешься – крайний случай. К кому же обратиться? Воробьевых, пожалуй, не стоит просить. Татьяна, конечно, женщина хорошая, но муж у нее алкоголик и ребята слишком хулиганистые. Жуляевы? Они, кажется, и здороваются-то через раз. Ольга Николаевна представила себе, как вытянулась бы у Жуляевой лицо, осмелась она обратиться к ней с подобной просьбой. Говорят, они с мужем бизнесом занимаются, потому и гонору много. Ну их!

Значит, придется обратиться к Александру Григорьевичу – других соседей на их лестничной площадке не было. Нет, ну можно, конечно, попросить кого-нибудь из новых подружек, но у них своих забот хватает, как она успела узнать.

«Неудобно как-то получается. Но ведь, правда, больше некого попросить. А если начнут судачить за спиной, прихватив его у ее двери? Поймут ведь все по-своему... Фу, ерунда какая», – Ольга Николаевна даже рассердилась на себя и за свои сомнения, и за то, что щеки порозовели. Раньше бы ей такие мысли и в голову не пришли. Они по-соседски дружили с Александром Григорьевичем уже лет десять, наверное, а то и больше. Когда словом перекинутся, когда какую мелкую услугу окажут друг другу. Ольга Николаевна, например, кормила соседского кота, когда его хозяин уезжал на рыбалку или еще куда. А он помогал переезжать ее дочери с зятем. Да мало ли, чем можно выручить друг друга. И только, войдя в клуб новых подружек, она узнала, что людская молва давно уже связала их более тесными отношениями, несмотря на то, что она с негодованием опровергла эти слухи. С тех пор Ольга Николаевна старалась ограничиться в общении со своим соседом одним только «здравствуйте». Сосед, конечно, перемену в отношениях заметил, но принял новые условия без вопросов.

«И ничего тут нет такого. Навыдумывали от нечего делать», – убеждала себя Ольга Николаевна, звоня в соседскую дверь.

Александр Григорьевич, увидев, кто к нему пришел, сначала немного удивился, а потом заметно встревожился – не случилось ли чего – и пригласил войти.

– Да я на минутку. У меня к вам просьба. Я собралась на недельку-другую к дочери съездить, вы бы не могли во время моего отсутствия последить за огородом?

– Огородом?

– Да. Я, знаете ли, на лоджии у себя такую оранжерею развела. Жалко будет, если все засохнет.

– Конечно, конечно, – согласно закивал Александр Григорьевич. – Какой разговор.

– Тогда, давайте, лучше ко мне зайдем, я вам заодно все покажу и расскажу.

Они прошли к Ольге Николаевне, и она могла в полной мере насладиться тем впечатлением, которое ее маленький импровизированный сад произвел на соседа: тот был восхищен.

Сразу под окном стояло небольшое плетеное кресло, а вокруг, вдоль стен, ярусами громоздились горшочки, ящички, и в каждом что-то росло, цвело и плодоносило. На полу в ведрах красовались два гигантских помидорных

куста – гордость Ольги Николаевны. По бельевым веревкам вместо простыней и носков змеились огуречные плети и свешивались маленькие, с мизинец всего, огурчики.

– Вот это да! – только и смог выдохнуть пораженный сосед.

– Надо поливать, – Ольга Николаевна показала на лейку в углу. – Лучше утром. А если день будет солнечным и жарким, то и вечером. Только вода должна быть комнатной температуры.

– Не беспокойтесь, Ольга Николаевна, я не дам такой красоте погибнуть, – заверил сосед и добавил с улыбкой, – угостите потом огурчиком?

Ольга Николаевна улыбнулась:

– Самый первый будет ваш.

– Согласен даже на один из первого десятка.

Посмеялись. Ольга Николаевна отдала Александру Григорьевичу запасные ключи от квартиры и на следующий день уехала.

Две недели пролетели незаметно. Дочь была рада, что мама сразу по приезду взяла на себя часть ее домашних забот, зять не мог нахвалиться тещинными обедами, а внуки таскали ее на экскурсии по городу. Все было замечательно, но пора и честь знать: Ольга Николаевна засобиралась домой. Ее дружно уговаривали погостить еще хотя бы недельку, но она не соглашалась, отшучиваясь:

– Надо уезжать, а то освоюсь, приживусь и начну ворчать, поучать, с советами лезть. Хорошего помаленьку.

С тем и отбыла, обещая внукам, как только приедет, сразу выйти в скайп. А когда приехала домой, поняла, как соскучилась: будто не две недели, а минимум два месяца отсутствовала. Как только разобралась с вещами, сразу прошла на лоджию, не терпелось посмотреть, насколько подрос ее огород. Вышла и... остолбенела.

Лоджия была совершенно пустой. Ни цветов, ни овощей, ни одного кустика, ни одного горшочка, даже лейка и плетеное кресло исчезли, как будто их и не было никогда. Только высохший уже огуречный листок, запутавшийся черенком в ворсинках бельевой веревки, да дырочки на стенах от гвоздей и шурупов напоминали о том, что здесь когда-то было.

Хозяйка какое-то время постояла в недоумении на опустевшей лоджии, а потом вернулась в комнату.

– Как же так? – бормотала Ольга Николаевна в полной растерянности. – Ничего не понимаю.

Вообще-то, она была готова к тому, что без нее кое-что может погибнуть, но не все же сразу! И куда девались горшки, лейка... Кресло, наконец? Все это было настолько странным, что Ольга Николаевна даже не расстроилась, ее сейчас интересовало только одно: что же здесь произошло? Ответить на этот вопрос мог только один человек – Александр Григорьевич, ее сосед, на чье попечение она оставила и огород, и запасные ключи от квартиры. К нему она и отправилась за разъяснениями.

Звонок за соседской дверью весело разнесся по квартире, но никто не вышел к Ольге Николаевне. Не услышала она ни шагов хозяина, ни голодных воплей кота. Значит, Александр Григорьевич ушел недавно – Кузьма еще не успел проголодаться. «Конечно же, скоро вернется, иначе непременно оставил бы записку, – подумалось ей. – А может, и оставил, а я не заметила?» – Ольга Николаевна вернулась к себе.

Но ни на кухонном столе, ни на столе в комнате, ни на зеркале в коридоре записки не было. Может быть, на холодильнике под магнетиками? Она сно-

ва зашла на кухню. Нет. Там, прижатые пластмассовым слоником, висели только две последние квитанции об оплате коммунальных услуг.

Ольга Николаевна машинально включила чайник и в задумчивости присела у стола. «Интересно. Что же здесь случилось?» Она буквально терялась в догадках, но ни одной более-менее стоящей мысли в голову не приходило. Самой правдоподобной выглядела такая версия: сосед, чтобы не бегать к ней двадцать раз на день, перенес все растения к себе. Но тогда спрашивается, зачем он забрал и кресло? Его-то поливать не надо. А может быть, ему пришлось срочно куда-нибудь уехать? Ключи от квартиры Ольги Николаевны он, конечно, никому дать не мог, а от своей мог, вот и перенес все к себе. А кресло? Кресло в эту стройную цепочку рассуждений опять никак не вписывалось. И потом, если бы это было так на самом деле, он бы позвонил ей на сотовый и предупредил.

«А что я, собственно, голову ломаю? Надо позвонить самой и спросить, – рассуждала Ольга Николаевна, наливая чай, – или все-таки подождать, пока он придет домой?»

Размышляя так, Ольга Николаевна похрустывала печеньем, запивая его горячим чаем. В конце концов решила все-таки позвонить, не дожидаясь возвращения соседа. Она сполоснула чашку, скомкала пустую упаковку от печенья, открыв мойку, бросила в мусорное ведро и уже хотела было уйти, но остановилась. Снова открыла мойку и с удивлением уставилась на дно ведра:

– А это еще что такое? – Ольга Николаевна аккуратно двумя пальцами достала пустую бутылку из-под коньяка. – Ничего себе!

Уже ни секунды не колеблясь, она решительно набрала номер соседа, на что ей тут же и ответили, что телефон его выключен или находится вне зоны действия и предложили позвонить еще разок. Ольга Николаевна машинально проговорила «спасибо», и отключила телефон.

– Так. И что теперь? А теперь только ждать и остается, – взгляд Ольги Николаевны случайно упал на компьютер, – ой, меня ж мои уже потеряли!

Разговор с внуками, ситуацию, конечно, не прояснил, но настроение заметно улучшилось. Когда она рассказала им о том, что обнаружила дома, внуки, весело хохоча, наперебой стали допытываться, что же за зелень такую выращивала она у себя на лоджии, что сосед, собрав и двинув урожай, смылся, по всей вероятности, с нехилым состоянием. А коньячком, наверняка, сделку обмывали!

– Баб, – кричал младший, заходясь смехом, – а ты проверила, трупов в ванной нет? А то знаешь, как оно, на таких сходняках, бывает? Нервы ж не железные, половица скрипнула – шлеп, шлеп и гора мертвяков! Ха-ха-ха!

– В ванной еще не смотрела, – подыгрывала она мальчишкам, – а если есть, чего делать?

– Набери в гугле, как избавиться от трупа! Но в любом случае, возни, я тебе скажу-у! Да-а, баб, влипла ты конкретно!

Вдоволь насмеявшись, Ольга Николаевна передала приветы родителям и, пообещав держать внуков в курсе расследования, а если что, то отстреливаться из рогатки до последнего, попрощалась.

– Так, ладно, – Ольга Николаевна, все еще улыбаясь, огляделась вокруг, – нечего сидеть и ломать попусту голову. Рано или поздно все выяснится, и, как говорится, все тайное станет явным. А пока надо хотя бы пыль смахнуть и пол вымыть.

Она подошла к ванной комнате, щелкнула выключателем и ощутила пробежавший по спине холодок. Даже замаялась на секунду перед дверью, потом спохватилась:

– Тыфу ты, я ж уже заходила туда! – засмеялась Ольга Николаевна, представив шкодливые мордашки своих внуков. – То-то бы сейчас было веселье. Как же, напугали бабушку!

Она открыла дверь и, как и следовало ожидать, ничего страшного и даже просто подозрительного не увидела, кроме большой клетчатой сумки, стоявшей возле ванны. Как же она ее раньше не заметила? И откуда она вообще взялась? У Ольги Николаевны сроду такой не было.

Замок сверху на сумке остался расстегнутым, и по виду она была совершенно пустая. Ольга Николаевна, проверяя, осторожно заглянула внутрь. Да, пусто. После этого уже безбоязненно взяла ее в руки и стала рассматривать более внимательно. «Хм, пусто-то пусто, да не совсем, – на дне перекатывались мелкие крупинки засохшей земли, – так вот, значит, как исчез мой огород».

Ольга Николаевна машинально покрутила сумку в руках и на одном боку заметила не до конца сорванную наклейку. На наклейке, а вернее на том, что от нее осталось, явно просматривались какие-то буквы. Она прошла в комнату, надела очки и попыталась прочесть. Первая буква отсутствовала, вторая (или третья?) была похожа на «у», потом опять пропуск и две буквы «ев». Интересно.

Понятно было, что это ярлык какой-то авиакомпании с фамилией хозяйки на сумки. Вот только фамилия Александра Григорьевича заканчивалась на «-ов», а здесь четко было написано «-ев». Значит, это не его сумка. А если предположить, что в ней выносили растения из квартиры, то выходит, ее сосед не имеет к этому никакого отношения.

Ольга Николаевна окончательно запуталась. Ну, кому, кому понадобились эти горшки и, главное, зачем?! Она представила, как какие-то люди в камуфляже и в масках суетятся у нее на лоджии, рассовывая кусты по сумкам. Тут появляется, ничего не подозревающий Александр Григорьевич с леечкой и, конечно же, самоотверженно кидается на защиту ее огорода. И весь такой – одному тресь, другому тресь! Но злодеев оказалось слишком много, они навалились на него все вместе, стукнули чем-то по голове и утащили с собой, прихватив и сумки с горшками. Потом, уже от двери один вернулся, схватил кресло с лейкой и бегом, догонять своих поделльников.

Картинка получилась настолько живой и при этом такой нелепой, что Ольга Николаевна рассмеялась:

– Спросили б по-хорошему, я и так им все отдала бы. По большому счету, он мне и не нужен огород этот, так, для интереса развела... С соседом бы только ничего не случилось!

Ольга Николаевна аккуратно свернула сумку и вместе с пустой бутылкой из-под коньяка отнесла в коридор на тумбочку. Подумала немного, сходила на лоджию, сняла с бельевой веревки сухой огуречный лист и добавила его к своей коллекции вешдоков, даже не подозревая, что совсем скоро она пополнится еще одним загадочным экспонатом.

«И откуда только берется эта пылища?» – думала Ольга Николаевна, орудуя мокрой тряпкой. Думала специально громко, едва ли не проговаривая вслух, чтобы отогнать другие, уже изрядно надоевшие мысли. «Две недели ведь никто не пылил, и окна закрыты были. Все равно, как-то просачивается! Ничего не понимаю, – ворчала она про себя, споласкивая в ведре и отжимая половую тряпку, – и, наверное, уже никогда не пойму!»

Швабра в ее руках проворно скользила по полу, огибая мебельные ножки, занывривала то под стол, то под кресло, заглядывала в углы, а потом юркну-

ла под диван, чем-то там шкрябнула и выкатила маленькую игрушечную машинку.

– О, как! – Ольга Николаевна подхватила игрушку и с недоумением на нее уставилась.

Надоевшие мысли, находившиеся до этого под жестким контролем, ментально вырвались на свободу и резво кинулись строить новые догадки. Так вот в чем дело! Конечно! Как же она сразу не догадалась? Ну, кто же еще кроме ребятишек мог такое сотворить? Сейчас каникулы, делать нечего, вот и решили, насмотревшись страшилок по телевизору, себя на практике проверить. Точно. Вынесли и спрятали где-нибудь поблизости, а теперь ждут, что будет дальше.

Ольга Николаевна уже собиралась с облегчением вздохнуть, списав таинственное происшествие на детскую шалость, но всего один новый вопрос снова поставил ее в тупик: «А как же они в квартиру-то попали?» Ну вот, действительно, как? И этот с виду совершенно невинный вопрос прямо как глыба встал на пути простого решения головоломной задачки. Ольга Николаевна попыталась было обойти его: «А может быть, Александр Григорьевич забыл ее закрыть, когда приходил поливать?» Но нет, не тут-то было! Дело в том, что Александр Григорьевич никогда ничего не забывает. Сам, то ли бывший военный, то ли работавший с военными, он не терпел никакого беспорядка. Казалось, что у него даже вещи вымуштрованы как солдаты и беспрекословно подчиняются своему хозяину, а Кузьма свою своенравную кошачью натуру осмеливался показывать только тогда, когда за ним присматривала Ольга Николаевна.

С улыбкой вспомнилось, как однажды, опаздывая в школу, она так तो-ропилась, что закрыла дверь квартиры и ушла, оставив ключи в замочной скважине. Заметил их Александр Григорьевич, когда тоже уходил на работу и долго потом недоумевал, как такое вообще возможно?

И тут ее осенило: «Подожди-ка, а ведь какое-то время ключи тогда проболтались в замке, пока их не вытащил оттуда сосед. Значит, кто-то вполне мог их взять и сделать копию или просто слепок. И ведь Александр Григорьевич еще тогда предлагал поменять замки, а я отмахнулась».

Ольга Николаевна, от такого неожиданного открытия, как стояла, так и плюхнулась в кресло, держа в одной руке швабру, а в другой – игрушечную машинку. «Вот оно ка-а-ак... а игрушку подбросили, чтобы я на детей подумала».

Хотя, что-то тут все равно не вязалось. Так тщательно готовиться к проникновению в квартиру только затем, чтобы забрать огуречно-помидорные кусты? Бред какой-то! Вот если бы вынесли компьютер, телевизор, микроволновку, наконец, тогда – другое дело, а так, все-таки это больше походило на простое хулиганство, на какой-то глупый розыгрыш. Вот только совсем не детский, учитывая бутылку коньяка, после распития которой малолеток пришлось бы самих выносить из квартиры. Да и история эта с ключами произошла давным-давно. Нынешние хулиганы никак не могли воспользоваться той давней минутной рассеянностью.

– Нет, ерунда все это, – вздохнула Ольга Николаевна и вышла в коридор, чтобы добавить к своим находкам только что обнаруженную новую улику.

Странные вещи собрались у нее на тумбочке. Получалось, что кто-то пришел к ней в квартиру большой компанией и с детьми. Пришли так, посидели по-семейному, выпили, закусили, потом забрали то, что понравилось, и ушли.

Ольга Николаевна вернулась к уборке и не спеша закончила ее, стараясь не пропустить ни одного угла, ни одного закутка уже не столько для на-

ведения чистоты, сколько для обнаружения новых артефактов, но больше ничего странного в квартире найдено не было.

Время незаметно подбиралось к четырем часам. Через несколько минут по телевизору должен был начаться сериал, в котором главная героиня, потеряв память еще в самой первой серии, упорно пыталась найти ее в течение всех последующих. Сразу после ее очередной попытки все члены клуба престарелых пересмешниц соберутся на лавочке у подъезда. Ольге Николаевне хотелось непременно с ними встретиться. Вдруг, да она сможет что-нибудь узнать от них. Специально, конечно, спрашивать ничего не будет, потому что тогда придется всем рассказать, что она оставляла ключи от квартиры Александру Григорьевичу, а это сразу свернет разговор на обсуждение его персоны, и закончится все, скорее всего, шуточками в их с соседом адрес. Нет уж. Такого удовольствия Ольга Николаевна им не доставит. Если только они хоть что-нибудь знают, она и так сумеет их разговорить.

Но до того, как все соберутся у подъезда, оставался еще целый час. Ольга Николаевна включила телевизор и уже по первым кадрам поняла, что за те две недели, которые она провела в гостях, героиня в своих поисках нисколько не продвинулась. Несчастливая женщина по-прежнему страдала в окружении чужих людей и незнакомых вещей. И хотя люди вокруг были вроде бы хорошими, а вещи дорогими, героиню это совершенно не устраивало, и она все порывалась уйти туда – не знаю куда, чтобы отыскать то – не знаю что.

Но сегодня Ольга Николаевна не могла как прежде полноценно сочувствовать ей, а уж тем более сопереживать. Она то прислушивалась к звукам, доносившимся с лестничной площадки, боясь пропустить возвращение соседа, то мысленно отвлекалась на свои собственные неурядицы. И когда героиня, в отчаянии заламывая руки, крикнула с экрана: «Что же мне делать?!» – Ольга Николаевна со словами: «Не знаю, дорогая, думай сама, а у меня тут и без твоих проблем голова раскалывается!» – решительно выключила телевизор.

– Вот так-то лучше будет. А я пока.., а я пока в магазин схожу.

Уезжая, она оставила холодильник почти пустым, а незваные гости все принесенное с собой сами же выпили и съели, ничего не оставив хозяйке, еще и подсобное хозяйство ее умыкнули, так что хочешь не хочешь, а в магазин, все равно, идти надо. Быстренько собравшись, Ольга Николаевна отправилась за покупками, рассчитывая вернуться как раз к концу серии – ближайший продуктовый находился в соседнем доме. Так и получилось.

– О, Николавна! Приехала уже? Давай рассказывай, как съездила? Как там дочка поживает? Как ребятишки? С зятем-то не успели поругаться? – встретили ее вопросами соседки.

Ольга Николаевна, смеясь и отшучиваясь, вкратце поделилась своими восторгами по поводу поездки, а потом вполне естественно заинтересовалась, что тут новенького случилось, пока ее не было.

Ей наперебой стали рассказывать новости.

Вскоре Ольга Николаевна ушла домой. Она была напичкана ненужной ей информацией и при этом совершенно ничего не узнала о том, что ее, действительно, интересовало.

– Тьфу ты, опять не повезло! – проговорила она, разбирая на кухне покупки.

И вот уже и ужин приготовлен, и поставлен в духовку фруктовый рулет, сделанный по-новому, привезенному от дочери рецепту, перемыта посуда, и на улице уже стемнело, а сосед так еще и не вернулся домой, и телефон его по-прежнему был выключен. И если днем вся эта история вызывала у нее

только недоумение и желание разобраться, найти разумное объяснение и все расставить по своим местам, то теперь, с наступлением вечера, в сердце стала закрадываться тревога. Все, что днем казалось просто нелепым и забавным, теперь представлялось ей, если и не зловещим, то пугающим, это точно.

Судьба цветов и овощей, пропавших с балкона, меньше всего ее волновала, даже если бы выяснилось, что все они враз погибли по какой-то нелепой случайности. Конечно, она бы огорчилась, узнав об этом, но не более того. Подумаешь, трагедия! Настораживало то, что они исчезли, причем бесследно. А если учесть, что обнаруженные ею в квартире вещи никак не могли принадлежать Александру Григорьевичу, то, значит, тут не обошлось без посторонних. Уже одно то, что кто-то чужой проник в ее квартиру, ходил здесь, куда-то заглядывал, что-то трогал руками – само по себе было неприятно, а тут еще и сосед не появляется.

Ольга Николаевна поправила очки на носу, вздохнула и снова уставилась в книгу, которую все это время честно пыталась читать. Но уже в следующую секунду и очки, и книжка были отброшены в сторону, а сама она, причитая и теряя шлепанцы, ринулась на кухню:

– Ах, ты ж! Проворонила! Да чтоб вам провалиться вместе с теми горшками, – ругала она, на чем свет стоит, неизвестных похитителей своего огорода, – такую вкуснятину из-за вас загубила!

Однако, заглянув в духовку, Ольга Николаевна поняла, что погорячилась. Сам рулет был в порядке, это вытекший из него сироп начал слегка пригорать.

– Ну, ладно уж, можете не проваливаться, – сменила она гнев на милость, укладывая готовую сдобу на продолговатое блюдо и посыпая сахарной пудрой, – только все равно я до вас доберусь, так и знайте.

А в подъезде в это время опять заработал лифт. Весь вечер она прислушивалась к его приглушенному гулу, но лифт каждый раз проносился мимо. Где-то там, на других площадках, из него выходили люди, гремя замками и хлопая дверями, расходились по своим квартирам, потом снова выходили, чтобы выбросить мусор или позвать с улицы заигравшегося ребенка, помочь занести велосипед или коляску. Разговоры, смех, топот, детский плач и легкие перебранки весь вечер разносились по лестницам, и только у них на этаже было тихо – Татьяна своих мальчишек еще по свету загнала домой, а Жуляевы всегда возвращались поздно.

Но, кажется, на этот раз кто-то приехал именно к ним на этаж. Ольга Николаевна на цыпочках подошла к двери, прильнула к глазку и увидела, как из лифта вышли Жуляевы. «О, легки на помине!» Супруги, не сговариваясь, посмотрели на ее дверь. У Ольги Николаевны сразу возникло неловкое ощущение, будто ее увидели, голова сама собой втянулась в плечи. Она вся съежилась и уже готова была пристыженно ретироваться, но в этот момент соседи, переглянувшись между собой, направились к своей квартире.

Ольга Николаевна тихонько выдохнула и, прижав руку к груди, попыталась унять сердце. Да, сыщик из нее никакой. Однако, благодаря этой заминке, она не сразу ушла со своего наблюдательного поста и, как оказалось, не зря. Действие на площадке продолжалось. Пока кто-то из супругов открывал дверь своей квартиры, другой позвонил Воробьевым. Ольга Николаевна ничего не могла увидеть в глазок так, как все это происходило на другом конце лестничной клетки, и ей оставалось только прижаться к двери и слушать, что она и сделала.

На звонок вышла Татьяна, а вместе с ней из ее квартиры вырвались звуки работающего на полную мощность телевизора и дикие вопли воробьевских мальчишек, игравших, по всей видимости, то ли в индейцев, то ли просто в

войнушку. Ольга Николаевна досадливо поморщилась – вряд ли она сможет хоть что-нибудь разобрать в таком тарараме. Но Татьяна вышла в подъезд и прикрыла за собой дверь, чем сразу отсекала посторонние шумы. Ольга Николаевна затаила дыхание.

– Приехала? – спросила Жуляева.

– Ага, сегодня утром, – ответила Татьяна.

– Спрашивала?

– Нет.

– Мерзавца этого удалось поймать?

– Нет, как сквозь землю провалился! Что теперь делать, ума не приложу. Женщины прошли к Жуляевым и закрыли за собой дверь.

– Так, так, так... – мысли у Ольги Николаевны скакали как сумасшедшие. – Приехала, это кто? Я, что ли? А мерзавец кто?

Ольга Николаевна заметалась. Как же быть-то? Дальше ведь самое интересное. Выскочить на площадку и подслушать под дверь? Нет. Если вдруг выйдут, куда она денется? А если разговор совсем не про нее, то и вовсе неудобно получится. Вспомнив еще в молодости прочитанную книжку про революционеров, томящихся в царских застенках, она кинулась на кухню, схватила стеклянную кружечку из-под чая, не глядя, выплеснула остатки в сторону раковины и вернулась в коридор. Там она приставила кружку к общей с Жуляевыми стене и прикинула к доньшк ухом.

Опоздала! Соседи успели пройти в глубь квартиры. Ольга Николаевна слышала только невнятный гул голосов, а слов уже было не разобрать. «А может, из кухни попробовать?» Она снова метнулась на кухню, но, поскользнувшись на выплеснутом мимо раковины чае, упала, больно стукнувшись о стоявший на дороге табурет.

Пока она, кряхтя и постанывая, собирала себя со скользкого линолеума, на площадке раздался голос Татьяны:

– Да-да, я все поняла, до завтра! – шелкнули замки, и в подъезде наступила тишина.

– А я вот ничего не поняла, – проговорила Ольга Николаевна, одной рукой потирая ушибленное колено, а другой поднимая табурет.

Она присела и, продолжая поглаживать пульсирующую коленку, попыталась проанализировать с таким трудом полученные крохи новой информации.

Если предположить, что разговор на площадке шел про нее, то получалось, что ее милые соседи были замешаны в этой странной истории. «Подождите-ка... – Ольга Николаевна прошла к тумбочке с вещдоками, взяла в руки сумку с остатками сорванного ярлыка, – «...у...ев» – так это же Жуляев! А машинка вполне могла принадлежать мальчишкам Воробьевых. Та-а-ак. Интересно. Оставалось выяснить, кто «мерзавец»? Александр Григорьевич, что ли? Вот ничего себе! И главное, что он сбежал от них, и они его не могут поймать! Да что же здесь такое произошло?!»

«А может быть, пойти сейчас к ним и спросить обо всем? – рассуждала она сама с собой. – Ага, а они тебе ответят, что «...у...ев» – это совсем не Жуляев, а какой-нибудь Гуляев, а машинка у тебя под диваном еще с прошлого приезда твоих внуков завалилась. Нет, раз сами не пришли с объяснениями, значит, есть что скрывать. Да и поздно уже».

Ольга Николаевна глянула на часы:

– Ой, мамочки, время-то первый час. Надо ложиться спать. Теперь уже завтра все, – и стала раскладывать диван. – А если он и завтра не вернется, пойду в полицию, – пообещала она себе.

«Да? И что ты им скажешь? Кто там будет слушать про твои цветочки и горшочки у тебя в садочке?» – невинно поинтересовался внутренний голос.

– Найду что сказать! И все, все... – сонно бормотала она, взбивая кулаком подушку.

Проснулась Ольга Николаевна рано утром с жуткой головной болью от настойчивого звонка в дверь, вздохнула и, накинув халат, пошла открывать. Увидев за дверью чету Жуляевых, Ольга Николаевна растерялась. После взаимных приветствий они заявили, что пришли поговорить с Ольгой Николаевной по поручению Александра Григорьевича. Естественно, она пригласила их войти, а после нескольких первых фраз позвала на кухню, и там уже под чай с фруктовым рулетом Жуляевы продолжили свой рассказ, а спустя некоторое время, к ним присоединилась и Татьяна Воробьева.

А дело, оказывается, было так. Александр Григорьевич, точно следуя указаниям Ольги Николаевны, как и обещал, ежедневно приходил к ней поливать огород. В тот злополучный день жара на улице стояла невероятная. Солнце палило с самого утра, и на лоджии было очень душно. Александр Григорьевич открыл окно, впуская свежий воздух, полил растения и решил окно до вечера не закрывать.

В конце дня, когда он снова отправился к соседке, за ним неожиданно увязался Кузьма. Всегда послушный и спокойный кот, вдруг, ни с того ни с сего, выскочил на площадку, кинулся к двери Ольги Николаевны и стал громко мяукая, тереться об нее и царапать когтями, требуя, чтобы его впустили. Александр Григорьевич попытался загнать его обратно, объясняя, что соседки все равно нет дома, но кот, наверное, впервые за всю их совместную жизнь уперся.

В это время этажом выше хлопнула дверь, и кто-то стал спускаться по лестнице, как потом оказалось, это старушка Семенова вышла от своей подруги и отправилась во двор посидеть на лавочке. Александр Григорьевич, не желая, чтобы его препирательства с Кузьмой увидели посторонние, открыл дверь в квартиру Ольги Николаевны, пропуская кота внутрь, мол, раз уж так соскучился, иди, убедись сам, что там никого нет. Кот, еще не веря своему счастью, на секунду замешкался у порога, и тут у Семеновой выпадает из рук ее тросточка и с грохотом катится по ступенькам вниз. Вдобавок ко всему, и сама Семенова начинает, что есть мочи, причитать: «Ой, костыль-то мой, костыль!» Кузьма с перепугу перелетел через порог и в считанные секунды скрылся в глубине квартиры.

Александр Григорьевич, естественно, кинулся помогать Семеновой и как раз, когда он вручал ей пойманную им трость, снова раздается страшный грохот, но теперь уже из квартиры Ольги Николаевны. Александр Григорьевич бросается туда – ни в комнате, ни на кухне кота нет. Он выскакивает на лоджию, и взору его предстает такая картина: Кузьма сидит на пристенной полочке, а на полу валяется разбитый горшок с цветком, который кот, по всей видимости, с этой полочки и столкнул. Сам Кузьма, готовясь к прыжку, горящим немигающим взглядом уставился в раскрытое окно, куда, как успел краем глаза заметить Александр Григорьевич, только что вылетела то ли птичка, то ли большая бабочка.

Дальше все происходит в считанные мгновения. Кузьма прыгает за упорхнувшей добычей, Александр Григорьевич с криком кидается ему наперерез, кот в прыжке изворачивается и цепляется за один из горшков, полочка под двойным весом кота и горшка не выдерживает и падает, увлекая за собой

верхние, которые на нее опирались, и сбивая нижние. Ошалевший Кузьма выскакивает из-под завала и пытается проскочить в комнату, но, наткнувшись на разгневанного хозяина, кидается в противоположную сторону лоджии и, спасаясь от заслуженного наказания, старается забраться как можно выше, обрушивая, таким образом, остатки огорода. И пока Александр Григорьевич в панике пытался хоть что-то подхватить и спасти, очумевший от грохота кот прорвался-таки в комнату и бросился к выходу, благо хозяин второпях не закрыл входную дверь, но выбежать не успел, поскольку был перехвачен подоспевшей пенсионеркой Семеновой.

Увидев, как среди разора на лоджии, хватаясь за сердце, оседает бледный Александр Григорьевич, старушка побежала за помощью к соседям. На счастье, и Воробьевы, и Жуляевы были дома. Они и сами уже, услышав грохот сначала в подъезде, а затем в квартире соседки, собирались выйти посмотреть, что случилось, а испуганные вопли Семеновой вслед за тем только усилили их беспокойство.

Когда, не на шутку встревоженные, они зашли в квартиру Ольги Николаевны и увидели разгром на лоджии, последовала немая сцена, и только Татьяна, схватившись за голову, прошептала: «Ой, что же теперь делать-то?» В глазах остальных явно читалось понимание того, что тут уже ничего не сделаешь. Семенова, все еще державшая на руках виновника погрома, тоненько запричитала: «Николавна-то как расстроится! Уж так она мечтала о своей даче. Так радовалась, когда огородик этот развела. Уж так за ним ухаживала!..» От ее причитаний Александру Григорьевичу стало еще хуже. Увидев это, Жуляев забрал у старушки кота, и мягко, но непреклонно, со словами благодарности выпроводил ее из квартиры:

– Спасибо, что позвали нас. Хорошо, что вы оказались рядом. Спасибо. Дальше мы сами... – и закрыл за ней дверь.

Когда он вернулся в комнату, женщины уже взялись за дело. Они усадили Александра Григорьевича в кресло, чтобы не мешался, мужей послали за тазами и ведрами, а сами стали осторожно разбирать завал из битых горшочков, сломанных ящичков и рассыпавшейся земли, аккуратно извлекая уцелевшие растения. Воробьевским мальчишкам работа тоже нашлась, они выносили мусор. Когда относительный порядок был наведен, все сели передохнуть, а заодно и посоветоваться о том, как быть дальше.

Александр Григорьевич удрученно вздохнул:

– Завтра с утра пойду в хозяйственный, куплю новые горшки. Пересажу то, что вам удалось спасти. Полочки новые сделаю. Вот только не знаю, звонить ей или уж потом, когда приедет, все объяснить?

– Полочки будешь делать, Григорич, зови меня, я все-таки плотник, – с готовностью предложил свою помощь Воробьев, – соорудим в лучшем виде, не то, что кот, сама хозяйка залезет – не свалится.

– Ах, черт, как нехорошо получилось...

– Ну, вы же не нарочно!

– Да не переживай ты так, Григорич. Сделаем, будет лучше, чем было. Я тебе говорю!

– Подождите, – Жуляев поднял руку, прося тишины. – Кажется, есть другой вариант.

Все выжидающе уставились на него, а он вопросительно глянул на свою супругу:

– Аля, ты как?..

– Да я уж и сама об этом подумала...

– Ну, значит, тому и быть, – согласно кивнул Жуляев и обратился к соседям. – Тут вот какое дело. Года два назад достался нам в наследство не-большой домик в деревне...

Александр Григорьевич разочарованно махнул рукой:

– Да думал я уже об этом. У меня, вон, друг дачу продает недорого. Можно и в рассрочку выплачивать, но это не вариант. Она все свои сбережения дочери на покупку квартиры отдала.

– Да кто говорит про покупку? Нам этот дом все равно не нужен. Отдавать за бесценок в чужие руки жалко, все-таки детство там прошло. Но и дальше оставлять его бесхозным нельзя, если бомжи не подожгут, так сам развалится. А если Ольга Николаевна возьмет его, так глядишь, и мы когда заглянем на денек, думаю, она не станет возражать?

– Ну, а что, Александр Григорьевич, это ведь, действительно, выход...

– Только дом очень старый и участок запущенный.

– Мы с Григоричем починим...

– А может, и правда? – чуть успокоенно произнес тот.

– Так это... надо обмыть такое дело, а заодно и обмозговать как следует, – предложил Воробьев, в радостном предвкушении потирая руки.

– Я тебе обмою! – напустилась на него Татьяна.

– Обмыть не обмыть, а в качестве успокоительного не помешало бы..

– Так я щас сбегая, – оживился от поддержки соседей угасший было Воробьев.

– Не надо куда бегать, у нас есть, – сообщила Альбина, вставая.

– Нет уж, позвольте мне, как виновнику, так сказать, – остановил ее Александр Григорьевич, – мне тут недавно хороший коньяк подарили, да все компании душевной не складывалось, чтобы его продегустировать.

В тот вечер соседи, обсуждая случившееся, строя планы, и так, разговаривая о том о сем, засиделись допоздна. А на следующий день, рано утром все вместе поехали смотреть жуляевское наследство. После осмотра Александр Григорьевич и Воробьев остались там приводить дом в порядок, а Жуляевы с Татьяной регулярно к ним навещались. Первые привозили нужные материалы для ремонта, а Татьяна приезжала, чтобы приготовить еду и убраться, да еще воевала с сорняками на участке.

– Вот такая история вышла, Ольга Николаевна, – подытожил рассказ о случившемся Жуляев. – Мы с Алей еще вчера хотели к вам зайти, да поздно вернулись и решили не беспокоить.

– Ох, сколько я вам хлопот доставила со своим огородом, – Ольга Николаевна в смущении покачала головой.

– Ерунда, все хорошо, что хорошо кончается, – успокоила ее Альбина.

– А я тут чуть голову не сломала, все гадала, куда мой огород подевался? Но такого, конечно, и представить себе не могла.., – все никак не могла прийти в себя Ольга Николаевна, – Александру Григорьевичу звонила, а у него почему-то телефон не отвечает.

– Не отвечает? Странно. Ну-ка, я попробую позвонить, – Жуляев достал свой сотовый.

– Вообще-то, он собирался к вашему приезду вернуться, но тут как назло Кузьма куда-то пропал. В городе же его одного не оставить, вот Александр Григорьевич и взял его с собой, а тот возьми, да загуляй... – стала объяснять Альбина.

– Хм, действительно, не отвечает, – пожал плечами Жуляев.

– Да, наверное, телефон разрядился, – предположила Татьяна Воробьева, – сейчас я своему позвоню, – и после непродолжительного разговора с мужем объявила, – Александр Григорьевич ногу сломал.

– Как?! – разволновалась Ольга Николаевна.

– С лестницы упал, что ли... – неуверенно пояснила Татьяна.

– Собирайтесь, – распорядился Жуляев, обращаясь к женщинам, – поедем, и там, на месте, разберемся.

Когда встревоженные соседи примчались на дачу, Александр Григорьевич встретил их, сидя на скамеечке возле ворот. Одна нога у него, действительно, была в гипсе. Рядом суетился Воробьев.

– Что тут у вас случилось? Александр Григорьевич, как же так?! Что врачи сказали? Вам ходить-то вообще можно? – засыпали их вопросами соседи.

– Да ничего серьезного, обыкновенный перелом, – улыбаясь, отмахнулся Александр Григорьевич, – сам не пойму, как так получилось. Хотел брусок у навеса на веранде поменять, только лестницу установил, слышу, кто-то зовет меня. Смотрю, соседка из нашего дома стоит у калитки. Да вы ее знаете, Ольга Николаевна, она всегда вместе с вами на лавочке возле подъезда сидит. Ну, я вышел к ней, постояли, поговорили. У нее тут, оказывается, сестра недалеко живет. Потом она заторопилась на автобусную остановку, а я пошел навес доделывать. Стал забираться на лестницу, а та вдруг поехала подо мной. Я установить-то ее установил, потом отвлекся и не проверил, прежде чем забираться. Попытался с нее спрыгнуть, да вот, неудачно. Упал, ногу сломал, еще и телефон свой сотовый разбил.

– А ты где был?! – накинулась на мужа Татьяна.

– Да я на минутку-то всего и отошел, – стал оправдываться Воробьев, – кота пошел поискать, думаю...

– Думает он! – не унималась Татьяна. – Знаю я все твои думки!

А Александр Григорьевич, виновато глядя на Ольгу Николаевну, развел руками:

– С приездом вас. Вот ведь как получилось, не уберег я вашу красоту. Если б не соседи...

– Да что же мы все на улице-то стоим, – спохватилась Альбина.

Прошли во двор. Альбина обвела широким жестом и домик, и участок:

– Вот, Ольга Николаевна, принимайте и хозяйничайте.

Ольга Николаевна огляделась по сторонам. Она была растеряна и расстроена, чуть не до слез, особенно, когда увидела заботливо пересаженные остатки ее огородика. Невозможно было отказаться от всего этого, не обидев соседей, и она согласилась хозяйничать на даче при условии, что все выходные они теперь будут проводить здесь, на природе.

А когда вечером Александр Григорьевич собрался уезжать вместе с остальными, Ольга Николаевна настояла, чтобы он остался. Во-первых, потому, что Кузьма еще до сих пор не вернулся, а во-вторых...

– Знаете, Александр Григорьевич, вы, конечно, мужчина самостоятельный, но как показали последние события... – Ольга Николаевна смутилась, но продолжила, – в общем, мне будет спокойнее, если вы будете выздоравливать у меня на глазах.

И, несмотря на то, что Александр Григорьевич весь день лихо по-гусарски скакал на костылях, соседи Ольгу Николаевну поддержали.



Антон ЛУКИН

Антон Лукин окончил среднюю школу, аграрный техникум, служил в армии. Писать начал рано - еще в школьные годы, и занятия литературой уже никогда не оставлял. В 2009 году у Антона вышли две книги: «Волшебная страна» и «Голубоглазая», в следующем году - еще две: «Судьба солдата» и «Самый сильный в школе», после - повесть «Антошка».



РАССКАЗЫ

ПОДРУГА НАЗЫВАЕТСЯ!

Галина Царева возвращалась из сельмага. Ходила за мукой, собиралась поставить тесто и испечь пирогов. Женщина она полноватая, с узенькими, словно заплывшими глазами и большой родинкой на щеке у носа. Походка у Галины медленная, идет, глядя себе под ноги, словно кем-то потерянный золотник просмотреть боится. Сегодня она решила зайти к Марье Полокиной, испить с ней чаю и узнать последние новости из ее скучной жизни. Любопытная Галина, страх. Всюду сует свой нос и этим многих раздражает. Но Марья тихая и спокойная. Никогда ни с кем не ругается и плохо ни о ком не говорит. Вот и Галину, какой бы та ни была, терпит. Вся свою жизнь Марья, можно сказать, прожила одна. В девятнадцать лет вышла замуж за Ваньку Полокина. Хороший мужик был, башковитый, работающий, далеко мог бы пойти. Пожили год, и надо же такому случиться: зимой в лесу на шатуна с Гринькой Володиным наткнулись, обоих тот задрал. Марья на седьмом месяце была, от ужасной новости и горя ребенка и потеряла. Замуж так больше и не вышла.

И вот – на тебе! Во дворе у Марьи Галина увидела мужчину. Тот ловко колот дрова, только щепки разлетались из-под колуна. Женщина остановилась и от удивления даже не смогла открыть рта. Откуда он взялся-то? Может, родственник какой?

– Ты чей будешь? – собравшись с мыслями, все же спросила Галина.

– День добрый, – обернулся мужчина и приветливо улыбнулся.

– Добрый, – кивнула Галина. – А что ты тут делаешь? На вора вроде бы не похож.

Мужчина, смахнув ладонью со лба пот, воткнул колун в чурбак.

– Дровишки колю.

– Вижу, что колешь. А хозяйка где?

– В избе.

Галина, ничего не ответив, стремительно забежала в дом. Марья накрывала на стол. На белоснежной скатерти в расписных тарелках уже была еда. И сама хозяйка смотрелась очень нарядной и выглядела счастливой. Галина и представить не могла такой подругу. И откуда эта разноцветная шаль на ее плечах?

– Здравствуй, Галинушка, – как всегда ласково встретила ее хозяйка дома. – Проходи.

Царева подошла к окну, глянула во двор и присела всей огромной массой на табурет. Марья смотрела на нее и улыбалась. Рассказывать о работнике сама не спешила. Скромность всегда была при ней. На столе у самовара стояла полная чаша шоколадных конфет. На это тоже Галина обратила внимание – в их сельмаг таких сроду не завозили.

– Там кто у тебя, подруга, во дворе так красиво работает? Аль родственник какой нагрянул?

Марья убрала взгляд в сторону и покачала головой, мол, нет.

– А кто же тогда?

Марья снова немного помолчала, не решаясь сразу ответить.

– Геннадий Андреевич – это стоматолог из райцентра.

– Как же ты чужого мужика к себе во двор пустила? – подивилась Царева, а у самой глаза от хитрости заблестели.

– Не чужого, – ответила Марья и, немного подумав, призналась: – Жить вот вместе собираемся.

– Как жить? – Галина заерзала на табурете. – Ну-ка рассказывай, подруга, рассказывай давай, что ты тут надумала и утаила от меня, а?

Марья доверчиво посмотрела на Цареву. Конечно же, ей хотелось рассказать все и сразу, поделиться своим женским счастьем, которого так долго ждала, но, видимо, не решалась.

Галина же настаивала, торопясь вызнать все и сразу.

– Ну что тут скажешь, – начала сдаваться Марья. – По зиме у меня зуб разболелся. Поехала в нашу районную больницу. Там и познакомилась с Геннадием Андреевичем. Он очень душевный человек: разговариваю с ним, а на сердце такая радость! Все тепло его чувствую, всю доброту его...

– Так что же мне-то ничего об этом не говорила, батюшки мои, – развела Галина руками, – такую новость утаивала. Вот тебе раз, вот тебе и подруга!

– Не сердись, пожалуйста, я и сама своему счастью не верю, – хозяйка разлила из самовара по чашкам чай. – Приеду в райцентр, посидим с ним в столовой, побеседуем, и такой счастливой себя чувствую, что большего и не надобно. Родной он мне уже. Родной. Будто мы много лет уже знакомы.

– Так ведь женат небось, неужто такие мужики на дороге валяются?

Марья покачала головой:

– Вдовец он. Сын взрослый, в городе живет.

– И что делать собираетесь? – Галина снова глянула в окно: очень уж непривычно смотрелся во дворе Марьи этот незнакомец.

– К себе зовет.

– А ты?

– Поеду.

Галина скривила нос. Вся эта история ей очень не нравилась. Зависть, какую она сейчас испытывала, не давала ей покоя и душила крепкими руками. Как же так, Марья, и вдруг мужика себе нашла. Да еще какого! Врача из райцентра. Квартира небось хорошая, деньги и работа уважаемая. А ее Степан –

пьянь на пьяни, кроме бутылки, ни черта не любит. И поговорить-то с ним не о чем, не то чтобы уж... Но Галина как-то не расстраивалась по этому поводу уже давно, все они тут, деревенские мужики, с бутылкой дружат и всегда в мазуте ходят. Но ведь Геннадий Андреевич не такой будет. Наверняка не пьет, здоровый образ жизни ведет – по фигуре видно, интеллигент. «Да как же так? Где же она, справедливость-то?» – злилась Галина про себя. – Раньше поругаешься со Степкой, придешь к Марье, посмотришь на нее одинокую, измученную работой, поллюбишь ее скучной, однообразной жизнью, и на душе сразу как-то спокойно становится. Какой бы ни был Степан, а он все же есть и рядом. А с Марьей и чувствовала себя как-то Галина счастливой. Ведь судьба у той не заладилась, у нее же все получше будет. А теперь? Что же теперь? Хитрой какой подруга оказалась, – бесилась она.

– Это ты зря, Галинушка, не спеши переживать, – по-своему поняла подругу Галина. – Может быть, еще и не уеду.

– Уедешь! – чуть ли не прикрикнула та. – Только я глаза хочу тебе открыть. Ты же сейчас в облаках вся летаешь и ни черта не видишь. А кто, кроме меня, тебе поможет? Ты посмотри на него, – опять повернулась к окну. – Глянь, как старается, ух, как старается. Авантюрист. Ага, видали мы таких.

– Зачем же ты так, Галя?

– Всем им, мужикам, одно и то же надо, знаем мы их, – махнула рукой. – А ты, дурочка, и клюнула. Ничего, со всеми бывает. Главное, вовремя опомниться.

Огонек радости в глазах Марии быстро погас. Она посмотрела на Геннадия Андреевича, как он работает и снова перевела взгляд на Галину.

– Он не такой, и на работе его все расхваливают: и коллеги, и пациенты, – заступилась она.

– Знаем мы, как их расхваливают, – отмахнулась Галина. – Гляжу, и шаль тебе уже купил?

– Подарил.

– Авантюрист.

– Никакой он не авантюрист, Галина, прекрати так говорить, – у Марьи на глазах появились слезы.

– Уедешь с ним, избу продашь, а потом выгонит как собачонку.

– Не собираемся мы ничего продавать.

– Это пока не собираетесь. Ты прислушайся ко мне, подруга, ведь плохо тебе не пожелаю. Гони его на все стороны, мол, без тебя жилось хорошо и проживу еще лучше. А ты не плачь, – подседа поближе к Марьи и стала гладить ее светлую голову, – ну чего расплакалась, дуреха. Да они все такие, мужики, Господи. Думаешь, мне мой шибко нужен? Просто привыкла к нему уже, ведь по молодости сошлись. Сейчас бы он мне и даром не нужен был бы. А ты, милая, не плачь, не плачь, а все же прислушайся. Не нужен он тебе, не нужен. Жила и без него ведь как хорошо. Ну зачем он тебе? Авантюристы они все, авантюристы!

Марья поднесла ладони к лицу, чтоб не так видны были ее горячие слезы.

Открылась дверь, и в избу зашел раздуманный Геннадий Андреевич.

– Что случилось? – спросил он с порога и, еще ничего не поняв, подошел и обнял Марью.

– Колоть каждый умеет, – буркнула под нос Галина и быстро покинула избу.

Каким же быстрым шагом она неслась по селу! Это что же такое? Марья нашла себе не просто кого-нибудь, а врача! Статного, работающего – ни у одной бабы такого в селе нет. Отхватила и – молчит!

– Галка, неужто пожар где? – остановила ее Прасковья. – Чего несешься, сломя голову?!

– Понесешься тут, – отдышавшись немного, произнесла та.

– А что случилось?

– Ой, Прасковьюшка, сейчас тебе такую новость поведаю, такую новость, – затараторила Галина. – Машка Полокина себе мужика нашла.

– Да иди ты!

– Вот тебе крест, – перекрестилась. – Только что от нее. Сам с района, а по лицу – бандит бандитом.

– У-у-у, ты глянь, что делается-то, – застонала Прасковья.

– Ага, – мотнула головой Галина. – Сама к нему всю зиму с весной бегала в район.

– Батюшки. Марья? А ведь и не подумаешь о ней так. Не зря говорят: в тихом омуте черти водятся.

– Водятся, еще какие водятся. Не знаю, беременна али нет, врать не буду, ну ведь, чай, не девка семнадцатилетняя, верно ведь?

Прасковья мотнула головой.

– Избу, говорит, продам, и к нему перееду. А он – бандит бандитом.

– Ну и дура, это ведь надо на старость лет отчудить.

– Верно-верно. Ну, давай, Прасковья, а то некогда мне, еще к Клавке и к Зинке забежать надо. Видишь, что творится, видишь... – Галина, раскачивая огромной массой, опять понеслась по деревне. Уже на ходу, не оборачиваясь, выкрикнула – спасать Марью надо! Одной-то мне не справиться. Надо, надо спасать!

КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ

Иван Золотов сидел за столом, подперев висок, и смотрел в окно. Голова гудела от вчерашней гулянки. Вечер, как говорится, «удался». Вообще-то он не любитель был этого дела, выпивал редко. Но у соседа Игната сын из армии вернулся, поэтому, как говорится, и дали жару... Теперь этому не рад.

В сенях послышались шаги, и в избу зашла жена. В такие минуты Иван ее видеть бы не хотел. Да и разговаривать с ней – тоже. Сам по себе он тихий, молчаливый. Софья же – его противоположность.

– О, расселся, барин! – крикнула Софья с порога. – Что в окно уставился, как в книгу?

Иван ничего не ответил.

– Посмотрите-ка, – жена прошла к умывальнику, – ишь, глаза как прячет, ишь!

Иван молчал. Сейчас ему было плохо, даже противно. За что он себя не любил, так это за то, что не умел пить. Все люди как люди, выпьют, и ничего, он же как заговоренный какой: хоть и редко пил, но метко. Опрокинет два стакана за шиворот и тут уж – жена не жена, и все бабы – розы. Сразу принцем делается и всю скромность как рукой кто смахнет и частушки сплет, и спляшет, и в любви всем признается, и придумает чего лишнего. Всем весело, все смеются, а ему нравится. Вот он какой, красавец, вот он как может, пошустрее ясного сокола будет. А мужики что, не обижаются. Ванька хороший мужик, серьезный, башковитый да и не раз выручал любого. Только Сонька его поначалу локти от злости кусала, потом смирилась. Ну что с

ним сделаешь, коль он пьяный – такой. Да и выпивал Иван, действительно, очень редко. Но когда муженек страдал с похмелья, тут уж она свое брала, постыдить любила, позлить, припомнить вчерашние обиды, и все в то время, когда голова болит, а на душе противно от вчерашнего. Иван это знал и в такие минуты ее не любил.

– Ну что, все репы вчера собрал?

Софья сполоснула руки и взяла полотенце.

– Цыц, – Иван посмотрел на жену исподлобья.

– Ишь ты, «цыц». Я те дам, «цыц»!

Тот снова отвернулся к окну.

– Это надо же, к Нюрке Рощиной целоваться лезть, это надо же, – Софья разводила руками, дескать, сама не представляет, как так можно. – Совсем совесть потерял. На нее же без слез не взглянешь. Хотя вам, кобелям, все одно, zenки залыете и радешеньки. Тьфу. И что жена рядом, это уже ничего, пушай рядом стоит, пушай любит, какой он у нее шустрый, орел. Посмотри на себя сейчас, воробушка ты, а не орел. Ух, синица хитрая.

Сонька говорила тихо, не кричала, не скандалила, но ее голос все равно давил на уши. Обиды, какую она показывала, и злости в основном на мужа не было, это она уже больше так, для профилактики, позлить немного. Сонька знала, что сейчас тому стыдно за вчерашнее и он полдня просидит вот так, как побитый воробей, у окна.

– Это надо же ляпнуть, что вместо него Гагарин полетел, будто его в космос готовили, а полетел другой. Ой, трепло, ой, трепло...

– Соньк, нарываешься, – Иван посмотрел на жену. – Ведь врежу.

– Ну-ка, напужал, боюсь вся. Ага. Попробуй.

Иван снова отвернулся к окну. Вообще-то он жену никогда пальцем не трогал, хотя такую тронь, она сама, если надо, тронет. Про такую говорят: коня через брод перенесет. Пышная, крепкая, румяная, настоящая русская баба. Такую тронь. Но все же, когда та надоедала, любил Иван припугнуть, та, естественно, ему «попробуй», и тот сразу же успокаивался. Понимал, что не напугал.

– Ты мне вот скажи одно только, скажи, какой черт те велел самогона стока пить, а? Какой черт?

Иван немного ожил, посмотрел осторожно на жену и снова убрал глаза к столу.

– Так ведь Степка из армии пришел, как не выпить?

– Ну ты выпей немного, чуточку, чтоб не обидеть. Как Ермола.

– У него же печень.

– А у тебя мозги... не в том месте.

Иван промолчал.

– Смочил губы и – хватит. И никому не обидно. А то... Ведь знаешь, что нельзя, и все равно пьешь. Первую, вторую, третью, а потом?

– Что «потом»?

– А потом орешь как резаный: вина мне, вина! Будто не достанется. И откуда только жадность такая?!

Иван молчал.

– Ох уж ты мое горе луковое, и кому ты такой нужен, как не мне? – Софья присела за стол, делая вид, что перестает злиться. Иван окончательно оживился. Даже голос ее не такой уж и противный стал, и вовсе перестал на уши давить. – А помнишь, как ты и мне сказки свои сказывал?

– Какие сказки?

– Ну как же? Как на медведя с голыми руками ходил, а? Помнишь?
 – Помню.
 – Ну, конечно, помнишь, надо же. Еще тогда врать любил. Помело. – Жена улыбнулась.
 – Так шутил же я, шутил.
 – Шутил. А я поверила. Уши-то развесила. Подумала: как это он на медведя да голыми руками...
 Иван тихонько засмеялся, закричал.
 – Это же надо придумать, хэх...
 – Помню, помню, – Иван посмеивался. – Всему-всему верила.
 – Девка была еще, молодая, несмышленная. Это ты у нас весельчак оказался...
 – Да-да.
 – Палец покажи, со смеху лопнешь, – Софья показала мужу большой палец, тот взялся смеяться. – О, пожалуйста!
 – Рассмешила, аж до слез.
 Сонька сама смахнула со щеки слезу, улыбнулась и посмотрела на мужа:
 – Ниче, и посмеяться полезно.
 Она встала из-за стола, пошла в горницу, достала из комода бутылку и снова вернулась на кухню. Поставила на стол. Иван перестал улыбаться, посмотрел на бутылку.
 – Что, глазками захопал, как бычок, – улыбнулась Софья.
 – Что это?
 – Что-что..., – она налила в рюмочку, – выпей, полегчает.
 – Сейчас ведь начну,.. – улыбнулся.
 – Я те начну!
 Иван опрокинул рюмку, закусил огурчиком.
 – Ну и себе немного. – Софья вновь наполнила рюмку и залпом опрокинула, сморщила нос, тоже надкусила огурец.
 – Ну что, споем?
 – Ага, – Иван быстренько вылез из-за стола, снял со стены гитару. – Про Катеньку, Катюшу?
 – Я те дам про Катюшу, все бы ему про Катюшу, только про баб...
 – Твоя же любимая!
 – Не хочу.
 Помолчали.
 – Спой про клен. Помнишь, как у плетня мне пел, ох, душа хоть всплакнет немного.
 Иван уселся поудобней, закинул ногу на ногу, положил на бедра гитару и ласково заиграл перебором.

Кле-е-ен ты мой опа-а-авши-и-ий,
 Кле-е-ен заледене-е-елы-ы-ый,
 Что стои-и-ишь нагну-у-увши-и-ись
 Под мете-е-елью бе-е-ело-о-ой...

Петь Иван умел. Боже, как он пел! Пальцы красиво плясали по струнам, голос проникал в самую глубину души, гладил, сжимал, трепыхал больное сердце, что оно невыносимо ныло.

...И-и-и, как пъя-я-ны-ы-ый сто-о-оро-о-ож,
 Вы-ы-ыйдя на доро-о-огу-у-у,
 Утону-у-ул в сугро-о-обе,
 Приморо-о-озил но-о-огу-у-у...

Софья не отрывала от мужа глаз, наслаждалась, внутри все плакало, ревели, по щекам ее катились слезы...

...И-и-и, утратив скро-о-омно-о-ость,
Одуре-е-евши-и-и в до-о-оску-у-у,
Как жену-у-у чужу-у-ую-ю-ю,
Обнима-а-ал бере-е-езку-у-у.

Немного помолчали.

Софья вытерла слезы, на сердце стало как-то хорошо, легче как-то. Сейчас она любовалась мужем.

– Давно я так не пел, – Иван поставил гитару на пол.

– Ох, Ванечка, ох, клен ты мой опавший, – Софья была растрогана.

Иван снова взял гитару.

– Про Катю?

– Давай, Ваня, давай.

Иван провел пальцами по струнам, душа вновь встрепенулась, и он тихо запел. Софья, облокотившись, любовалась им, думая: – «Какой же он все-таки у меня хороший. Лучший. Самый лучший. И как же хорошо, что он у меня такой есть. Вот такой вот, никакой другой».

АЛЕША ХОРОШИЙ

Алексею Симакову, или просто Алеше, как все его называли, шел тридцать седьмой год. Он был не от мира сего. Слов знал немного, говорил плохо, с задержкой, чаще объяснялся жестами – безобидный, наивный и добрый ребенок. Всегда всем пытался предложить свою помощь, очень хотел быть нужным обществу. В деревне его жалели и любили за спокойный характер. Зимой чуть свет выйдет с ломом и – к магазину лед отбивать или снег кому от ворот отбросить, хотя никто его об этом не просит.

– Алеша хороший! – утирал он перчаткой лоб.

– Хороший Алеша, молодец Алеша, умница, – хвалили его бабы.

– Хороший, – кивал он.

Каждый день заходил в гости к старику Кондрату. Тот уже второй год как схоронил жену Агафью. Прекрасной души была. Как и Алексей, всех любила и жалела. Скучно старику одному стало, совсем раскис да к тому же еще и ослеп на один глаз. Выйдет, бывало, во двор, опустится на завалинку и сидит весь день, на небо поглядывая. Молчит. О чем-то думает. Алеша зайдет, воды натаскает да скотину покормит. Потом присядет рядом и тоже молча на небо уставится. Забьет Кондрат табаку, закурит, ослепшим глазом прослезится. Протрет его аккуратно уголком платка, вздохнет тяжело и давай рассказывать какую-нибудь историю из жизни. Кондрат мог часами рассказывать о своей долгой жизни. Алеша, конечно, собеседник плохой, но все же приятно, когда тебя слушают. А слушать Алеша умел.

Жил Алеша с матерью. Отец погиб на фронте в сорок четвертом, ему тогда одиннадцать лет было. Есть еще брат Макар, что на пять лет младше, но тот уже женат и давно живет в городе. Дети брата – Лизка и Нюрка – славные девочки, смешные. Лизка на маму больше похожа, и глазами и характером, тихая, скромная, а вот Нюра, та копия Макара: заводная, любопытная, ни секунды на месте не посидит. Давненько Алексей брата не видел, соскучился по нему и с племянками давно не играл. Любил он детей, и они

его любили. И животные – тоже: никакая собака сроду на Алешу не гавкнет. Все-таки умеют звери распознавать добрых людей. Умеют.

В том году, уже по осени, к ним в деревню заглянул цыган лет сорока пяти, с маленьким мальчиком на руках. Сам босой. Ребенку годков пять. Мужчина заходил в каждый двор, просил помочь кто чем может, но чаще ему отказывали: многие у нас недолюбливают цыган.

Алексей сидел за столом и хлебал щи, когда в дверь постучали и на пороге показался гость.

– Добрый вечер, – тихо произнес тот и даже слегка поклонился. – Помогите, люди добрые, ради Христа, чем можете...

Мать протянула ему кусок хлеба с салом и подала мальчику кружку молока. Гость горячо поблагодарил и отправился дальше. За окном уже темнело.

– Ма, – посмотрел Алексей на мать.

– И не проси даже, – ответила та, – на ночь не пушу. Обворует еще.

Алексей догнал цыгана уже на околице, дал ему еще немного еды и снял с себя сапоги. Тот надел их на мозолистые сбитые ноги и поблагодарил от всего сердца.

– Алеша хороший! – только и произнес Алексей.

Долго потом мать бранила его за сапоги. Неприятно было. Алеша не любил, когда его ругали. И всегда, будь он виноват или нет, отводил глаза в сторону и молча кивал. Но поделаться с собой ничего не мог.

Как-то летом, когда Алексей растапливал баню, мать получила от Макара письмо, в котором сообщалось, что тот через пару дней приедет с Лизкой. Сам-то на ночь, но дочь собирался оставить на месяц.

Конец письма. «...Сам бы задержался подольше, но не могу, работа не отпускает. Даст бог, вырвусь на недельку ближе к осени. Лизка пока погостит у вас, потом заберу. Нюра едет отдыхать в пионерский лагерь. Вот так вот...» – прочитала Алексею мать. – Может, Лешенька, в город поедешь?

– В город?

– Ну да. Поживешь немного у брата. На город хоть посмотришь. В кино сходишь, в музей какой, на троллейбусе прокатишься, а за Лизкой поедет, и ты с ним – обратно.

Алексей призадумался, взглядом уставился на потолок. Он всегда так: когда о чем-нибудь размышлял подолгу – то смотрел вверх. В городе он, и правда, ни разу не был, а хочет или нет он там побывать, никогда не задумывался. Наверное, там интересно.

– Алеша хочет покататься на тро... тро...

– На троллейбусе, – помогла мать.

Сын кивнул головой.

– С Макарой я поговорю, – она обняла Алешу, прижала к себе.

...Алексей стоял на остановке и ждал автобуса. Наконец он подъехал, и из дверей вышел Макар с Лизкой и Степка Селезнев: тот в райцентр ездил.

– Алешка! Алешка! – бросилась ему на шею Лиза. Он поднял ее на руки и несколько раз подбросил вверх. Подошел Макар, обнялись. У Алексея выступили слезы. Он поцеловал брата и грубыми пальцами протер глаза. Самое тяжелое было для него прощание и долгожданная встреча.

– Здравствуй, брат, вот и снова увиделись, – улыбнулся Макар. – Как с матерью поживаете? Не огорчаешь ее?

– Ну, – замотал головой. – Алеша хороший!

Макар засмеялся.

- Хороший, хороший.
- И Макарушка хороший!
- Стараюсь.

Лизка держалась за дядину широкую ладонь и покачивала его руку. Тот закинул ее к себе на спину и все отправились в деревню.

Мать к тому времени уже накрыла стол. Долго обнимала и целовала сына с внучкой: есть все же радость в жизни! Есть! Живешь обычно, тихо, вроде бы и все хорошо, спокойно. А приедут погостить, пусть даже на ночь, до боли родные тебе люди, и такое счастье в душе сразу, плакать и смеяться хочется, и понимаешь ради чего живешь – ради вот этих мгновений. Женщина плакала, но то были сладкие слезы, слезы радости. Потом сидели за столом, пили чай и слушали Макара, который, о многом поведав, вспоминал сейчас, как ходили они семьей в цирк. Лиза перебивала его, тараторя, что видела там тигров и медведей. Алеша смотрел на брата и представлял себе этих тигров: полосатых, огромных и никак не мог понять, как это медведь может кататься на велосипеде. Переспрашивал брата, но тот лишь улыбался и повторял, что в жизни, мол, все бывает.

Потом с братом отправились на пруд, порыбачить. Лизка за ними увязалась. Макар любил рыбалку – все детство провел на пруду с удочкой. Алеша же только подолгу сидел на берегу с рыбаками и молча смотрел на поплавки, а после кружился у ведра и, вытащив рыбу, поглаживал ладонью серебристую чешую, норовя незаметно вернуть ее в воду.

– Хорошая рыба!

Мужики смеялись, грозя ему пальцем.

...Макар медленно осмотрел пруд, задумался, видно, вспомнилось детство. В небе в эти минуты проплывали пушистые облака и отражались в воде.

– Овечки, – улыбнулся Макар. Ему это равнение всегда приходило в голову. Алеша помотал головой – у него для каждого облака было свое название.

– А что это? – опять посмотрел в небо Макар. – Не овечки?

– Не-е-е, – протянул Алеша и улыбнулся.

– Да ладно, зови как хочешь, – согласился брат и закинул удочку в воду.

Сидели молча, посматривали на поплавок. Потом Алексей и Лиза, которой стало скучно, отправились за кузнечиками.

Макар поймал всего несколько окуньков – слабо клевало. Подумал: «Путру нужно было идти». Вечером поужинали, немного поговорили и легли спать. Утром Алексей с Лизой ушли к старому дубу, что рос возле Воробьевых. На нем были устроены качели. Алеша долго смотрел, улыбаясь, на племянницу, которая весело смеялась, взлетая вверх. Легкий теплый ветерок раздувал ее волосы, щеки розовели от удовольствия и Алеше казалось, что в какой-то момент Лиза может вспорхнуть красивой бабочкой и унести куда-нибудь от него.

– Пойдем, – остановил он качели. – Ждут нас.

Заглянули на луг, где паслось стадо, нарвали цветов, медленно пошли к дому. Лиза задержалась у плетня, Алеша зашел в сени и из открытых дверей услышал:

– ...Да пойми ты, не могу я его взять с собою, не могу, – отказывался Макар.

– Ишь ты, не могу, а ты через не могу, – требовала мать.

– Да куда я его повезу? Ты посмотри на него, соседи начнут...

– А ты уже брата стесняешься?! – изумилась мать. Немного помолчали. – Пускай мир немного посмотрит. Ведь дальше Осиновки нашей никуда не ездил. Чай, ему тоже хочется, интересно все же. А за Лизой поедешь, обратно привезешь.

– Да не могу я, мам, не могу...

– Вот заладил свое, не могу, не могу!

– Ну, куда я его возьму? Он что дитё. В город одного не отпустишь, мы с Варькой с утра до вечера на работе, нянчиться с ним у меня времени нет. Ну чего он в квартире один сидеть будет? Нет. Ближе к отпуску спишемся, посмотрим. Сейчас нет...

Алеша вышел во двор и уселся на скамейку, обхватив голову руками. Слова брата били молотком по голове. Он тихонько замычал. Было больно. Подошла Лиза и показала букет, который пополнила цветами из палисадника.

– Красивый?

Алексей поднял голову, посмотрел на нее.

– Правда?

Алеша кивнул, обнял Лизу и заплакал. Он крепко прижимал ее к себе и незаметно смахивал слезинки, чтобы та их не видела.

Ближе к обеду Макар попрощался с матерью и отправился к остановке. Алексей с Лизой пошли его провожать. Всю дорогу Макар что-то рассказывал и над чем-то посмеивался, но Алексей его не слушал. Он шел и думал совсем о другом.

– Что молчишь? – поинтересовался брат.

– Алеша плохой.

– Почему, плохой-то? – улыбнулся Макар. – Натворил, что ли, чего?

Алеша пожал плечами.

Подъехал автобус. Попрощались быстро. Макар уехал, а Алексей взял Лизу на руки, посмотрел немного на пыльную дорогу, на удаляющийся транспорт и медленно зашагал назад.

– Чего ты? – девочка попыталась заглянуть ему в лицо. – Обиделся?

– Не-е-е... – покачал тот головой. Потом печально вздохнул и произнес:

– Алеша плохой. Плохой Алеша.

Лиза охватила его шею, прижалась к нему, словно сумела понять его грусть и горячо перебила:

– Хороший! Алеша очень хороший! Самый лучший!

Ее маленькие руки после еще долго были сцеплены, будто теперь Лиза боялась, что Алеша куда-нибудь денется, и тогда ей в деревне этой не захочется оставаться даже на день.



Валерий РУМЯНЦЕВ

Борис Зорькин (Румянцев) родился в 1951 году в Оренбургской области. Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета, на филологическом факультете Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. На протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности, уволился в звании полковника.

Валерий Румянцев печатался в различных газетах России и многих журналах. Он - автор десяти книг.



ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

Р а с с к а з

Захаров в дорогу взял «Сумму технологии» Станислава Лема. Эту книгу он купил спустя месяц после окончания института, сразу начал читать, но вскоре бросил. И хотя в последующие годы он живо интересовался философией, ознакомился с трудами многих мыслителей, конспектировал их, «Сумма технологии» почти четыре десятка лет пылилась в его домашней библиотеке по соседству с наследием мудрецов. И вот, наконец-то, дошла очередь и до нее.

Захаров читал с завидным азартом, не обращая внимания на стук колес и бесснежные декабрьские пейзажи за окном. Возвращался по несколько раз к отдельным абзацам, пытаясь понять автора. Поняв, сожалел, что не оценил эту книгу раньше. Еще он радовался, что никто не отвлекает его дорожными разговорами, но иногда сам поглядывал в окно вагона, словно боялся проехать станцию Котельниково. В этом городке он родился, в нем прошло его детство и ранняя юность. Там он познавал мир, первый раз сильно и безответно, как ему тогда казалось, влюбился, а потом навсегда уехал в другие края. И так получилось, что за сорок пять лет он ни разу не побывал на своей малой родине. А временами оказаться там снова очень хотелось, чтобы встретиться со своей молодостью, может быть, и с той, с кем его не свела судьба.

В Котельниково поезд должен был стоять двадцать минут. Захаров взглянул на часы и закрыл книгу – станция была уже почти рядом.

Состав прибыл на первый путь, значит, можно будет выйти на привокзальную площадь, посмотреть по сторонам и увидеть близкие сердцу улицы и дома. «Конечно, никого из знакомых не встречу, а, если и встречу, то ни я их не узнаю, ни они меня», – подумал Захаров.

Он вышел из вагона. Холодный ветер кинулся ему на грудь и заставил застегнуть куртку. Тут же он столкнулся с шумными продавцами, которые метались от одного вагона к другому, надеясь найти покупателя для своего товара. В их руках чего только не было: копченая рыба на подносах, пиво, консервированные овощи, сухофрукты, домашняя выпечка, котлеты, пуховые платки, шерстяные носки и варежки... Но, как и раньше, больше всего было копченой и сушеной рыбы. Высыпавшие из вагонов пассажиры покупали ее охотно.

Пока Захаров шел по перрону к зданию вокзала, его настигло неприятное известие. По радио объявили, что в связи с опозданием их поезда стоянка будет сокращена. «Вот те на! Значит, далеко от своего вагона отходить нельзя!». Захаров развернулся и медленно пошел к своему тамбуру, теперь уже внимательно глядя в лица продавцов.

Одни из них задорно рекламировали свой товар, другие нерешительно просили купить хоть что-нибудь. И вдруг одно лицо среди продавцов показалось Захарову знакомым. Он подошел поближе и стал пристально рассматривать худощавую женщину примерно его возраста. В руках она держала поднос, на котором поблескивала копченая рыба. Одета она была довольно бедновато: старая выдавшая виды куртка с засаленными рукавами, потрепанная вязаная шапочка, из-под которой просматривались редкие седые волосы, на ногах – башмаки непонятного цвета со стоптанными каблуками. «Не может быть!» – метнулась в голове Захарова догадка. Но чем дольше он смотрел на женщину, тем больше убеждался, что это его Таня, Танечка. Вот и та самая еле заметная родинка на правой щеке. «С ума сойти! Она!» Захаров вплотную подступил к женщине, которая не обращала на него никакого внимания, а пересчитывала только что полученные от покупателя деньги. Захаров взял ее за локоть и, когда та повернула в его сторону голову, все еще не веря своим глазам, нерешительно сказал:

– Танечка, здравствуй...

Женщина недоуменно смотрела на него несколько секунд, а потом в ее глазах отразилась радость.

– Юра! Неужели это ты!? Столько лет...

Захаров неуклюже обнял Татьяну и поцеловал в щеку. При этом он ощутил дрожь в ее теле. Мешал этот дурацкий поднос, который она держала в руках, и резкий запах копченой рыбы.

– Да, воды много утекло. А у меня все-таки была, была надежда, что я здесь увижу кого-нибудь из нашего класса... И вот, случилось. Ну, расскажи, как ты живешь? Есть ли муж, дети, внуки?

– Как живу? – Татьяна не могла справиться с волнением. – Вот, рыбой торгую. На учительскую пенсию-то далеко не уедешь. А тут надо еще дочери помочь. Муж бросил ее с двумя детьми, сбежал куда-то, ни слуху ни духу ни алиментов.

– А муж, муж-то у тебя есть?

– Был. – Она махнула рукой. – Всю жизнь нервы трепал своим пьянством. Умер три года назад. А сын живет в Волгограде, приезжает редко, у него там свои заморочки.

– Давай отойдем куда-нибудь в сторонку, – Захаров взял у Татьяны почти пустой поднос и, сделав несколько шагов, поставил его на большой фанерный ящик.

– А я о тебе много раз вспоминала. Как ты-то живешь?

Он слукавил, ответил:

– У меня все хорошо... А как наш класс? Все живы?

– Обо всех не знаю, встречались как-то лет тридцать назад... Знаю только о тех, кто живет здесь, в Котельниково. Володя Бачалов был у нас председателем районного суда, спился, умер пять лет назад. А жена у него Любка Житецкая. Помнишь, с тобой когда-то за одной партой сидела? Тоже спилась. Два сына у них, и оба – наркоманы...

– Какой кошмар! Да что у вас тут делается?

– Да то же, что и по всей России... Лидка Кудышкина до сих пор преподает в нашем техникуме. Мишка Огурцов работает сварщиком. А Сережка Семенов где-то там на канале электриком.

Захаров слушал ее, смотрел на потемневшее до времени лицо, на неухоженные руки, на подергивающиеся от холодного ветра плечи и жалость к когда-то любимому человеку остро кольнула его сердце. Не помнит, как сорвался с места, торопясь остановить торговку шальями, как потребовал дать ему самую дорогую и красивую, не заботясь, что у самого останется теперь мало денег, а потом вернулся к Татьяне и накинул шаль на ее плечи.

– Это тебе на память о нашей встрече.

– Да ты что!? Такая дорогая вещь...

– И не спорь, не обижай меня. Прошу.

– Ну... спасибо огромное. Я бы за такую цену никогда не купила, – и она поцеловала его в щеку.

Объявили посадку. Захватив поднос с рыбой, они пошли к вагону.

– А как Раиса Ивановна, наша классная? Жива?

– Жива. Но у нее был недавно инсульт, она очень плохо передвигалась. Теперь она в Волгограде у дочери. Как сейчас – не знаю.

– Поезд отправляется, заходите в вагон, – послышался голос проводника.

Юрий передал поднос Татьяне и, вздохнув, сказал:

– Увидишь наших, всем от меня привет и наилучшие пожелания...

Подгоняемый проводником, он поцеловал замерзшую холодную руку Татьяны и поднялся в тамбур. Вагон вздрогнул, сердце Захарова вновь защемило. Его детская любовь стояла со своим неразлучным подносом и тихо всхлипывала. На ее плечах красовался большой белый пуховый платок. Вдруг Татьяна рванулась к закрывающейся двери, и он услышал ее последние слова:

– Юрочка, спасибо тебе за все! И за то, что ты всегда был в моей жизни!..



Валерий ИВАНОВ



Валерий Иванов родился в с. Красногорское Алтайского края. Служил в армии. Окончил Восточно-Сибирский государственный институт культуры в г. Улан-Удэ. Много лет руководил народным театром и агитбригадой в с. Красногорское.

Автор книг: «Деревенская доля» и «Розовые кони». Постоянный автор журнала «Алтай».

Член Союза писателей России.

Живет в с. Красногорское Алтайского края.

РАССКАЗЫ

НЕСПЕТЫЕ ПЕСНИ

После девятого класса местной школы Николай Бутусов не поехал учиться дальше, потому что не дружил с родным русским языком и умудрялся только в одном предложении делать столько ошибок, что и этого предложения вполне бы хватило, чтобы поставить ему твердую двойку. Был трудолюбивым парнем, добросовестно учил все правила, а вот писал безграмотно. При этом имел красивый почерк, который можно было найти лишь в прописях. Что делать с недоступной ему грамматикой он не знал, тем более, что его все время одолевала страсть к пению. Эти способности и сложившиеся обстоятельства и предопределили его дальнейшую судьбу.

Заведующая сельским клубом Революция Сергеевна очередной раз крепко запила, больше терпеть ее выходки начальство не могло и уволило, несмотря на громкое имя. На сельском сходе жители деревни решили доверить эту должность семнадцатилетнему Коле. И он поехал оформляться в райцентр, в отдел культуры. В это время там проходил районный семинар работников культуры, в заключении которого давался большой концерт участников семинара. Выступление Коли понравилось и руководству, и зрителям. Он в одночасье стал не только заведующим сельским клубом, но и артистом районного масштаба. Вскоре его направили на курсы сельских работников культуры в краевой центр, надеясь на то, что весной он поступит в культурно-просветительное училище.

Вот только учиться ему не довелось – забрали в армию. В армии Бутусов освоил азы сольного пения, стал полковым запевалой. Там же начал писать стихи.

Свои первые опыты он показал начальнику штаба. Тот похвалил молодого автора, но указал на плохое знание русского языка. Бутусов снова сел за грамматику. Теперь он не чувствовал страха перед ней, ему вдруг стали понятными многие, ранее не ведомые премудрости родной речи.

Время сначала кралось маленькими, почти незаметными шажками, потом стало постепенно ускоряться и наконец помчалось со спринтерской ско-

ростью. Служба сменялась концертами. Концерты – армейскими смотрами художественной самодеятельности, на которых он тоже преуспел, став лауреатом нескольких из них. Один раз даже в Москву попал, где выступал в громадном Центральном театре Советской Армии. Сопровождавшие артистов-солдатиков москвичи рассказали, что театр был построен в 1940 году и имеет форму пятиконечной звезды, если на него с высоты смотреть. После репетиций, проходивших здесь целую неделю, посетили они спектакль «Смерть Иоанна Грозного».

На громадной сцене находился большой куб, у которого происходили все действия. Николай сидел в амфитеатре. Люди на сцене были маленькими, со спичечный коробок или чуть больше. Тогда-то и он решил, что бояться тут ему нечего, с такой высоты без бинокля его никто и не разглядит, а смотреть на солдатиков с особым пристрастием никто и не захочет. Победит тот, кто будет храбр и удачлив. В своем успехе он не сомневался, и стал лауреатом конкурса. Проигравших отправили на места несения служб, а победителей еще целую неделю водили по музеям и концертным залам.

После демобилизации он вернулся в родную деревню, но в клуб работать не пошел. Хотелось делать что-то более материально значащее, да нищенская зарплата, которую получали клубные работники, не устраивала.

Пока он служил в армии, его тетка, работающая дояркой, была награждена орденом Ленина. Коля решил пойти по ее стопам, благо коров он доить умел.

Снова работающая в клубе Революция Сергеевна не приглашала его ни на концерты, ни на другие клубные мероприятия, то ли опасаясь конкуренции, то ли из-за того, что был Коля не только любим народом местным, но и стал настоящим молодежным лидером. Вскоре ушла она на пенсию, и место клубного работника оказалось вакантным.

К тому времени дояр Бутусов прочно занял место на районной Доске почета и стал известен в крае. Женился. Поселился отдельно от родителей в новом доме. Все было хорошо, но тоска не отпускала его. Видно, поэтому он к своей основной добавил работу в клубе – на полставки.

Любимыми стали песни женской вокальной группы, где запевалой была его жена, и те, для которых слова и музыку сочинил сам Николай. Деревня как ожила – взялись петь, особенно по вечерам. Обычно Николай пел лишь первый куплет, потом исполнителем становился весь зал.

Гасит звезды, словно свечи, цвета алого зря.
Прокричал петух в сарае, просыпаться всем пора.
На крыльчке заскучала от безделья суета...

После концерта к нему подошла молодая, недавно приехавшая в деревню учительница начальных классов.

– Песня у вас, Николай, хорошая, но я не понимаю: при чем здесь суета. В толковом словаре про суету вообще-то говорится, что это все тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности...

– Правильно. А еще там о суете сует говорится, как о мелочных повседневных волнениях. Вот их-то в сельском быту у каждой семьи предостаточно. Ведь прежде чем отправиться на работу, надо накормить живность, подоить корову, печь истопить. И все быстрее, быстрее, чтобы на ферму не опоздать.

– Так это уже не суета, а самая настоящая работа.

– Настоящая работа – на производстве.

На следующий день во время утренней дойки Коля как обычно напевал свои песни. Он знал, что коровы любят музыку.

«А вообще-то надо бы взяться за ум и хоть техникум сельскохозяйственный закончить», – думал он.

Но время и сменившийся в стране уклад жизни навсегда перечеркнули планы Николая Бутусова. Сначала грянула перестройка, а потом в мирной, ни с кем не воюющей стране появились талоны на продукты, промышленные товары разыгрывали на ферме в лотерею.

Кто-то выиграл стиральную машину, кто-то – набор мебели, но этого было слишком мало, чтобы удовлетворить спрос сельчан: деньги-то ведь были, только купить на них нечего было.

Вскоре погибла и страна, которой он присягал на верность, вступая в ряды защитников Отечества.

Новые власти сочли сельское хозяйство нерентабельным, ферму закрыли. И хотя все так же светило солнце, дули ветра, в душе что-то надломилось. Ушли радость и вера в то, что завтра жизнь будет лучше. Да и песни у Кольки больше не складывались. Народ из деревни начал уезжать, школа из неполной средней стала начальной, закрыли почту, отделение бытового обслуживания, хотели закрыть и клуб, но народ зароптал, и его оставили. К тому же Николай был не просто заведующим сельским клубом, но и человеком, через которого руководство сельского Совета держало связь с населением деревни. Жена осталась безработной, подросли дети, на учебу они теперь ездили на центральную усадьбу. Это тоже было непривычно. Супруга все чаще заводила разговор о переезде в город. Коле же нравилось родное село. Не мог он оставить деревню, где ему был близок каждый кустик, каждая тропинка в лесу, каждый дом. В семье начались ссоры.

После одной из них он ушел из дома и поселился в квартире своей тетки. Ночью он подолгу лежал на диване с включенным телевизором, а сам думал совсем о другом: «Почему любовь – это не воздух, без которого люди не смогли бы жить?»

Часто во сне он видел жену. Разговаривал с нею, убеждал, что скоро все наладится, решил даже встретиться с ней, попросить прощение и вернуться в семью. Но только собрался домой, как на пороге неожиданно появился руководитель археологической экспедиции, которая уже несколько лет ворошила его родную землю и – не безуспешно. Археолог заговорил с порога:

– Выручай, брат. Беда у меня.

– Что случилось-то?

– Нашли мы на одном раскопе могилу шаманки.

– Ну и что?

– Там были ее украшения. Перстень я сдуру нацепил себе на палец. Наделся он легко, а вот снять не могу. Мне сказали, что здесь живет бабушка, которая сможет кольцо снять. Знаешь ее?

– Знаю.

– Пошли скорей: палец горит, словно обожженный.

Археолог вытянул руку и Николай увидел, что палец под перстнем уже начал синеть. Охнул и повел археолога к бабке Проскурихе. Та, узнав, в чем дело, переполошилась, велела покинуть дом, и уже из ограды прокричала, что теперь надо ждать беду.

Однако вслед поколдовала, и перстень скатился с руки археолога.

Михаил, так звали археолога, почти силой увел Николая к себе в лагерь. Палатка его походила на шатер древнего хана. От других она отличалась высотой и внушительными размерами.

Михаил решил угостить спасителя. На столе появились шашлыки, зелень из местных огородов. Вечерело, как вдруг в один миг темные грозовые тучи окутали ближайшие горы. Николай с Михаилом озабоченно переглянулись. И в это время слепящие молнии ударили в землю. Затем последовали могучие

раскаты грома, от которых заложило уши. Налетевший ветер пригнул к земле молодые березы, от натиска ветра и дождя рухнула ближайшая палатка.

– Побудь здесь, я к ребятам, – испуганно сказал Михаил. – Скоро утихнет ветер – все исправим.

Николай проводил его взглядом, и подумал о том, что сегодня уже не успеет примириться с женой. В это время очередная слепящая молния ударила в палатку. Она сразу задымилась, стены раздулись и тут же опали.

Когда ветер стих, археологи выскочили наружу и в изумлении остановились. На земле, широко раскинув руки, лежал Николай, которому уже было нельзя ничем помочь. Наступила такая тишина, что из деревни до стоянки донеслась музыка.

Это были песни Коли Бутусова, которые в магнитофонной записи неслись из распахнутого грозой окна его дома.

ПОСЛЕДНЯЯ РЫБАЛКА

Свой первый спиннинг мне подарил друг, который сам никогда этой снастью не пользовался. Он предпочитал ловить рыбу жерлицами, закидушками, а то и просто – на удочку. Я тоже не гнушался проверенными снастями, но все же и про подарок не забывал, обзавелся целым арсеналом разнообразных блесен.

В это лето мой друг забрался в верховья реки Иша и оттуда сплавлялся вниз по течению на самодельном плоту. С плота, идущего по стремнине, блесну можно забросить в любую заводь, под любую корягу. Места на реке порою дикие, рыбаки здесь бывают нечасто, да если и бывают, то только на песках и вблизи соседних с ними крутых обрывов. Лезть по тайге в места нетронутые, путаясь в густой траве и кустарниках, не каждый захочет. Поэтому и рыба здесь непуганая. Сама на блесну так и прет.

Тогда-то моему другу и понравился спиннинг. Вернувшись из плавания, он сразу же купил его себе и стал заядлым рыбаком именно на эту снасть.

Мы не раз были с ним на рыбалке, и я видел, как совершенствуется его мастерство, как прирожденное трудолюбие и упорство помогают ему ловить рыбу даже там, где ее и быть-то вовсе не должно.

Лето в этом году было почти без дождей, такой же выдалась и вся осень. Мы с другом все свободное время проводили на реке, ловили щуку и полосатых красавцев окуней. Наслаждались последними теплыми денечками «бабьего лета». Правда, осенние дни уже стали короткими, а ночи – темными, хотя звезды на небе светили очень ярко.

Субботним утром я встал как всегда рано и вышел на улицу. Темное небо сливалось с такой же темной землей. Тучи запрятали звезды. Легкий южный ветерок нес запоздалое тепло, стараясь разогнать тучи. Когда ему это удавалось, в разрывах облаков вспыхивали яркие осенние звезды.

По мобильному телефону позвонил друг:

– Слушай, а не рвануть ли нам на рыбалку? Интуиция подсказывает, что зима уже не за горами.

– Куда отправимся? – спросил я.

– А давай пешком на Ишу. Реки не хватит, так еще и на Кругленьком озере порыбачим.

– Заходи. Я пока рюкзак соберу.

Мы идем по темным, неосвещенным улицам райцентра. Полная луна большим, желтым фонарем повисла над округой, высвечивая дорогу к реке. Над далекими горами начало светлеть небо, приближая восход.

И вот уже в рассветных лучах блестит река.

Дорога петляет среди ивняка, выводит на многочисленные ручьи, с перекинутыми через них небольшими деревянными мостиками. Спускаемся в низину и попадаем на большую поляну цветов. Это огоньки, которые называют еще жарками. Осеннее тепло обмануло их и они расцвели перед началом зимы.

На песчаной косе под прибрежными кустами устраиваем бивак и спешим к воде – самая пора попытаться рыбацкое счастье.

Мы расходимся в разные стороны, чтобы потом встретиться на середине косы. Зеленоватая прозрачная вода тянет к себе, я делаю первый заброс и вращаю спиннинговую катушку, подтягиваю блесну – ни рыбешки. Делаю еще несколько забросов, но тщетно. Начинает даже казаться, что это не река, а большой колодец с прозрачной водой, где рыба, как известно, не водится.

На пути попадаете омут с обратным течением, с воронками, захламленный принесенными сюда весной корягами. Из многолетних наблюдений знаю, что именно здесь можно поймать и щуку, и окуня, да и налима в таких местах обычно водится. Рыбалка осенняя. Днем тепло, а ночью прохладно. Самая пора и налиму о себе заявить. Делаю заброс и чувствую резкий удар, вижу, как натянулась леска, как пошла она в сторону, стремясь преодолеть течение реки. От неожиданности даже вздрогнул, а тут еще рыба стала показывать свой характер, но долго бороться с ней не пришлось. Щука, видно, и сама уже смирилась с поражением и скоро оказалась у моих ног.

– Вот это рыбина! – с завистливой горечью произнес друг, – а я кидаю, кидаю, и все без толку.

– Хочешь, забери ее себе. – Я показал глазами на щуку, которая прыгала на песке.

– Сам поймаю, – сердито произнес друг и отвернулся.

Я знаю, что спорить с ним бесполезно – он упрямый, будет рыбачить до последнего. Иду к месту нашей стоянки, по дороге собираю сухие ветки. Топлива маловато, поэтому стаскиваю все, что может гореть. Начинает моросить мелкий осенний дождик.

Друг уже на противоположной стороне реки: видно, где-то перешел ее вброд. Из моего укрытия прекрасно видно, как он делает один заброс за другим, как колдует со скоростью движения блесны. Когда он скрывается за поворотом, я разжигаю небольшой костер. Ветер усиливается. К дождю примешивается мелкий снег. У огня тепло, а вот на реке холод несусветный, но он для моего друга не помеха. Потом он неожиданно появляется из-за поворота с хорошей щукой в руках.

– Вот теперь все в порядке, а то обидно было.

Снимает мокрую одежду, достает из рюкзака сухую, переодевается.

Я всегда удивляюсь тому, что в его рюкзаке есть не только самое необходимое, но и то, что вдруг может неожиданно понадобиться. Мы стоим у костра, смотрим, как жадные языки пламени быстро уничтожают сухие ветки. Хорошо нам. А за нашим укрытием идет и идет большими новогодними хлопьями снег. Его не переждать. С неохотой гасим костер, закапываем его остатки и идем домой. В низине утопают в снегу огоньки. Не сговариваясь, рвем по большому букету цветов женам. Через час в промокшей одежде выходим на большую асфальтированную дорогу. Идти теперь легко: ноги не вязнут в быстро образовавшейся грязи. Вскоре нас нагоняет машина, в которой едут домой наши знакомые односельчане.

Вечером мы с женами сидим в доме друга за обеденным столом. Едим уху из щуки. Вспоминаем недавнюю рыбалку. За окном свистит, воет разыгравшаяся вьюга, а в подцветочнике стоит свежий, яркий букет огоньков.

«ВАШ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ»

Во второй половине января 1945 года четвертая отдельная кабельно-шестовая рота расположилась в удобном с массой закоулков и кладовок особнячке, почти в самом центре недавно освобожденной Варшавы. Хозяева дома бежали вместе с немцами. В кладовках и подвале пахло забытыми за время войны сушеными грибами, старым, простоявшим здесь не один год вареньем, какими-то невиданными бойцам пряностями.

Освобожденный город был разрушен. От поляков, живших в соседних домах и подвалах, бойцы знали, что враги взорвали при отступлении собор святого Яна, театр оперы и балета, сожгли библиотеки. Связисты им сочувствовали: ведь и у них дома неприятель поступал так же. Вместе со взрослыми появлялись во дворе особнячка и мальчишки. Трое из них уходить никак не хотели и устроились неподалеку в небольшом подсобном сооружении. Один из них, по имени Савелий, рассказал красноармейцам, что они были в немецком концлагере, где сдружились и стали интернациональной семьей: русский, поляк и словак. После освобождения решили некоторое время пожить у своего польского товарища, а потом пойти на фронт громить фашистов. Да вот только дом у их друга оказался разрушен, поэтому они и устроились здесь.

Заботу о мальчишках взял на себя сержант Тимофеев, которого солдаты звали «отец», и не так из-за возраста, хотя ему было сорок два года, но им – всего по двадцать, а больше потому, что окружил он их родительской заботой, которую на фронте они еще не успели забыть и жить без которой было для них непривычно.

В то время, как Тимофеев что-то рассказывал своим подопечным, неподалеку, в парке, где саперы соседней части проводили разминирование, прогремел взрыв. Потом все стихло. А часа через два к особнячку подъехал трофейный легковой автомобиль их капитана. Он сообщил, что никаких срочных дел сегодня не будет, и велел адъютанту отдать сержанту Тимофееву большой сверток.

– По пути завернул к саперам, а у них молодой конь на mine в сквере подорвался, пустили на мясо, что добру пропадать. Не забыл сержант, как в Сибири пельмени стряпают?

– Не забыл, товарищ капитан.

– Тогда за дело. Бойцы тебе помогут.

– Есть.

– Я часа через два вернусь. Как раз к пельменям.

Всю свою жизнь Тимофеев прожил в предгорьях Алтайского края. Правда, действительную службу проходил в Бурятии, но ведь и она тоже – Сибирь. Поэтому в пельменях толк знал. Еще раньше, обходя особнячок, он с удивлением для себя обнаружил немало разной посуды, которую и на доброй подводе не увезешь. Посуду, продукты солдаты не трогали: опасались возможного отравления, а вот то, что было спрятано, но вскоре найдено и проверено, стало дополнительным пайком. Нашлись и мука, и куриные яйца.

Пока солдаты резали конину, Тимофеев занялся приготовлением теста. Мальчишки ждали, когда им разрешат лепить пельмени.

Как-то еще до войны был Андрей в городе у своего родственника, там-то он и увидел, как его жена нарезала пельменные сочни из большого раскатанного почти во весь стол блина стаканом из тонкого стекла. Сочни выходили ровные, один к одному. Тимофееву вроде бы и понравилось, но дома он все равно раскатывал сочни скалкой, и были они ничем не хуже город-

ских. Вот и сейчас вместе со своими помощниками он готовил сочни двумя способами, а солдаты вместе с мальчишками лепили пельмени. Кто-то умел делать это и раньше, кто-то делал впервые.

– Вы, ребята, не торопитесь, старайтесь, чтоб красиво получалось. Вот как у Савелия. У нас, в деревне, наблюдательные бабушки говорили, что у кого пельмени получаются некрасивые, то тому и жены такие же попадают, потом и дети особой красотой не блещут. Так что старайтесь!

Солдаты и мальчишки обиженно сопели, и хоть в присказку особо не верили, но – старались, и вскоре пельмени стали ровными, один к одному. Ими был уже заставлен весь стол, большие металлические листы с пельменями стояли на стульях и даже на подоконнике. Капитан где-то задерживался. Варить начали без него, но как только поставили первые тарелки, он появился в дверях вместе с ординарцем. Положил на стол солдатскую фляжку и сказал:

– Добавка к фронтовому пайку. Ты, сержант, проследи, чтобы никто не усердствовал. Вот возьмем Берлин, тогда и расслабиться можно будет. Занятым на службе водки не давайте.

Взяв по тарелке с пельменями, капитан и его ординарец ушли в комнату ротного. Солдаты сели за стол. Тимофеев разлил водку бойцам в принесенные мальчишками хозяйские стаканы. Подросткам в такие же стаканы налил воды с разбавленным в ней вареньем. Все встали.

– Давайте, сынки, выпьем за нашу скорую победу, за наших родных, за друзей, что не дожили до дней сегодняшних, за наших жен и матерей, что в тылу помогают нам в делах ратных.

Бойцы дружно выпили. Тимофеев стоял с почти полным стаканом в руке, медлил. Солдаты принялись за пельмени. Мальчишки глядели на сержанта. Они знали, что у него болит желудок, что он воздерживается даже от положенных ста граммов. Савелий подошел к нему и попросил:

– Не добже, пан, помрешь!

– Не помру, Савелий. Обязательно дойду до самого Берлина. А за победу, за товарищей моих павших, грех не выпить!

В обычных боевых хлопотах прошло несколько месяцев. Сержант Тимофеев сидел за большим столом, уставленным рациями, телефонами, другими армейскими премудростями и писал письмо домой.

«9 мая 1945 года.

Здравствуйте, мои дорогие мама, жена Нюра, дети Коля, Шура, Нина, Тамара, Зоя и Витя! Все родные наши и односельчане!

Шлю я вам свой сердечный привет и поздравляю с победой над немецко-фашистскими захватчиками.

Я не могу описать той радости и восторга, которые охватили меня. 9 мая, в 2 часа 10 минут, я лично сам принял сообщение о нашей победе и тут же передал его своим бойцам и нашему капитану.

Коротко о своей жизни. Я жив и здоров. Скоро увидимся, и вот тогда много будет у нас разговоров и радости.

С приветом из Германии и с полной Победой – ваш Андрей Тимофеев».



Елена СПИРИДОНОВА

Елена Спиридонова родилась в 1985 году в Мамонтовском районе Алтайского края. Окончила филологический факультет Барнаульского государственного педагогического университета, затем – магистратуру по направлению «Литературное образование». В настоящее время работает в редакции районной газеты «Свет Октября» и тележурналистом на местном телевидении. Является членом районного литературного объединения «Вдохновение». В 2008 году небольшим тиражом вышел сборник стихотворений «Я слышала мелодию стиха...».

Живет в с. Мамонтово.



* * *

Я устала чего-то ждать,
Я устала на что-то надеяться.
Ну а то, что одна в кровать –
Это сущая, в общем, безделица.
И что завтрак – себе одной,
И лишь туфельки в ряд в прихожей,
Что пешком под дождем домой –
Это, в общем, безделица тоже.

Ну, подумаешь – сломан кран,
Ну, подумаешь – шкаф без дверцы...
Все безделица. Самообман.
Что мне шкаф, когда сломано...
сердце?!

* * *

Взять – и послать бы все. К чертям!
Да только... толку?!
Над нами небо пополам
И – на осколки.
Над нами – солнце впологня.
Тепло, но – мало!
Под нами твердая земля
Пружинить стала!
Взять и – послать бы... И тогда
Забывать – не вспомнить...
Да только вот с небес звезда
Летит в ладони...

* * *

Укутавшись в шлейф твоих слов,
Уйти от постылого мира,
Где танго раскрытых зонтов
Врывается в окна квартиры.

И шторы плотнее закрыть,
Чтоб осень нас тайно венчала,
И заново перекрыть
Свой день. От конца до начала.

И пусть где-то там в этот час
Залиты дождем тротуары,
В плену твоём, здесь и сейчас,
Мир сужен до грифа гитары...

* * *

Наверное, я бы писала стихи
В вагоне под стук колес...

Наверное, были б они легки,
Как мой без ответа вопрос...

Наверное, я бы смотрела в окно,
Ища свет знакомых звезд...

А ты бы, наверное, как в кино,
Касался моих волос...

* * *

Мы пили время, как глинтвейн,
Вдвоем. Из одного стакана.
Мы не хотели перемен,
Но время нас не понимало.

Тянули время, как вино,
Сухое. В залах ресторана...
Но только время все равно
Нас беспощадно обгоняло.

* * *

А весной быть иначе не может:
Запах гари. И сырость в квартире...
И навязчивой дрожью по коже
Пустота в обеснеженном мире...

А весенних хлопот вереница –
Это тоже, по сути, – искусство...
...люди жгут прошлогодние листья,
Ну а я – прошлогодние чувства...

* * *

Так хочется порой под одеяло...
Как в детстве. С головой. И замолчать...
Свернуться так, чтоб места стало мало,
И замереть. И через раз дышать...

И чтоб – как в детстве – бабушка у печки
Толклась, на завтрак что-то хлопоча,
И чтобы в доме вкусно пахло гречкой,
И тихо кот мурлыкал у плеча...

...туда порой, где фальши нет и денег,
И где себя не нужно «проявлять»,
Где можно сесть на старый синий велик
И целый день гонять-гонять-гонять...



Людмила КОЗЛОВА

Людмила Козлова родилась в г. Никольске Вологодской области. Закончила Томский государственный университет и аспирантуру. Публиковалась во многих изданиях России и за границей (Дания, США, Канада). Лауреат премий им. В.М. Шукшина, Международной литературной премии им. Сергея Михалкова, премии Алтайского края в области литературы.

Член Союза писателей России.

Живет в Бийске.



ДОМ ДЛЯ БЕЛОГО ГОРНОСТАЯ

Новелла

ДОМ ДЕТСТВА

Закрой глаза в солнечный день, когда небо ослепительно сине, а ветер свободен и весел, как Птица Феникс. Перед тобой откроется внутренний экран. И ты увидишь бело-розовое сияние – цветут яблони и черемуха. Их аромат густ, свеж и осязаем. Это аромат жизни.

Травы ярко зелены, но среди них нет-нет да мелькнет желтая звездочка – не то кандык, не то мать-и-мачеха. Там, за густым сиянием яблонь увидишь ты дом – большой, такой знакомый и красивый. Прислонись к его боку, разогретому солнцем. Помнишь этот запах леса? Лиственница – теплая и уютная. Волшебное древо, неподвластное времени. Замри, прижавшись к солнечной стене, и вечная сила жизни войдет в тебя, напитает каждую клетку. Веселее забьется сердце, легче станет дышать. Лиственница – врач. Это знают те, кто пожил в доме, сложенном из живого дерева.

Пройдет много лет, пройдет целый век, а лиственница все будет плакать смолой, будет пахнуть и лечить всех, кто живет в доме. Скрипят ступени, и просторная веранда охватывает тебя прохладой, смешанной с волнами яблоневого, черемухового, смолистого лиственничного тепла.

Так бы сесть в плетеное кресло и сидеть, глядя в сад, затаив светлую думу о счастливой и долгой жизни. С веранды почему-то становятся слышнее голоса птиц: звонко-звонко – это синица, удивленно и вопросительно – иволга, издали – дробь дятла, словно горох рассыпали.

Но дом всем своим живым существом ждет тебя. Скрипнут половицы в сенях, звякнет ведро на лавочке – и вот ты в прихожей. Одна стенка ее – это большой теплый бок русской печки, выбеленный голубой известью. Войдешь, и сразу попадаешь под защиту древнего очага. Русская печка, как и лиственничный дом – живое создание. Ее дух всегда в доме. Слышите, как пахнет пирогами?

Через проем двери, из прихожей видна кухня – на столе стоят противни со стряпней. Суетится мать, пьет чай отец. Вот и бабушка идет к столу. Они с твоей матерью как близнецы – так велико родовое сходство. Со смехом из зала выбегают твои братья и тоже садятся за стол.

Самовар поет свою песню, вкусно пахнет чаем, солнце играет в каждой чашке, на потолке скачут «зайчики». Позже всех садится за стол дед. Обеденная трапеза в разгаре, а в раскрытые окна все рвется и рвется черемухово-яблоневый дух и летняя песня птиц.

Обед закончился, все разошлись по своим делам, а ты тихонько проходишь в зал. Налево – комната деда и бабушки. Направо – родителей. Прямо – две комнаты: одна – братьев, другая – твоя. Зал, такой огромный, всегда кажется таинственным и удивительным. Много солнца на стенах, на полу. Половицы от солнца становятся янтарными, в солнечных квадратах под ногами как бы течет теплая река – движутся причудливые тени, оживает рисунок стекла.

Зал – это место, где живут все предки – вот фотографии тетюшек, сестер матери – все удивительно похожи друг на друга, портреты прабабушки и прадедушки по линии матери, фотографии деда и бабушки по линии отца, его братья, сестры, племянницы. Их так много и все они обитают в этом большом солнечном зале. И ты явственно ощущаешь их присутствие.

Родной дом – это хранитель целого рода. Таким он и должен быть. В комнате деда и бабушки всегда почему-то тихо и, кажется, что время остановило бег. В их комнате всегда хочется спать, и как-то сразу понимаешь, что каждый человек имеет свои координаты, и время для каждого течет по-своему.

У родителей наоборот – торопливо тикают ходики, словно подгоняя куда-то, напоминая о заботах дня. Братья, как всегда, живым вихрем перемешали все в своей комнате и исчезли в недрах солнечного дня. Их голоса доносятся в открытые окна – братья уже на реке, то ли купаются, то ли неводом ловят рыбу.

Каждого помнит большой живой дом, каждому есть в нем свое место – обжитое собственное пространство.

Там, где кончается сад, с другой стороны дома, растут березы – их висячие тонкие ветви заглядывают прямо в окна, словно лаская и обнимая дом. Прислушайся – много услышишь ты в шелесте новеньких листьев, в тихом говоре берез.

Они рассказывают, как течет весенний сок под корой, как хочется жить, цвести и расти. Они расскажут, как в летнюю лунную ночь поет соловей, словно рассыпая хрусталь Луны и вновь собирая его в причудливые орнаменты. Как пахнет дикими пионами ветер, прилетающий с гор на рассвете, как шумит большая июньская вода взбунтовавшейся реки.

Мне кажется, в таком доме будешь жить вечно и никогда не умрешь.

Это дом моего детства.

А ЧТО СЕЙЧАС...

1

В тот самый момент, когда пишутся эти строки, нахожусь я у родителей – в доме, который считаю своим родным, единственным. Именно здесь, чувствую себя «дома» – на родине. Такое чувство не посещает меня больше нигде. Здесь я защищена со всех сторон. И вот ведь какая штука: умом понимаю, что мои старики, которым скоро стукнет девяносто – каждому, они мне уже давно не защита. Теперь наоборот – я защищаю их. Но... все равно что-то оберегает меня в этих стенах. Здесь мне надежно и спокойно, хотя это «что-то» – всего лишь образ родного дома. Значит, все дело – в мыслях,

в том образе, который человек нарисовал себе сам. То есть, человека охраняет вера в «защитника», будь то Бог или родное жилище.

Защитник мой, старый большой дом, сложенный из лиственничных бревен. Дому без малого сто лет. Выстроил его в начале двадцатого века крепкий хозяин. Видно это по всему: по качеству материала – толстые многолетние лиственницы, по размеру кладовки – большое помещение, не уступающее по площади комнатам жилым, сени – такие же просторные, потолки высокие, вместительный чердак, где можно хранить старые вещи, березовые веники, да мало ли что еще! Вблизи от дома, где сейчас находится огород, стояли конюшни. Там почва до сих пор – сухой компост – хоть загружай в мешки и раздавай садоводам. Видимо, лошадей было много. Хозяин, скорее всего, занимался перевозкой товаров, то есть торговлей. Так что дом пережил многое – и времена купечества, и военное суровое время, и сталинскую эпоху, и социализм, и вот добрался до новых времен.

Лиственница потемнела, прокопτιлась дымом, выплакалась смолой от солнца, состарилась от дождей и ветров. Кое-где дятел выдолбил канавки на бревнах, где-то образовались трещины, но все-таки дом стоит. И еще долго стоять будет.

Дом из лиственницы – живое существо. Вечером остывать начинает, кряхтит, как старый дед. То в одном углу охнет, то в другом.

В дождь – говорлив, в ветреную погоду – певуч, в снегопад – задумчив. В зной в доме прохладно. Зимой хорошо сохраняется тепло. В общем, тот, кто его построил, знал, что делал.

Окна когда-то были украшены ставнями, которые состояли из общей рамы и вставных глазков квадратной формы, в виде плоской усеченной пирамиды. Закрывались навстречу друг другу на металлический крючок. Наличники окон вверху имели кружевной кокошник, по которому пущен узор из пропиловочной резьбы. Но резьба не плоская – фанерная, а объемная – узоры выпиливались из толстой доски и обрабатывались то ли стамеской, то ли ножом. Это были стилизованные диковинные птицы, устремленные навстречу друг другу. За наличниками всегда жили голуби, разговаривали друг с другом, шуршали там, попискивали о чем-то своем.

Сейчас ставни остались только на одном окне, узоры – только на двух наличниках – все старится и портится вместе с домом. Не стареют только голуби – у них всегда подрастает потомство.

Крыша когда-то была деревянной, сверху лежал слой рубероида. Потом рубероид убрали, и теперь дом крыт шифером. Это более долговечный материал, но и он со временем стареет. В нескольких местах шифер уже пошел волнами – пластины не так плотно прилегают друг к другу. Одно из таких мест облюбовал кот. Чтобы попасть в дом, он влезает по лестнице на крышу веранды, пробирается под шифер в образовавшуюся дыру и попадает на чердак. Оттуда спрыгивает в сени, начинает проситься в дом – особенно громко у него получается зимой, в тепло хочется. Летом дверь чаще всего открыта, и коту остается только войти. Дальше следует такой разговор:

– Я уже здесь, скорее кормите меня, – сообщает кот, настойчиво подавая голос.

Раньше, несколько лет назад, в доме жил черный кот Мурик – здоровенный, толстый, зеленоглазый красавец. Так он тоже попадал в дом этим же чердачным путем, но с одним отличием – Мурик сам открывал входную дверь, цепляясь когтями за обшивку. Приходил домой обычно ночью. Открыть-то дверь, он открывал, но вот закрыть за собой – не догадывал-

ся. Оставалась щель между дверью и косяком. Ночью все спали, и дом до утра выстывал. Пришлось людям приспособливаться к привычкам Мурика – быть настороже, вставать, когда он входил ночью, и закрывать дверь за господином котом. Закрывать дверь на крючок ни у кого не хватало духу – тогда Мурику пришлось бы оставаться на морозе до утра.

Серый полосатый, который сейчас живет в доме, пока еще не догадался открывать дверь самостоятельно, так что ему приходится громко мяукать, заявляя о себе.

Когда Мурик был жив, в доме стояла большая русская печь с камельком. Печку сложил лет сорок назад хороший, умелый печник, которого все звали – Лукич. Большая лежанка, объемистая духовка с кирпичным подом, а ниже – камелек с металлической плитой. Лукич сложил печь и сказал:

– Изладил на совесть, лет на двадцать хватит. Топите, на здоровье!

Печь верой и правдой прослужила сорок лет – до тех пор, пока кирпичи не стали разваливаться. Износились кирпичи, трескаться стали, кусками отваливались и падали в дымоходы. Пришлось печь перекладывать, и от прежней красоты не осталось и следа. Печников-мастеров в селе не стало. А те, кто мог печь сложить, специализировались на самых простых вариантах – топка с плитой, дымоходы и труба. Так что лежанка, на которой любил спать Мурик, исчезла. И кот сразу после этого исчез – ушел на ночные гуляния и не вернулся, как в воду канул. Словно носил в себе Дух той русской печки. Пропала печь, и Мурику в доме нечего делать стало.

Долго ждали кота – бывало, он и раньше уходил и не являлся домой дня по три. Но прошла неделя, две, месяц, а Мурик так и не вернулся. Пришлось брать в дом котенка. Привезла я его из города – одна знакомая предложила. Говорит: «Бери вот этого, он самый толстый и ест больше всех». Ну, я и взяла. Принесла его в квартиру, стала кормить, а он ничего не ест – ни мяса, ни молока.

– Ну, ясно! Значит, кормили несчастного каким-нибудь «китикэтом».

Присмотрелась, а у него ножки кривенькие, тонкие, брюшко круглое, большое – все признаки рахита. Поняла – надо срочно увозить малыша в деревню, откармливать деревенской едой. Поместила в картонную коробку, прорезала сверху дырку для головы, и – на автобус. Котенок голову в дырку просунул – одни глаза и уши. Мяукает жалобно, словно выговаривает: «Что вы со мной такое делаете? Зачем в коробку затолкали? Куда везете? Ай, ай!»

Привезла к родителям, выпустила из коробки. Он стоит на тонких ножках, дрожит, качается. Мяучит истошно – понять не может, куда попал: то ли здесь безопасно, то ли пора прятаться подальше. Молоко деревенское, мясо есть отказался. Значит, и правда, «китикэтом» кормили, отбили вкус к нормальной еде. Я расстроилась – чем же кормить его? Два дня уже ничего не ел, погибнет несчастный. Побегала на реку, поставила корчажку. Через два часа принесла несколько рыбешек. На живую рыбу котенок набросился с жадностью, словно ждал, когда же, наконец, люди догадаются дать ему то, что нужно. Недельку питался сырой рыбой безотказно, потом капризничать начал. Я поняла – пришла пора рыбу варить. Вареную рыбу котенок ел все лето, пока был улов. Потом я попробовала дать ему молоко, яйца, мясо. И, о чудо! Повзрослевший и возмужавший, избавившийся от рахита, он стал есть все подряд. Моей радости не было предела.

Однажды мать рассказала, что видела во сне нашего черного потерявшегося Мурика. Пришел Мурик в дом, увидел нового жильца и, вроде, дово-

лен им остался. Махнул хвостом и ушел, сказав на прощание по-кошачьи: «Ладно, согласен. Пусть живет здесь этот полосатик».

А я рассудила так: душа Мурика теперь в нашем полосатом обитает. И с тех пор обращаюсь к нему только по имени «Мурик».

Сейчас к дому с восточной стороны пристроена веранда, крыльцо выходит в сторону улицы. Но мне нравилось, когда вход в дом был с западной стены. Там тоже была пристройка – небольшая, но по уровню пола намного выше от земли. Крыльцо высокое, с перилами – как в настоящем купеческом доме. Я любила сидеть на верхней ступеньке, смотреть на далекие синие горы – тогда вокруг усадьбы еще не росли старые огромные ветлы и тополя. Сейчас деревья заслоняют почти весь горизонт. Горы видны лишь в промежутках ветвей. С одной стороны, деревья заслоняют дом от холодных ветров, а с другой – не дают глазу простора, закрывают любимые горы, вид которых так успокаивает душу.

За деревьями, в двух шагах – река. Вернее, речушка – узенькая, быстрая, говорливая. Летом, в самое знойное время, она превращается почти в ручей. В последние годы – особенно. Воды в ней все меньше. Похоже, с изменением климата, эта речка детства моего, и совсем исчезнет. А жаль. Я помню, как мы купались в ней с братьями – здесь были даже омуты, где дно достать удавалось не всякому. Только те, кто постарше, ныряли и поднимали гальку наверх в доказательство своего подвига.

Однажды младший брат Сашка, которому тогда исполнилось всего четыре года, пошел за нами следом на берег. Я строго-настрого приказала ему сидеть на травке и в воду не лезть. Сама нырнула с берега, поплыла. Оглянулась, а Сашки нет. Закричала: «Сашка утонул!». Хорошо, рядом взрослый парень проходил. Нырнул он в воду, поймал мальчонку за рубашку и вытащил на берег. Нам повезло – Сашка даже не успел воды нахлебаться. А ведь мог и утонуть. Но испугался он сильно, воды с тех пор боялся.

Маленькая речушка по имени Солонювка впадает в другую, большую реку Песчаную. Место их соединения в ста метрах от дома. Вот там, в устье реки Солонювки, всегда водой вымывает огромную яму. Это настоящий омут. Никогда не рисковали мы купаться в нем, опасаясь холодных подводных потоков. Их там много – река Песчаная сплошь питается водой подземных ключей, потому – ледяная. Попадешь в такую струю – судорога схватит, и все!

Родители, чтобы внушить детям чувство опасности, рассказывали страшилки о змеях, которые заплывают в Песчаную, о русалках, которые якобы живут в омутах и затаскивают людей в свои владения – на дно. Реальной опасностью были и обитатели речных заводей, где скапливались большие массы ила, тины. Мы не раз своими глазами видели, как в спокойной воде с тинистого дна поднимались к поверхности клубки «живого волоса» – это паразит, который может впиваться под кожу животных и человека. От этого паразита пострадал мой соклассник – Федя Евдокимов, дальний родственник знаменитого Михаила Евдокимова. Он и не заметил, как «живой волос» оказался под кожей левой руки. В заводях же водилась мелкая плоская рыбешка «доска», имевшая костяные выросты на мордочке. Этими «зубами» она могла довольно чувствительно укусить за палец. Ходили легенды о страшной рыбке по имени «семидырка», которая присасывается к ногам человека и пьет кровь, а он даже и не чувствует этого, пока не ослабеет совсем.

Но... несмотря на страшилки, дети все лето не вылезали из реки. И сейчас, когда вода в Солонювке стала мутной, опасной для купания, дети все равно здесь целыми часами сидят в реке.

На огороде засеяна травой примерно одна треть площади – как раз то место, где были конюшни. Трава называется «костер» – красивая, серебристо-зеленая. Когда она цветет, выбрасывает метелку микроскопических желтых цветочков. Может быть, это и не метелка, а что-то иное. Но висит это создание, похожее на серебристо-желтый фонтанчик, источает облачко пыльцы, покачивается на ветру, доказывая, что все в природе устроено сложно и красиво.

На оставшейся площади размещается картошка, украшенная белоснежными соцветиями, помидоры, привязанные к палкам, лук, чеснок, клубника садовая и прочее.

Двор возле дома занимает большую площадь – это поляна, заросшая муравой, лопухами и крапивой по обочинам. Во дворе построены несколько сараев – для дров, угля, для кур и прочей живности. Но прочей живности давно уже нет – старикам все это не по силам. В отдалении стоит еще крепкий коровник, но он также пуст – коровы проданы в хорошие руки.

Напротив южных окон дома располагается сарай, где хранятся инструменты, садовый инвентарь, а в другой его половине – дрова и оставшийся от пасеки реквизит, типа рамок для ульев, роевни, дымаря и прочего подобного.

За этим длинным сараем – кусочек леса: несколько сосен, берез, большая ель. Все это посадил мой брат Сашка двадцать лет назад, словно знал, что оставит деревья нам – на память о себе.

В ветвях сосен и густой огромной ели постоянно обитают птицы. Видела я там и синиц, и дятла, и сорок, и ворон. И сова прилетала, иволга гостила, кукушка куковала. Но самые многочисленные – это воробьи. Они с утра до ночи прыгают по ветвям, перелетают с места на место, переговариваются друг с другом, ссорятся.

Когда солнце садится, и малиновый свет заката окрашивает деревья огненными тонами, воробьи становятся розовыми, а их крылья в полете – похожими на крылья невиданной маленькой жар-птицы.

2

Несколько лет назад погиб мой сын, мой единственный, лучезарный мальчик, душа моя, боль моя. Было ему всего двадцать семь. Я не знала, смогу ли жить дальше одна на белом свете, без моего сыночка. Но после странной мистической истории, произошедшей на девятый день его ухода, поняла – пока жива я, жива память о моем сыне. Я просто обязана жить, рассказать о нем – оставить книги и стихи в память о судьбе, короткой, яркой, трагической, вобравшей в себя судьбу целого поколения молодых, взрослых в 90-е годы двадцатого века.

А история такова. После похорон сына я сидела в доме, в этом самом доме, где нахожусь сейчас, не в силах осознать произошедшего, не зная, что делать дальше. Сидела уже пятый день. Через сутки, на девятый день, были приглашены друзья сына, соседи – на поминки. И вот в ночь с восьмого на девятый день я увидела сон.

Вижу какое-то светлое пространство, свет. А из этого света, откуда-то издалека, мой сын кричит мне:

– Мама, здесь – папа!

Проснулась рано-рано, а на ветвях огромной ели под окном сидят две вороны: одна – большая, другая – поменьше. И смотрят прямо в окна, словно зовут меня.

Подошла к окну, они меня увидели, и как будто рады мне. Перепрыгнули несколько раз с ветки на ветку, посмотрели в мою сторону и улетели.

Тут я вспомнила, что отец моего сына не знает о смерти ребенка. С отцом мы давно расстались – десять лет назад, и я не представляла, где он сейчас живет. Стала звонить его родне, сестрам, братьям. Наконец мне сообщили телефон его младшей сестры Татьяны, сказали, что муж мой бывший в последнее время у нее обитал. Возможно, и сейчас там. Дозвонилась. И что же я узнала! Оказывается, ровно месяц назад его не стало.

А ведь сын как раз месяц назад вспомнил об отце, собирался искать его. И вот ведь где нашел! Получается, почувствовал он, что отца не стало, и ушел за ним. Значит, это они вдвоем прилетали ко мне в образе птиц – попрощаться. И сын во сне первый сообщил мне о смерти отца.

Я поняла, что сын дал знак – мол, мама, кроме тебя некому исполнить все, что я не успел, ты должна жить и работать за троих. И я стараюсь, ибо это свято. Обо всем должна рассказать – больше некому. Если не я – кто?

3

Дом, как и я, помнит тех, кто ушел навсегда. Остались фотографии, остался дух живой. И все это хранит дом и еще одна вещь. История этой вещи удивительна и, в то же время, обычна для революционного двадцатого века.

Когда-то, в послевоенные времена, была закрыта церковь в нашем селе. Иконы, которые поменьше, разобрали люди, служители церкви, кто смог уцелеть в те времена. А самая большая, сделанная из цельной доски, икона Божьей Матери, осталась бесхозной. Прибрал ее и приспособил «для дела» завхоз местной школы – не долго думая, покрасил Образ черной краской. Вернее, закрасил. Приделал жестяные ушки и вывесил в виде школьной доски в одном из классов. Долго служила икона в этой роли – до тех пор, пока начальство из района не заметило одной «крамольной» детали. К весне, когда черный слой краски стирался от мела, на доске проступали глаза – это смотрела с иконы Матерь Божия. Доску приказано было убрать. Отец мой, работавший в школе учителем, выпросил у завхоза бывшую икону. Принес в дом, пытался смыть черную краску, но это не удалось – смывалось все – и старые краски тоже. Пытался как-то по-своему реставрировать Образ, но, во-первых, он не умел делать этого, во-вторых, и материалов необходимых не было. Подумал-подумал, почистил поверхность шкуркой да и нарисовал поверху орнамент, а потом приспособил деревянную вещь для крышки стола. Стол был слишком велик для небольших комнат, и углы его пришлось закруглить.

Стол этот до сих пор стоит в горнице в почетном углу между двух окон. Икона, я думаю, ничуть не утратила своей силы, а наоборот – укрепилась от испытаний. Вот она-то, Матерь Божия, и хранит дом моих родителей, их самих и меня от худшей доли: мы живы, дом жив – что еще нужно человеку в этом мире!

Может быть, поэтому я так люблю Образ Божьей Матери, считаю ее своей покровительницей – знаю, что помогает она мне во всем. Помогает и тем, кто ушел из нашего дома навсегда. Я это чувствую.

Судьба каждого человека, на первый взгляд, кажется простой, похожей на многие. Но на самом деле нет ни одной, похожей на другую. Каждая – уникальна, неповторима.

Так же уникальна и судьба иконы, которая находится в нашем доме. Она удивительно точно повторяет судьбу страны, всего народа, веры православной. Война, – первая мировая, революция, гражданская война, война против религии, разрушение храмов и святынь, а народу – страдания, испытания огнем и мечом. Но народ жив и доныне, и вера возвращается, может быть,

благодаря тому, что храмы и иконы также несли тяжкую долю испытаний. Они страдали вместе с народом, возможно, принимая часть горя на себя и облегчая тем самым участь людей.

Не знаю, смогли бы хорошие специалисты восстановить тот Образ, который изначально был на иконе, но, думаю, это не имеет большого значения. Даже если краски смыты или снят слой дерева, пропитанный ими, все равно Образ остался, ибо дерево – живой носитель информации, тем более такой информации. Пока жив носитель, до тех пор жив и Образ.

Когда-то давно – лет двадцать назад, раздумывая о судьбе иконы нашей, я написала «Поэму о древе». За эту поэму присуждена была мне литературная премия им. В.М. Шукшина. Сейчас написала бы я это иначе, но исправлять что-то в том, прежнем тексте не берусь. Написала, как видела тогда, как чувствовала.

Вот назвала икону «нашей» и задумалась – а так ли оно?

Наверное, так. Ведь если бы отец не выпросил ее у завхоза, осталась бы она в старом складе на какое-то время, а потом, скорее всего, – на свалку или в огонь. И никто уже не знал бы об этом Образе. Раз икона пришла в наш дом, значит, так было предопределено. Значит – наша. И она именно пришла туда, где должна была остаться в сохранности – в сухом, теплом месте, не нагруженная какими-то темными обязанностями, ведь стол не используется для трапезы, на нем не разделявают мясо или овощи. Этот стол просто стоит в углу между окнами. На нем находится небольшая электропечь и телефон. Электропечь при надобности выпечки булочек или пирогов переносится на комод – к розетке. В другое время она просто стоит на столе. Иногда, в летнюю пору, там появляются букеты цветов.

Искусственные цветы, которые я покупаю осенью, чтобы украсить на зиму могилы сына и брата, тоже дня три стоят на столе – освящаются Образом Божьей Матери. Так я уношу частицу ее благодати сыну и брату – в помощь им в дальнем пути в ином мире, где они странствуют теперь.

Хорошо бы знать, из какого дерева сделана основа иконы. Можно лишь предположить, что выбор мастера упал на самые долговечные породы – лиственницы или кедра.

Если бы в селе построили церковь или реставрировали старое деревянное здание, можно было бы вернуть икону в храм. Но поскольку образа не видно, а форма деревянной основы – круглая, я думаю, меня не поняли бы. Может быть, не поверили бы в Образ. А жаль. Икона после таких испытаний, которые выпали на ее долю, стала Чудотворной. Знаю это по исполнению просьб моих к ней: все исполняется!

Я долго пыталась представить себе Образ, каким он был первоначально. Конечно, в нем должны отражаться стандарты, которые существуют в иконописи. Но все равно каждый Образ индивидуален, имеет свои особенности. И вот однажды, случайно или неслучайно, я увидела на берегу серый камень в форме яйца. Подняла, повертела и вдруг увидела, что на одной его стороне темными линиями природа создала рисунок. Принесла камень домой, помыла, и на мокрой поверхности уже совершенно четко стал виден Образ Божьей Матери.

– Вот это да! – удивилась я. – Может быть, это материализовалась моя мысль? Похоже, так выглядела икона, скрытая временем от людей.

Образ на камне вписывался в эллипс, вытянутый вертикально – молодая, красивая, с длинными густыми ресницами Мать Божия. Сын Божий, младенец, которого держала на руках, был похож на нее. Очень красивая икона.

Насколько она близка той, что находилась в нашем доме, конечно, сказать трудно. Но мне бы хотелось, чтобы сокрытая теперь от глаз людских, она была именно такой.

Если задуматься, то сокрытие Образа – событие не случайное. Стала икона не нужна людям, бросили они Образ, храм закрыли. Вот и скрылся лик Божьей Матери от людей. А является она тем, кто помнит о ней. И является такой, какой ее видит человек. Таинство Божие велико есть.

4

Есть еще один волшебный знак в нашем доме – с некоторых пор в нем поселился горностай. Но узнала я об этом спустя несколько лет. И в течение этих лет для меня в доме было много загадок. Чтобы понятнее объяснить, расскажу все по порядку. Например, начну вот с этого случая.

Поздно вечером, когда родители уже давно видели десятый сон, я выключила телевизор и приготовилась на отдых. За окном сияли огромные ночные светила – то ли часть Млечного Пути, то ли соседи по Солнечной системе, а то ли вид ближней галактики – в такой чистой атмосфере, какая бывает зимой в предгорьях, небо усыпано звездами. Тишина была почти осязаема – казалось, потрогать можно.

Только-только угнездилась под одеялом, слышу – по потолку, то есть по чердаку, кто-то ходит. Слышно хорошо, потому что хранилась там кукуруза – початки насыпаны навалом, слоя в три. Кормили этим лакомством и кур, и чушек. В вареном виде кукурузу даже собаки ели. И вот эти початки гремят, перекатываются – словом, ходит кто-то по ним.

Любопытно мне стало – кто же это? Кот мышей ловит? Но ведь заставить нашего Мурика ловить мышей на морозе невозможно. Он и в теплом месте ленится делать это – в доме. А уж на чердаке – тем более. Если бы кот взобрался на чердак, то через минуту спрыгнул бы и стал в тепло проситься.

«Ладно, – думаю. – Подожду. Если это кот, то сейчас уже и спрыгнет, и в дверь ломиться начнет».

Но прошло пять, десять, двадцать минут, а хождение по чердаку продолжается – так и перекатываются початки. Не выдержала я, оделась и вышла в сени.

– Мурик, – зову кота. – Где ты, прыгай сюда.

В ответ – молчание. И початки уже не гремят. Я еще раз позвала Мурика – тишина. Если бы чужой кот оказался на нашем чердаке, он бы кинулся убежать, а тут – ничего. Если и есть там кто-то, он не боится меня, не убегает – просто затих, притаился и ждет, когда я уйду.

– Ладно, – говорю. – Посмотрим, что будет дальше.

Вернулась в дом. Через пять минут – опять хождение началось. Вышла в сени – тишина. Хорошо кто-то в прятки со мной играет. Так и не поняла, кто же?

Еще одна ночная загадка. Стал кто-то взбираться на чердак по наружному углу дома. Я снова на Мурика это списывала. Только не понятно, почему он по лестнице не забирается – он ведь именно там облюбовал место подъема. Влезал по лестнице на веранду, а там в одном месте шифер приподнялся, и образовался очень удобный лаз – размером как раз для кота.

А вот при подъеме по углу на чердак проникнуть можно было только через узкую, слишком узкую для кота щель. Не понятно, как ему удастся в нее протиснуться. Да и зачем это делать, если есть знакомый, более удобный путь?

«Может быть, лестница обледенела, и по ней трудно лазить нашему Мурику?» – предположила я.

Утром посмотрела, но лестница оказалась сухой и чистой. Упрекнуть Мурика в глупости я не могла – много раз показывал он свою сообразительность. Интеллектом природа не обидела нашего кота.

– Странно все это, – думала я. – Если это чужой кот или кошка по углу ночами лазают, то стоило их спугнуть, они бы и обратно тем же путем убежать стали. Но ведь не пугаются. Что-то слишком смелые коты пошли! И если лезут в чужой дом, значит, голодные. Но тогда, как они могут не поохотиться за голубями, ведь от угла до наличника окна – просто лапой подать, только протянуть и когти выпустить. И вот она – добыча!

И эту загадку мне разгадать долгое время не удавалось.

Кто-то стал громыхать в сенях ночами – то ведро загремит, то бутылочка с полки упадет, то сито вдруг с ящика скатится. Выглянешь в сени – никого. Тишина. Я уже стала подумывать, что домовый у нас завелся. Или барабашка – полтергейст. Тем более что дом-то старый – в таких домах домовому самое место. Но все-таки... происходят-то материальные передвижения вещей. Значит, и двигает их кто-то материальный. Хотя... кто его знает, этого домового! Ведь был же такой случай с коровами, который в народе приписывают именно домовому. А дело было так.

Жили у нас тогда, лет десять назад, две коровы. Одна – пожилая, спокойная, которая досталась нам уже взрослой – купили у односельчан. Имя у коровы было редкое – Доча. Вторая – Майка, молодая телочка. Когда я уезжала в город, а было это часто, я тогда еще работала, отцу приходилось ухаживать за коровами, кормить их и доить.

И вот однажды приехала я на выходные к родителям. Просыпаюсь утром, а отец говорит:

– Хочешь чудо посмотреть? Пошли в коровник.

– Что же чудесного в коровнике увидеть можно? Лепешку коровью с жемчужиной посередине? – засмеялась я.

– Увидишь, – говорит отец и улыбается.

Ну, пошли в коровник. Все там, как обычно. Сено в сеннике тюками лежит, снегом припорошено. Майка в загончике стоит, сено поедает. Доча в коровнике – тоже едой занята.

– И что? – спрашиваю. – Где твое чудо.

– А вот смотри, – говорит отец. – Смотри, какой хвост наша Доча приобрела.

Я гляжу – мать честная! Хвост у Дочи сверху донизу расчесан на пробор, как у девицы-красы волосы: направо – налево, направо – налево. И пробор выведен до самой кисточки на конце хвоста. А кисточка заплетена в косичку – такую, состоящую из многих прядей, как некоторые мастера в селе умеют бич изготовить.

– Да, – говорю. – Действительно, чудо! А не ты ли сам это сделал? Ведь, чтобы так хвост расчесать, нужен мелкий гребешок. А заплести такую косичку только умелыми руками можно.

– Нет, – говорит отец. – Я пришел в коровник, чтобы сена накидать в кормушки, открыл дверь. Доча как раз к двери хвостом стояла. Смотрю – а хвост-то прямо произведение искусства. Это что, я в четыре утра встать должен был и часа два заниматься этой «прической»? Я и косичку такую никогда заплести не смогу.

– Я пошутила, – говорю. – Вижу – непонятное что-то. Но люди рассказывали, я слышала о таких случаях. Говорят, это делает домовый, когда хозяин дома ему нравится. Значит, ты ему понравился, вот он и показался.

Отец рассмеялся – он не верил в домовых. Они с матерью всегда были атеистами.

– Ну, вот, что хочешь думай, а факт – налицо, – сказал он. – Правда, я другое слышал. Люди говорят, что хвосты коровам расчесывает ласка. Но, глядя на «прическу» Дочи, трудно поверить, что это сделало животное. Легче согласиться на домового.

Зимой, когда мыши и крысы стараются поселиться в теплые места, ближе к обитанию человека, а по возможности и в жилище, появляются их норы в погребках, в подполье. И вот с некоторых пор из подполья как раз стали доноситься звуки борьбы – крысы пищали так, как будто кто-то на них напал. Это было необычно, так как раньше ничего подобного не наблюдалось. Кот наш не хотел охотиться даже на мышей, не говоря уже о крысах. В подполье никогда не лазил, хотя дырка для этой цели имелась. Что же за война шла там, в темноте, где хранилась картошка да соленья?

Все эти вопросы я задавала себе, но ответов на них пока не находилось. Так – поудивляюсь и забуду. Мало ли других забот, более важных!

Однажды летом увидела на секунду какого-то странного зверька – хорек – не хорек, норка – не норка. Шкурка рыжевато-коричневая, тело удлиненное, юркий до невозможности. Мелькнул перед глазами, и нет его, как и не было. Тогда я не поняла, что это за зверек. Видела его недалеко от курятника. Подумала – если хорек, то курам не поздоровится.

Но прошел месяц, другой – куры все в целостности и сохранности, яйца несут исправно. Значит, это был не хорек. Но кто же? Может быть, не рассмотрела я, и крысу перепутала с другими, похожими на нее непрошеными гостями. Все могло быть – крыс я видела несколько раз в жизни, а хорька, норку, ласку – вообще только в фильмах о животном мире.

В то время я никаким образом не связала загадки, которые жили в доме, с этим зверьком, мелькнувшим на одну секунду перед глазами. В первую очередь потому, что встреча состоялась на улице. Улица – это улица, а дом – это дом.

В тот же год, уже зимой, подхожу я к дому, поворачиваю за угол и вижу – сидит на крыльце возле полуоткрытой двери белоснежный зверек. Тело удлиненное, гибкое. Черные у него только глаза и нос, да еще – кончик хвоста. Тут уже ошибки быть не могло. Конечно, на крыльце сидел горноста́й. Увидел меня и молниеносно юркнул в дверь, скрылся где-то на веранде.

– Так вот кто живет с нами в доме! – воскликнула я. – Теперь понятно, что это за «полтергейст» и «домовой». Вот кто лазит по углу на чердак и ведет войну с мышами и крысами! Спасибо, друг мой, что показался. Какой же ты красавец!

Горноста́й и в самом деле очень красив – просто королевский зверек! Зимой он белоснежен, а летом – рыжеват. И то, что показался мне во всей красе, было, конечно, самым добрым, волшебным знаком. Горноста́й сказал мне, мол, видишь – это я защищаю твой дом, и поэтому все будет хорошо, все закончится добром.

Так и ношу я в душе образ белоснежного защитника – перед глазами картинка: сугробы, крыльцо родного дома, а на нем сторожит вход белый горноста́й.

5

Кот Мурик тоже вносит свою лепту в образ дома. Без него этот образ неполон. Пусть и мелочь – присутствие кота, но когда его нет, явственно чего-то не хватает. Даже если кот убежал по своим делам, а уходит он довольно далеко, все равно образуется некая пустота. Не говорю уже о таких моментах, когда животное уходило и не возвращалось совсем. Когда подобное случалось, дом в буквальном смысле сиротел. Все невольно прислушивались – а не загремит ли Мурик чем-нибудь на чердаке, не спрыгнет ли в сени, не подаст ли голоса? Ждали долго, но месяца через два становилось ясно – пропал кот. Тогда брали котенка в дом. Куда пропали несколько котов (а это, действительно, случилось за долгую жизнь нашего дома), неизвестно. Скорее всего, виноваты в этом собаки. Собак в селе много – несколько штук в каждом дворе. Есть здоровенные – помесь дворняги с овчаркой или лайкой, либо с другой крупной породой. С кошками у них войны как таковой нет. Но если увидят бегущего кота, никогда не откажут себе в удовольствии погнаться за ним. Чаще всего кошки спасаются на деревьях или столбах, но бывает, что все это кончается плохо. Азарт погони, мертвая хватка, и... нет кота.

Однажды Мурик вернулся домой с длительной прогулки какой-то вялый, есть отказался, я понять не могла, в чем же дело. Потом присмотрелась, а одна щека у нашего гуляки раза в три толще другой.

– Мурик, кто же тебя так? – спрашиваю.

– Мур, – говорит больной.

– Пчела укусила или шмель, а может быть, оса?

– Мур, – отвечает любитель дальних прогулок.

– Да, пожалуй, от тебя ничего добиться не удастся, – говорю я. – Посмотрим поближе.

Вижу след от укуса. Но след явно не пчелиный – вроде как от зуба.

– Мурик, собака тебя цапнула, так ведь?

– Мур, – говорит укушенный.

– Ладно. Радуйся, что жив остался.

– Мур, – согласился кот.

Щека через три дня похудела, и Мурик снова охотно поедал все, что ему предлагали на завтрак, обед и ужин. А после этого занимался своим любимым делом – спал, вытянувшись на диване, без задних ног. Спал, чуть ли не сутки, а потом, плотно покушав, снова отправлялся в длительный круиз.

Еще одна достопримечательность нашего дома, вернее, нашего двора – поющий петух. Кто-то скажет: «Подумаешь, достопримечательность! Все петухи поют».

Все поют «Ку-ка-ре-ку». Этим, конечно, никого не удивишь. Наш петух тоже так может – горло драть. Да и делает это часто – по сто раз на день.

Но умеет он и другое. Вот берет одну ноту, и таким свиристящим голосом ведет ее вверх. Высоко-высоко выводит, долго-долго тянет. Куда там канарейке какой-нибудь! И любит он петь просто до самозабвения. Много у нас петухов перебывало за всю-то жизнь, но такого артиста не случилось.

Попробовала я как-то подражать нашему певцу. Взял он ноту и, ну, выводить вверх. А я в тон ему тоже ноту повела на верхний регистр. Петуху это страшно понравилось. Он остановился, а потом давай мне в тон подстраиваться. Так мы и пели с ним вдвоем нашу летнюю песню. Петух поет, вид у него задумчивый – нравится ему себя и меня слушать.

С тех пор мы полюбили петь дуэтом. Хорошо получается. Споешь эту мелодию, изобретенную нашим композитором – петушком, и, поверите ли, жизнь намного краше кажется.

А уж сам-то певец – красавец, слов нет! Гребень махровый, узористый, грудь – желто-оранжевая, яркая, переливается серебром-золотом. Крылья – красно-коричневые, с темными крапинами. Хвост – всех цветов радуги, и тоже – переливчатый. Лапы крупные, желтые, коготки на них длинные, матовые. И шпоры в стороны торчат. Не петух – произведение искусства.

Да и умный петушок наш – все понимает. Еще мне нравится его заботливость. Найдет крошку – ни за что сам не съест. Всех кур созовет, всем эту крошку покажет – поднимет клювом, бросит. Пока курица-девица какая-нибудь не склюет ее. Хороший обычай у петуха!

Вот собаки, кажется, намного умнее кур, но что касается еды!.. Ухажер мужского пола не даст кому-либо подойти к своей невесте, а вот еду у нее отберет и съест – ничего не оставит. Как люди некоторые... Очень похоже!

Что я люблю еще здесь, где стоит дом родной, где прошло, пробежало, пролетело, прошумело детство мое? Так это – цветные вечера. Писала уже о них, но считаю – недостаточно.

Нигде не видела ничего подобного. Возможно, это особенность предгорий. А возможно, уникальное явление только данной местности. С чем это связано? Может быть, эффект цветных вечеров возникает из-за того, что склоны гор отражают и преломляют свет заката. Случаются цветные вечера не так часто, но и не очень редко.

Всего я насчитала семь главных цветов, семь главных вечерних красок: сиреневый вечер, оранжевый, желтый, ясный голубоватый – в основном, после дождя с радугой, малиновый, розовый, дымчато-опаловый, почти жемчужный. Каждый неповторим, каждый имеет свое настроение. Все эти цвета воспроизводятся как летом, так и зимой. Но желтые, розовые и дымчато-опаловые вечера все-таки чаще случаются зимой.

Как же это происходит? А вот так: вдруг, на закате солнца, когда светило уже касается горизонта, когда его размеры визуальнo увеличиваются, воздух окрашивается в сиреневый цвет. Не знаю уж, воздух ли – но впечатление именно такое. Кажется, что вся атмосфера начинает излучать сиреневый свет. Склоны гор становятся ярко-сиреневыми, и этот цвет – свет разливается всюду. Дома, деревья, поля и луга, река – все принимает сиреневый оттенок. Особенно красив этот цвет, когда вечер сиреневый выпадает на пору цветения яблонь. Кипенно-белые яблони в сиреновом воздухе начинают словно бы мерцать. Вот в такие минуты особенно хорошо понимаешь, чувствуешь, что все в мире – живое. Снег зимним вечером сиренового, оранжевого, розового оттенка – это фантастическое зрелище.

Ясные голубые вечера выпадают в основном на дождливое время. Но это летние дожди – короткие, ливневые. Пролетел, простучал по крыше и закончился. Туча ушла на восток – там небо темно-синее. На западе – солнце прячется за далекие горы. Там теплые закатные тона. Воздух прозрачен и окрашен хрустально-голубым светом. И вот в этом хрустально-голубом пространстве висят радуги – иногда три сразу, иногда две. Одна яркая, крутая, ее края упираются прямо в землю. Один край – стоит на склоне горы, другой – на равнине. Вторая радуга, более бледная, висит в воздухе, не касаясь земли. Третья радуга обычно не полная – часть цветной дуги слева или справа от основных.

Зрелище феерическое. Один из братьев моих как-то пытался сфотографировать эту картину. На фотографии получается так, что радуги обрамляют туманную полусферу. Такая половина окружности, которая плоской стороной стоит на земле, округлой дугой – вверх. А по этой дуге как раз и пущена радуга. Или точнее, это такой огромный мыльный пузырь, лежащий на земле. А на его полусфере играет радуга. Все дело в разной плотности слоев атмосферы. Нижний – плотный, насыщенный водяными парами, и на его поверхности происходит преломление лучей солнечного света – образуется радуга.

Я помню, в детстве мы с братьями мечтали добраться до того места на склоне горы, где всегда начиналась радуга. И постоять там – внутри. Казалось, что место это совсем рядом, рукой подать. На самом деле – примерно на расстоянии десяти километров. Тогда нам казалось, что радугу можно потрогать и войти в нее. Эх, вернуться бы туда, в то время, когда мечталось добраться до радуги. Когда каждый день был ничем иным, как ожиданием счастья. Тогда мой брат Николай мечтал добежать до горизонта. Не доехать, не долететь на самолете, а именно добежать. И он пробовал это. Бегал, а потом рассказывал, что вот еще немного, и он бы оказался на горизонте. Не на линии горизонта, а «на горизонте» – настолько осязаемым и достижимым казалось задуманное. Только дети так умеют верить в сказки. Даже не так – дети считают сказку реальностью и поэтому живут в сказочном мире. Не мешало бы взрослым поучиться этому, возможно, люди стали бы добрее, а мир превратился бы в прекрасный цветок.

Многое, многое помнит наш старый дом. Здесь до сих пор живет мое детство, возможно, благодаря родителям. Да и не «возможно», а в самом деле, благодаря им.

Это там, в детстве моем, бегаю я по траве босиком. Только что прошел сильный ливень с градом. Градины лежат в траве сплошным слоем. Ногам жгуче холодно, градины перекатываются под ступнями, но я все равно бегаю, пока пальцы не начинает ломить. Только тогда забираюсь на высокое крыльцо. Ноги быстро отходят от холода. Ступни горят. И я снова начинаю бегать по градинам, тороплюсь, потому что ледышки быстро тают.

Это там, в моем далеком детстве, остался большой умный пес по имени Джульбарс. Умный, как человек. Доверчивый, как ребенок. Он вырос в нашем дворе из маленького щенка – размером с варежку. Стал сильным, мощным, понимал все – речь человеческую понимал. Кому-то досадил, чем – не знаю, но Джульбарса нашего отравили. Это была первая в моей жизни потеря близкого живого существа. Прошло полвека, а я помню Джульбарса. Забыть такое невозможно.

6

Итак, в то самое время, когда пишутся эти строки, я нахожусь в доме родителей – в моем родном доме. Вечереет. Сегодня как раз один из самых любимых цветных вечеров – оранжевый. Все тонет в оранжевом, теплом, праздничном свете. Яркие оранжевые горы просвечивают сквозь ветви сосен. Да и сами деревья горят оранжевым пламенем, особенно стволы. Сарай напротив окон стал похож на картину, которую можно назвать «На закате»: розово-оранжевые дощатые стены с коричневыми мазками сверху – это дерево потемнело от времени, а в окнах – закатное солнце с оранжевым заревом на небе. Даже густая листва берез и кленов отливает оранжевым. Крыша соседнего дома полыхает, вода в тазу возле колонки оранжево-серебристая.

Кот Мурик сидит на пенке возле крыльца, жмурится, купается в оранжевом вечере, наблюдает за маленьким облачком, которое еле заметно плывет

вет в сторону падающего за горизонт солнца. Это розовое облачко, похожее на живую рыбку, словно притягивается к раскаленному оранжевому диску – вот-вот окажется прямо на нем, как на сковородке. Но солнце садится быстро, прямо на глазах уходит за темную кромку далеких гор. Облачко одиноко висит в остывающем небе. Но оранжевые краски еще долго не гаснут. В последнюю очередь бледнеют вершины южных гор, которые долго ловят лучи убегающего солнца и никак не хотят отпустить его.

А на востоке начинается восход ночное светило. Огромная малиновая медленно поднимается от горизонта луна. Постепенно теряя горячие краски, она становится светлой, почти холодной. Теперь будет освещать ночной мир, чуть ли не до утра – пока не спустится снова к горизонту, но уже на западе.

А я вспоминаю одну из таких летних ночей, которая случилась лет сорок назад. Почему же запомнилась она, одна из тысяч других?

Мне было тогда около двадцати лет. Кажется, я приехала на каникулы после первого курса университета. Нашла дома красочно изданную книгу Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». В детстве читать эту книгу не довелось. Открыла первую страницу и увлеклась. Сижу, читаю одну историю за другой, а уже давно ночь пришла. Луна в окно заглядывает – огромная, светлая. Даже при включенном светильнике, за окном все видно, как днем.

Я в книгу смотрю – ничего не слышу, ни на что внимания не обращаю. Но вдруг понимаю, что с улицы доносится шорох дождя. Выглядываю в окно – небо чистое, луна сияет. Дождя нет, но шорох слышен по-прежнему.

Через минуту звук становится громче, и что-то начинает стучать по стеклам – то ли град, то ли снег. Что-то белое. Подхожу поближе и вижу – окна залеплены стаями белых бабочек. Они летят на свет и бьются о стекла. Число их прибывает с каждой минутой. Вышла на улицу – там снегопад из бабочек, тучи бабочек. Трава, дорожки уже почти белые – их завалило бабочками, как осенью заносит двор снегом.

Наш дом попал в огромную стаю мигрирующих насекомых. И что самое удивительное – это были бабочки-однодневки. Их срок жизни – всего сутки. И надо же – такая стая-фантом, которая утром уже исчезнет, на своем пути встретила именно наш дом.

Утром, действительно, двор и окрестности, дорога, улица – все было завалено белыми колониями бабочек. Но стоило дунуть западному ветру, как вся эта крылатая масса улетучилась как пыль.

Что это было – случайность или Знак, отметивший наступление эфемерного времени? Наверное, и то, и другое.

Как бы то ни было, но сейчас, мне кажется, мы и живем в таком эфемерном мире. Никто не может сказать, что нас ждет завтра. Да что «завтра»! Никто не возьмется предсказать, что будет через час.

Меняется климат, меняется лицо Земли, меняется человек. Идет мутация – в геноме мужского населения планеты отмечены устойчивые изменения. Это предвестники новых условий жизни, которые надвигаются на человечество, словно асфальтовый каток. Природа пытается адаптировать жизнь к новым условиям. Какова будет эта жизнь, и каковы будут эти условия? Неужели мы (род людской) превратимся в животных? Неужели в этом направлении идет мутация? Я не хочу в это верить, но факты – упрямая вещь. Человеческое общество становится все более близким к животному миру – почти исчезли любовь, сострадание, почитание детей и стариков, жизнь обесценилась.

Но должно же быть средство от одичания. Средство, которое поможет в любых, даже самых страшных условиях.

Думаю, что оно есть. И средство это – вера в духовность природы, в ее целесообразность. А иначе, зачем ей, природе, создавать интеллект? Чтобы потом разрушить? Нет, природа мудра и всегда предусматривает механизм сохранения информации. Человек – носитель самой полной информации на нашей планете. И по законам творения, по законам природы он должен иметь многоуровневую систему защиты.

Вера в мудрые законы творения – вот что должно сохранить человека на планете Земля. Если человек верит, у него нет причин становиться зверем. Вот почему многие великие ученые, в том числе и Николай Рерих, считали, что человек будущего – это человек духовный.

Вот в какие дали увел меня мой праздничный оранжевый вечер, мой дом родной, где до сих пор живо мое детство. Милое мое, сказочное, счастливое детство, которое так похоже на меня.

Вон бежит по тропинке к реке шустрая тоненькая девочка. Сначала у нее торчат в стороны две косички, потом развеваются по ветру стриженные прядки, но она всегда до поздней осени купается в своей любимой реке.

Осенью вода прозрачная, холодная, но удовольствия от купания ничуть не меньше, а может быть, и больше, чем летом. Плынешь поверху, а на дне все камушки видно – яркие такие: красные, синие, серые, желтые, белые, черные. Такое разноцветье камней не везде встречается, а здесь – да.

Плывет девочка по реке – все вниз и вниз. Далеко ушла по берегу от дома, теперь по воде – обратно. Плывет, а над нею небо голубое, облака белые летучие. Над водой низко, почти касаясь волны, летает зимородок – птица необыкновенной красоты. Сверху – ярко-лазурное оперение, сверкающее, хрустальное. Снизу – розовато-коричневое. Летит над водой с большой скоростью – такой хрустально-синий снаряд и звук издает, словно пуля – свистит. Нырнет молниеносно в воду, схватит мелкую рыбешку или другую живность какую-то, и уже сидит на ветке качается. Грудь и брюшко желтоватое, не сразу заметишь его.

А девчонке из воды – снизу все видно. Зимородок ее не боится – пронесется прямо над ухом.

Запах осенней полыни витает над рекой – один из самых любимых. Полынь, боярышник, ива, жимолость, аир у самой воды – каждое растение источает свой аромат. Они смешиваются в один неповторимый запах прибрежной зоны горной реки. А как пахнет вода в реке! Говорят, что чистая вода не имеет запаха. Но это неправда. Вода пахнет свежестью. Вода пахнет осенью. А весной она имеет весенний запах. В каждое время года вода пахнет по-своему.

И все эти запахи – мое детство.

Горький аромат полыни, ее заросли по берегам на сухих песчаных почвах – это что-то особенное. И сейчас, стоит только мне взять в руки веточку полыни, ощутить на ладони ее тонкую пыльцу, я сразу же переношусь в детство – на берег реки Песчаной.

Детство мое – это и клубничные пригорки, заросшие ягодником густо, так что другим травам не остается места. Пригорки раскиданы между оврагами, вернее, над ними.

Наверху, на просторных полянах – клубничное царство. Сколько себя помню, всегда мы с братьями лазили по оврагам, выбираясь наверх, и часами собирали ягоды. Иногда удавалось наполнить ведро, но, в основном, терпения на такой подвиг не хватало. Наберем, сколько получится, спускаемся

в овраг и – к воде. Река протекает вдоль высокого глиняного яра, который изрезан оврагами. По дну их весной несутся потоки талых вод.

В самом нижнем слое – у воды, залегают пласты голубой глины, за которой сейчас гоняются народные целители. Можно грязевые ванны принимать. Вернее, не грязевые, а голубо-глинские. Или голубо-глиняные. Главное, что – лечебные. Глина – мощный адсорбент и должна хорошо очищать организм человека, даже если применять ее наружно.

Детство мое – это еще и общение с животными и птицами. Многих птиц довелось увидеть и услышать. Самые интересные – иволга, жаворонок, зимородок, ласточки-береговушки, которых нелегко увидеть, нужно специально наблюдать, только тогда сможешь выследить их. Но не менее интересны и те, кто живет рядом с человеком, возле дома. Например, сороки. Сорока – красивая птица. Хвост, на голове пятна – сизо-радужного окраса. Крылья на солнце – переливаются, синим жемчугом отдают. Остальное оперение – белоснежное. Нет птицы любопытнее сороки. Увидит где-то щелочку – в окне, в крыше, в двери, не улетит, пока не заглянет. Вот сейчас, например, сорока бочком, скачком передвигается по плоской крыше сарая и норовит заглянуть под каждую волнообразную выемку шифера, в каждую дырочку. Много раз наблюдала я, как сорока изучает содержимое курятника. Сядет на крышу возле открытой дверки, посидит, поглядывается по сторонам. Потом зацепится коготками за стенку, повиснет вниз головой и заглядывает в дверь сверху. Если увидит яйцо в гнезде, непременно спустится на землю, быстро добежит до него и схватит клювом. Хватает клювом как щипцами, и тащит целое яйцо, убегая из курятника. Не взлетает, а бежит. Понимает, что если прокльнет скорлупу, то яйцо вытечет. Прокльнет свою добычу только где-то в укромном месте – в траве, где уже никто не помешает трапезе. Такие пустые скорлупки я находила не однажды, вскрыты аккуратно – сверху, чтобы не потерять содержимого. Вот как сорока выпивает яйцо, этого видеть не довелось. Как птицы воду пьют, все видели. Но как удастся сороке справиться с вязким белком? Все-таки, удастся. А однажды я расположилась загорать – на травке покрывало раскинула, рядом тапочки поставила. А в тапочку положила золотую цепочку – с шеи сняла, чтобы загорать не мешала. Позагорала, потом отошла на минутку к колодцу – воды попить. Возвращаюсь, а цепочки след простыл. Колодец рядом, отлучилась я ненадолго. Во двор никто посторонний не заходил – это точно. А цепочки нет. Смотрю – на березе сорока сидит, стрекочет радостно. А на самой вершине этой березы – гнездо сорочье.

«Вот где теперь моя цепочка!» – поняла я.

Жаль украшения, красивая цепочка была – каждое звено имело по три грани. За счет такой огранки сверкала необыкновенно переливчато. Изделие подарила мне тетушка моя, привезла из-за границы – из африканского Браззавиля. Но делать нечего – не будешь же березу валить. Береза растет медленно. Этому дереву, где сорока обосновалась, лет двадцать уже. Да еще и неизвестно – там ли цепочка. А вдруг птица уронила ее куда-нибудь в траву.

Так и пропала вещица бесследно...

Однажды довелось мне наблюдать, как воробья высиживает птенцов. Получилось это так.

Отец соорудил маленький ставень для окошечка в сенях, чтобы можно было закрывать стекло от града – в основном градины били всегда именно с этой стороны, а ветер усиливал их удары. Сделал ставень, прикрыл окошечко, да и

забыл о нем. Прошло недели две. Однажды я заметила, что деловитый воробей с веточкой в клюве шмыгнул за прикрытый ставень. Потом еще и еще.

– Гнездо делает, – решила я. – Надо предупредить всех, чтобы ставень не открывали, а то все труды воробьишкины пропадут.

Вошла в сени, посмотрела сквозь стекло – действительно, между ставнем и окошечком гнездо готово. Со стороны сеней через стекло – гнездо как на ладони, все видно: и как веточки лежат крест накрест, и сколько пуха в серединке положено. Просто экспериментальная конструкция получилась для изучения жизни воробьев.

Потом в гнезде три яйца появились – пестренькие, конопатые. Воробьиша села птенцов высидывать – день и ночь грела яйца. Чем питалась, что пила – непонятно.

Посмотришь утром – сидит, в обед – сидит, вечером – тем более. Птенцы вылупились, пищать стали. Через стекло видно, как им тесно в гнезде. Зато тепло – греют друг друга. Но и мешают один другому – по головам лапками топчутся.

Выросли воробьишки, вылезли из тесного гнезда – пусто за стеклом. Но ставень открыть никто не решился. Так и осталось гнездо – может быть, на следующий год пригодится той же семье воробьиной.

Вот и погас мой оранжевый вечер. Горы вдали потеряли все теплые тона – они сумрачны, ибо ночь давно вступила в свои права. Луна освещает окрестности, но свет ее холоден, мир призрачен и нереален в лунные ночи. Хотя очень красив.

Завтра будет новый день и новый вечер. Огненный закат подарит новую цветную сказку всем, кто хочет и может жить по волшебным законам солнечного мира.

Я выхожу на улицу – на поляну, залитую лунным светом. Словья уже не слышно. Тишина. Но это лишь на первый взгляд. Если прислушаться, то сразу из потока тишины выделяется некая далекая-далекая мелодия. Она похожа на песню вод, несущихся с гор весной. Она похожа на голос большого тракта, когда по нему, где-то вдали, движутся скоростные автомобили. На самом деле – это песня гор. Там, на высоте, никогда не бывает затишья. Всегда сверху гуляет ветер. Движение воздуха создает особый звук – шумят кроны деревьев, звучат скалы, когда ветер прорывается между ними и катится, как вода, над каменными нагромождениями. Горы поют, не замолкая, но слышна эта мелодия лишь ночью, когда нет других звуков, кроме пения птиц и шуршания цикад в траве.

Я долго слушаю прекрасную древнюю мелодию планеты. Она звучала и тогда, когда внимать ей могли лишь динозавры. Горы будут петь всегда.

Этот вечный гул пробуждает дух человека. Голос планеты резонирует с душой, потому что и то, и другое – основа жизни.

Нет, мелодия гор, мелодия ветра – это не бодрый энергичный ритм. Скорее, это образ печали, тоски по всему любимому, недостижимому, но такому желанному. Бодрые ритмы не свойственны Природе, ибо она основана на гармонии. Душа – сущность природы. Душа вечна, ей некуда торопиться.

И потому я плыву в ночном мире вместе с далеким голосом гор, лечу облачком над зеленой планетой – до утра далеко. А жизнь – безбрежна и вечна. Торопиться некуда, ибо весь мир – во мне. Я слышу его голос, чувствую его душу.



Адриан ТОПОРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛТАЕ*

КОСИХИНСКИЕ И БАРНАУЛЬСКИЕ ПРИШИБЕЕВЫ

У глухотных Пришибеевых каждое мое общественно полезное дело или предложение порождало подозрение, ненависть, противодействие и как бы подтвержда-ло уже приклеенный ко мне оскорбительный ярлык – «контрреволюционер».

Новый случай укрепил их в мысли, что они безошибочно оценивают мою личность. В январе 1925 года в Москве проходил Первый Всесоюзный учительский съезд. В числе девяти делегатов его от Алтайской губернии послали меня. По возвраще-нии из столицы товарищи по делегации поручили мне сделать доклад о съезде на губернском съезде учителей в Барнауле.

Много полезного и нового увидели его делегаты в Москве. Мне выпало посетить образцовую среднюю школу имени Радищева, размещенную в богатейших зданиях бывшего Елизаветинского института благородных девиц. Я был радостно удивлен постановкой образования и воспитания юношества. Но одно поразило меня весьма неприятно. В заключение обозрения школы группой делегатов съезда – ее «угости-ли» концертом ученического духового оркестра, который невыразимо резал уши.

На губернском съезде учителей я чистосердечно поведал об этом своем впечат-лении. Желая ободрить своих коллег-сибиряков, я подчеркнул:

– В Москве делегаты съезда видели сотни поучительных примеров. Но кое-чему и московские педагоги могли бы поучиться у алтайских...

И дальше я сказал о том, что в барнаульской средней школе имени III Комин-терна (директором ее состоял тогда А.М. Красноусов, ныне профессор, зав. кафед-рой литературы в Мичуринском пединституте) преподаватель музыки и пения, из-вестный алтаевед, этнограф, фольклорист, поэт и композитор Андрей Викторович Анохин создал из учеников великолепный хор, который в советское время принес в Алтайский край высокую музыкальную культуру. Силами воспитанников этой школы А.В. Анохин ставил в Барнауле даже свои оперы и сюиты, написанные на сюжеты мифов Алтая. Концерты хора школы имени III Коминтерна и показ опер Анохина яв-лялись чрезвычайными событиями в культурной жизни Барнаула в 20-х годах...

Что плохого сделал я, отметив это? Однако в моей параллели между московской школой имени Радищева и барнаульской школой имени III Коминтерна губернские власти усмотрели «унижение» Москвы (??!!). Председатель губисполкома Пахомов за кулисами сцены долго журил меня за «неудачное выступление».

Это донеслось до Косихи. И с этого момента эстафета гонения на меня заботливо передавалась от одних руководителей райцентра к другим. Все мои новшества в школьной работе претили недалеким районным и уездным (окружным) инспекторам народного просвещения. Я сидел у них бельмом на глазу. На разного рода конфе-ренциях они неукоснительно пускали ядовитые шпильки в мой адрес. Но однажды я окрысился:

* Окончание. Начало в № 1, 2 за 2014 год.

– Приезжайте ко мне в школу, товарищи инспектора, живите у меня хоть неделю, хоть месяц; ходите на мои уроки, критикуйте меня безжалостно. Но потом будете давать мне показательные уроки, а я буду вас критиковать...

И что же вы думаете?! С тех пор ни один инспектор народного просвещения не показывал и носа в коммуны. А на разного рода олимпиадах, смотрах, выставках – ученики моей школы всегда выходили на первые места.

Районные и некоторые окружные властители хронически вели под меня подкопы не только за школьную, но и за культурно-массовую и – особенно – за селькоровскую и журналистскую работу. Это и понятно: я, на их взгляд, был «нарушителем спокойствия» в тихой провинциальной заводи. Но эту брехню хорошо понимали и они сами. Вот один лишь пример: спустя месяц после очередного их наскока на коммуны – они же направили туда экскурсию из барнаульской совпартшколы – для «изучения опыта ЛУЧШЕГО в Сибири колхоза» (?!?!). Но такова уж логика людей, ослепленных ненавистью!..

Еще один штрих...

Коммунары из «Свободы» сказали своему учителю Зуйке Александру Ивановичу:

– Хотим, как у Топорова... Читай нам книжки вслух. Будем обсуждать их.

Зуйка взял у меня вязанку книг – и дело у него пошло. «Свободяне» пристрастились было к коллективным читкам, поняли в них толк, привыкли. Но районные руководители, прослышав про эту «топоровскую заразу» и в «Свободе», приказали Зуйке прекратить читки. Он повиновался. Привез мне книги обратно:

– Запретили!.. Нельзя... А скандалить с ними боюсь. Большой я...

Сложности начались в коммуне и не только для меня.

«Год великого перелома» был началом трагедии всего сельского хозяйства СССР и конца для «Майского утра». Перед этим коммуна в ее свободном развитии доросла до 500 работоспособных членов. В ней строго соблюдался принцип демократии, самоуправления. Совет и председатели ее выбирались из «своих». Все шло нормально. С каждым годом организация все больше и больше расцветала в экономическом и культурном отношении.

Вражда между колхозниками и единоличниками постепенно угасала. Крестьянин – практик. Он верит только делам, фактам, а не голословной агитации. Коммунары понимали это. Они устраивали смывки с единоличниками окрестных сел. В назначенные праздничные дни крестьяне собирались в коммуне. В кратком докладе председатель коммуны знакомил их с историей развития ее экономики и культуры, с хозяйственными успехами. Затем гости обозревали все отрасли хозяйства, жилища коммунаров, школу, детские ясли, садик, больницу. Напоследок – обед. В летнее время столы, протянувшиеся вдоль длинной березовой аллеи, ломились от блюд с холодцом, жареной рыбой, курятиной, гусятиной, свиной, бараниной; от пышных белых душистых каралек. В эмалированных ведрах и тазах пенилась крепкая сибирская медовуха. Перед гостями – тарелки, вилки, ножи и чайные стаканы. Хозяева не обносили гостей круговой чарой, а радушно просили их:

– Не черемоньтесь, сами вживляйте медовушку, сколь душа примет!

– Закусывайте, закусывайте, без совести, как дома!..

– Берите, что кому поглянется!..

За продолжительным обедом следовали – спектакль, концерт хора и оркестра, декламация, танцы и пляски...

Однако кампания ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации вызвала в единоличном секторе смертельный испуг, смятение. Поняв, чем пахнет «сплошная», кулаки и «крепкие» крестьяне злоумышленно резали скот, разматывали имущество. Коммунарам «Майского утра» скомандовали сверху: создать бригады агитаторов и отправить их в села для проведения сплошной коллективизации. По две-три недели эти бригады (автор принимал в них участие) жили не раз в селе Верх-Жилинском

и в соседних селах – Косихе и Глушинке, проводя денно и нощно участковые собрания крестьян, призывая и убеждая их организовывать колхозы, на все лады доказывая обреченность «старого». Довольно трудно рождались новые колхозы...

Наша коммуна «разбухла» до 5000 человек (в ней повторилось вавилонское столпотворение, куда более ужасное, чем при коллективизации 1921 года)! Старые коммунары сначала пытались противиться гигантомании, но это было в районе расценено как саботаж. Окружные власти также давно косились на «майских» за их смелость иметь обо всем свое суждение и видели в этом влияние «топоровщины». Вот и решили «согнуть нас в бараний рог». Этому способствовало то, что коммуноу обезглавили: окончившего Омскую сельскохозяйственную академию Петра Семеновича Зубкова услали в другой район директором крупного животноводческого совхоза; Ивана Алексеевича Носова забрали в окружной колхозсоюз; а Василия Антоновича Титова – в райколхозсоюз.

Старые коммунары были объявлены политически неблагонадежными. Их поснимали с ответственных постов. Навязали коммуне новый Совет из людей пришлых, неавторитетных, сомнительных. Началась председательская чехарда...

Зима 1930-1931 годов была суровая, а новые руководители огромного, разбро-санного, многоотраслевого хозяйства не имели никакого опыта по управлению им. Присланный из Ленинграда секретарь партячейки тов. Пискунов, по натуре милей-ший человек, ничего не ведал в сельском хозяйстве, а тем паче – в коллективном! Многие пошло прахом! Старые коммунары плакали, видя, как от холода, беспорядка и бескормицыдох скот; как от недогляда телята окоченевают или захлебываются коровьей мочой в желобах скотного двора. Раньше и заведующий этим двором, и до-ярки, и ночной сторож – точно знали и следили, когда и какая корова будет телиться. Теперь же скотные дворы остались без догляда.

Райцентр как будто сознательно творил разорение коммуны. Он прислал в нее для чего-то дикую проходимку Толстухину на должность женорганизатора. И на неопределенную работу навязал некоего Клевакина. Эти тунеядцы по целым дням только и занимались натравливанием нового сброда на старых коммунаров, кото-рых клеймили позорными кличками: кулаки, оппортунисты, контрреволюционеры. Во время раскулачивания из коммуны изгнали многих честных и трудолюбивых ее членов, искусственно превратив их в кулаков.

А за мной они учинили явный и тайный надзор, как за «язвой здешних мест». Фактически лишили голоса. Коммунаров, заходивших ко мне на квартиру, бичевали, обзывали заговорщиками, подрывниками.

Содом в коммуне дошел до предела, когда все прочли в газетах знаменитую статью «Головокружение от успехов», в которой руководство страны всю вину за катастрофу в сельском хозяйстве свалило только лишь на местных извратителей линии партии (на нагульновых). Впрочем, выходцам со стороны, это не мешало рас-таскивать славную коммуноу «Майское утро» во все стороны.

Но здоровый корень коммуны еще не умер. Чья-то светлая голова назначила нам председателем порядочного и умного «варяга» – тов. Киргетова. Я знал его как хо-рошего селькора, неоднократно встречался с ним на рабселькоровских съездах и в редакции газеты «Красный Алтай». Киргетов понимал, что старые коммунары – истинно советские люди и что вся жизнь организации шла по правильному пути. Это сознание удерживало его от дальнейших расправ с коммуноу, которые настоятель-но диктовал ему райцентр.

В конце 1930 года секретарем Косихинского райкома партии избрали Сергея Нико-лаевича Ленкова, культурнейшего и умнейшего человека, способного самостоятельно «глядеть в корень». Он досконально обследовал коммуноу «Майское утро» и пресек ее разгром. А конференцию просвещенцев поразил как-то неожиданной речью:

– Топорова травили, Топорова преследовали, но работу его не понимали. Я же исследовал ее вдоль и поперек, вглубь и вширь... И советую вам, товарищи: идите в «Майское утро» и учитесь у Топорова вести, действительно, советскую, многостороннюю культурно-просветительную работу...

С тех пор все мои «истребители» прикусили языки. «Карьера» моя стремительно пошла вверх. Меня заочно избрали членом пленума райисполкома и назначили уполномоченным по отгрузке из коммуны ценнейшей пшеницы в государственный семенной фонд. Это поручение райисполкома я выполнил успешно и досрочно...

К нашей беде, осенью 1931 года его перевели в Новосибирский горком партии. И разгром коммуны из райцентра возобновился.

Новый поход на меня возглавил председатель райКК-РКИ Ожиганов. 9 ноября 1931 года было вынесено насквозь выдуманное, но убийственное постановление этого органа:

«Учителя школы коммуны «Майское утро» А.М. Топорова с работы снять, так как он игнорировал Постановление ЦК ВКП(б) о школе; не составлял рабочих планов, в то же время вел дневник; зажим критики и самокритики и в школе, и в коммуне; несработанность с учительством, недооценка детского коммунистического движения; не организовал школьного самоуправления, голое администрирование, явное извращение задачи самостоятельности искусства на данном этапе.

Предложить району Топорова с работы снять».

Меня и сняли с работы. Мое место занял еще один погромщик, приспособленец и мракобес, безграмотный учитель Константин Петрович Кокорин. Получив диктаторскую власть в коммуне, он, прежде всего, ликвидировал «топоровщину», т.е. самоуправление в коммуне, читки, беседы, лекции, спектакли, концерты, изгнал искусство из школы.

В коммуне Кокорин решил уморить голодом и меня, и мою семью. Он запретил выдавать нам продукты. А в те лихие годы их негде было купить! Чтобы поехать в Новосибирск с жалобой на расправу надо мною, я до станции Баюново или Овчинниково 25 километров шагал по сугробам с посохом в руках: Кокорин распорядился не давать мне подвод.

От голода семью мою спасла краевая комиссия. Прибыв в коммуну, она предложила председателю ее Мананникову выдавать семье моей продукты впредь до разбора дела в крайКК-РКИ...

Под угрозой исключения из коммуны и школы, я приказал взрослым коммунарам и ученикам прекратить всякое общение со мной. Я сидел в квартире, как в изоляторе. Наиболее смелые друзья мои – взрослые и школьники – ночью тайно прокрадывались ко мне, чтобы разделить горе. Некоторые коммунары продолжали читать художественную литературу на дому и приносить мне свои отзывы о прочитанном. Таким способом был нелегально прочитан и обсужден роман Е.Н. Пермитина «Капкан»...

Как ни упрашивали меня сотрудники крайОНО продолжать работу в Сибири, я не смог преодолеть чувства обиды за перенесенные измывательства. Работа в «Майском утре» была бы для меня невозможна. Бразды правления там захапали аферисты, ничего не понимавшие в большом, многоотраслевом коллективном хозяйстве. Демократию и самоуправление свели на нет. И славная коммуна катастрофически покатила вниз.

Первого мая 1932 года я простился с нею навсегда...

От той культуры, на почве которой выросли родители космонавта Г.С. Титова и он сам, давно уж нет и следа! Многие мои ученики, окончив специальные школы, получили назначение на работу вне коммуны и в нее уже не вернулись. Вслед за ними растеклись из «Майского утра» и их родители. А с 1934 года ее слили с артелью «Завет Ильича» в селе Глушинка. «Майское утро» стало отделением этого колхоза. Таков конец когда-то знаменитой организации. Из ее печальной истории никто не извлек поучительного урока...

Судьба забросила меня далеко – далеко от коммуны, коей я отдал лучшие свои годы и силы. Но жизнь ее всегда интересовала меня. Друзья – сибиряки и ученики сообщали мне о ней, но вести их не радовали. Письма моих учеников С.П. Титова, Г.Н. Блинова, М.П. Зверевой, П.Т. Никоновой, видевших полный упадок культуры в коммуне, мне невыносимо было читать*. Я не хочу терзать ими сердце и сейчас...

Я СНОВА «ВЫШЕЛ В ЛЮДИ»

13 июля 1961 года я получил неожиданное письмо, написанное на бланке редакции «Известий»:

«Уважаемый Адриан Митрофанович!

Журналистская судьба привела меня и нашего алтайского корреспондента А.И. Волкова в хорошо знакомое Вам село Верх-Жилинское. Там, собирая материал о культурной работе в колхозной деревне, мы впервые услышали Ваше имя. А затем – имя Вашего ученика – одного из самых уважаемых людей в районе, чудесного, разносторонне одаренного человека, который и до сих пор продолжает дело, начатое Вами. Это – Степан Павлович Титов.

Вместе с ним и его женой мы побывали в «Майском утре», прошли по Тропе Коммунаров (она не заросла и сейчас, эта легендарная тропа!), побеседовали со многими людьми. Потом раздобыли Вашу уникальную книжку, порылись в архивах, в музее. И перед нами встала удивительная история коммуны и Вашей деятельности в ней.

То, что Вы сделали, – колоссально! Мы гордились тем, что наша газета в свое время поняла это и сказала свое слово.

Сейчас мы пишем документальную повесть (она, по-видимому, будет печататься в «Известиях») о Степане Павловиче Титове. Как Вы догадываетесь, первая ее часть (не глава – часть) будет называться «Тропа Коммунаров», и одним из главных героев в ней будете Вы...

– Всем, что я имею доброго, – сказал он нам, – я обязан учителю моему Адриану Митрофановичу Топорову. Передайте ему большое спасибо за то, что он отнял у меня досуг и в то же время научил его скрашивать. И себе, и людям...

Я рад передать Вам это...

Очень бы Вы нам помогли, если бы смогли сообщить все, что вспомните о самом Степане Павловиче, о его жене Александре Михайловне. Может быть, о его детях – Германе и Земфире. Интересуют нас и родители их (Ваши «критики»!) Михаил Алексеевич Носов и Павел Иванович Титов.

Очень хотелось бы залучить Вас в свой авторский коллектив. Напишите, какие проблемы волнуют Вас сейчас, о чем Вы хотели бы рассказать нашим читателям.

С приветом. Зам. ответственного секретаря Н. ШТАНЬКО».

* Из интервью Космонавта-2, Героя Советского Союза Г.С.Титова газете «Правда» (опубликовано 13.09.2005 г.): «Я только что побывал в тех краях. Летал специально, чтобы родным воздухом подышать, посмотреть на поля, вообще посмотреть, что там и как, что осталось от «Майского утра». **Ничего не осталось...** Искал могилы бабушки и дедушки. Не нашел. На моей памяти черемуха там росла. Черемуха вроде есть, а от могил – ничего. **Ну раз люди не живут...** Оставшихся бывших жителей «Майского утра» перевезли в село Глушинку. Пруд остался, но весной его прорвало, промоина большая... По инициативе папы в свое время на высоком месте был поставлен памятник первым коммунарам. На камне – металлическая табличка, где выгравированы их имена. А по дороге на Верхжилуху (село Верх-Жилино у нас так прозвали) – обелиск, тоже в память коммунаров. До сих пор сюда приезжают молодожены...» (по слухам – нет уже и металлической таблички, снял кто-то, а к упомянутой выше каменной стеле ехал в свой последний и трагический день покойный губернатор М. Евдокимов, для которого с его обостренным чувством местного патриотизма имя Топорова, наряду с именами Шукшина и Титова, было свято. – И. Топоров.

«Что за оказия?! – подумал я, прочитав это письмо. – Тут что-то не так. Какая-то загадка».

Желая посылить помощь журналистам, сел за написание воспоминаний о коммунарах Титовых и Носовых. Работа разбухла. Я приготовил ее в двух экземплярах: для Н. Штанько и Степана Павловича Титова. Второго хотел поставить в известность, что я ничего дурного не сказал о своих друзьях – коммунарах, о нем и о Саше Носовой.

Срочно отослал экземпляр Н. Штанько, понимая, что журналистам подавай материал с пылу с жару. У них работа молниеносная, иначе она теряет цену на литературном рынке.

С отправкой бандероли Степану Павловичу я не спешил. Понес пакет на почтамт утром в воскресенье 6-го августа 1961 года. Было тепло, солнечно. Иду обратно. Из раскрытого окна одного дома до меня донесся четкий голос радиодиктора Левитана: в космос полетел корабль «Восток-2» на борту с летчиком-космонавтом Германом Степановичем Титовым...

Я остолбенел: имя, фамилия и возраст нового космонавта были мне знакомы. Я и все члены моей семьи с волнением спрашивали друг друга:

– Неужели это – сын наших Степы и Саши Титовых?! Может быть, в СССР есть второй Герман Степанович Титов?!

Сидя у репродуктора, мы сгорали от нетерпения, ожидали сообщения краткой биографии героя. Минуты тянулись мучительно долго. Наконец мы услышали: это – он, да, он, наш Герман!! Сын моих славных воспитанников из «Майского утра» Степы и Саши Титовых! Волна неизъяснимой радости облила мое сердце. Ликовала и семья. Так вот в чем разгадка таинственного письма Н. Штанько ко мне!

В №№ 187, 188, 189 и 190 «Известий» была опубликована документальная повесть А. Волкова и Н. Штанько «Отчий дом», в которой мне отведена изрядная жилплощадь. С этого момента мое незаметное имя прочно прилипло к космонавту Герману Степановичу Титову. На 70-м году жизни я сразу стал «умным», нужным человеком. Началось паломничество ко мне, точно и я летал в космос. Первыми прибыли журналисты, писатели и фотокорреспонденты: Б.А. Анашенков, Э.Н. Горюхина («Литературная газета»), А.А. Аграновский («Известия»), В.Я. Стадниченко («Радянська освіта», Киев), Ю.А. Чубуков («Ленинская смена», Белгород), М.С. Федик («Комсомольская искра», Николаев) и др.

Меня нарасхват таскали на встречи, чтобы поделиться опытом культурной работы и рассказать о «Майском утре», о династии Титовых и т.д. Где и перед кем только я не выступал тогда! И так меня заездили, что я совершенно потерял голос. Лечился два месяца.

За мной присылали машины из соседних областей, приезжали из Ленинграда студенты-северяне. Они часами сидели, озирая меня с ног до головы и... молчали (?!).

Были у меня и супруги Пятагины, приехавшие из Сибири в отпуск к родным в Николаеве. Они около 35 лет тому назад вместе со мною работали в Косихинском районе Алтайского края.

Иногда моя небольшая комната до предела была набита посетителями. Не хватало места посадить их.

Провели обо мне многие друзья, ученики, сверстники и соратники, с которыми была порвана всякая связь 30, 40, 50 и более лет! Разыскала меня и Софья Ерофеевна Шельдяева-Серпуховитина из Курска. С нею я сидел на одной парте в Бродчанской церковно-приходской школе (Старооскольского уезда) в 1900 – 1903 годах! Через 60 с лишком лет нашла меня!! Не диво ли?!

Из Сиднея (Австралия) отозвался и мой учитель по языку эсперанто Иннокентий Николаевич Серышев, с которым я познакомился в селе Верх-Жилинском еще осенью 1915 года. Подробно об этом я написал в одной из предыдущих глав. Подала голос и его сестра, учительница-пенсионерка и эсперантистка Варвара Николаевна,

ныне здравствующая в городе Высоковске Московской области. Об этой коллеге я ничего не слышал около 45 лет. А когда-то учительствовали вместе в Барнаульском уезде.

Добрался до меня и чехословацкий педагог-эсперантист И. Килиан, который в Первую империалистическую войну, будучи пленным, проживал в Томске и потому знал меня как одного из пропагандистов международного вспомогательного языка. Не имея точного моего адреса, тов. Килиан на конверте написал:

«Украина, город Николаев, А. Топорову. Он – старый эсперантист, автор книги «Крестьяне о писателях». Ему около 70 лет».

Признаки верные. По ним почтальон и доставил мне письмо чехословацкого друга.

Сейчас не перечить всех «давно забытых лиц», чьи жизненные пути-дороги надолго разошлись с моими, но пересеклись вновь, благодаря полету в космос моего «духовного внука» Германа Степановича Титова...

Я уехал из Сибири в мае 1932 года. Мои ученики – Саша Носова и Степан Титов поженились через два года. Их первенец, будущий космонавт, родился в 1935 году. Ему обо мне дали знать родители, деды, бабки. А я представлял его по их письмам. Лелеял мечту о личной встрече с ним. С этой целью я и приехал в Москву в октябре 1961 года, перед открытием XXII съезда КПСС.

Остановился у писателя-друга Анатолия Абрамовича Аграновского. Утром 14 октября он поговорил по телефону с Николаем Ивановичем Штанько. Тот немедленно прислал машину. И через несколько минут мы были в его кабинете. Н.И. Штанько – душевный человек, с которым в первую же минуту знакомства чувствуешь себя как с близким родным.

Друзья стали думать и гадать, как связать меня с Германом Степановичем. Нужно было преодолеть немалую трудность – испросить разрешение на свидание с космонавтом у тех, кто ведет наблюдение за состоянием его здоровья. Звонили туда-сюда, разыскивали генерала авиации Горегляда, но попытки были тщетны.

На следующий день Н. Штанько позвонил А. Аграновскому:

– Вчера в редакцию «Известий» заходил Степан Павлович Титов. Хотел видеть меня, но не застал. Оставил записку. И другая досада: звонил мне сам космонавт – и тоже не застал. Две неудачи за один день!..

Оказалось, отца и мать космонавта еще 3 октября пригласили в Ленинград – поделиться педагогическим опытом на съезде учителей. На обратном пути родители завернули к сынку в Москву. Счастливым для меня случай! Но я опасался, что не смогу воспользоваться им: а ну-ка, Саша и Степан, не зная, что я в Москве, побудут у сына день-два – и упорхнут в Сибирь!

В редакции все-таки узнали квартиру космонавта, но и это не успокоило меня. Герман Степанович должен был лететь в Румынию и вернуться оттуда только 16 октября в 7 часов вечера. Значит, мне нечего было и помышлять о свидании с ним. Я соображал: прилетит он из Бухареста поздно вечером, утомится. А 17 октября будет на съезде. Так никого из них я не увижу. Приуныл.

Захожу в квартиру А. Аграновского. Слышу: он говорит по телефону с Н. Штанько, который придумал умный ход – написал записку космонавту, что я в Москве и желаю с ним встретиться. Записку эту передал с редакционным фотографом Сметаниным, работавшим на съезде КПСС. Космонавт прочитал записку Н. Штанько, немедленно позвонил ему из Кремля и просил передать, чтобы я сегодня же в 2 часа дня был в редакции «Известий», куда приедут он и Степан Павлович.

Мы с А.А. Аграновским прибыли к Н.И. Штанько. Сюда собралось много сотрудников редакции. Все спустились к парадному подъезду. И точно в 2 часа подкатила машина, из которой вышли отец и сын. Ну, понятно, пошли объятия, поцелуи, сопровождаемые междометиями, которые трудно теперь воспроизвести.

Поздоровавшись со всеми общим поклоном, космонавт и Степа повернулись ко мне. Я подхватил их под руки, и мы зашагали по широким лестницам редакции к лифту. Тут уж я не сдержался и воскликнул:

– Так вот какие орлы поднебесные вылетели из «Майского утра»!

– Нет, Адриан Митрофанович, – сказал космонавт, – теперь в нашей стране из любого села такие орлы могут вылететь. И они уже стаями готовы вспорхнуть в небесные просторы.

Зашли в кабинет Н. Штанько. И мне пришлось признаться:

– Ах, черт возьми! Ведь у меня раньше язык был не плохо подвешен, а сейчас завязался узлом и ничего не может сказать путного. Думал: огневую речь закачу при первой встрече, а вот все выскочило из головы.

Все засмеялись, а космонавт:

– Адриан Митрофанович, не надо речей. Наслушались мы их досыта. Хватит. Уши от них трещат. Давайте без речей, поговорим попросту, как у себя дома.

Я схватил космонавта за руки и, глядя в его чудесные, светлые глаза, бессвязно затараторил:

– Так вот как, Герочка, вышло! Один луч твоей славы озарил и мою фигурку на восьмом десятке лет. День шестого августа 1961 года был днем моего второго рождения...

Я чувствовал, что несу сентиментальную околесицу, но солидные слова не садились на язык. И, очевидно, понимая мое состояние, Герман Степанович ободрил меня:

– Э, Адриан Митрофанович, что касается «лучей», то это еще вопрос: то ли мои вас озарили, то ли ваши меня? Я считаю, что если бы не «Майское утро», да не вы с моими родителями, то не летать бы мне в просторах Вселенной... Корни всего идут в «Майское утро»...

В кабинете Н. Штанько мы расселись на диване: я – посредине, космонавт налево, Степа направо от меня. Нас окружили журналисты. Как всегда в подобных положениях, завязалась беспорядочная словесная перепалка с нескладными вопросами и ответами. Я «разрывался» на два фронта: говорил и с космонавтом и со Степой.

– Герочка, голубчик, жалуюсь тебе на папашу твоего. Тридцать с лишком лет он не слушался меня.

– Как?!

– Я ему часто твердил в письмах: ты – литератор с «искрой», у тебя талант, который я заметил давно, растил, ожидая его проявления в творчестве. А папаша твой ничего не писал. Мне не верил. Все время отговаривался: какой я литератор? Куда уж мне! А что вышло? И читатели, и писатели в один голос поют: все лучшее, задушевное и художественное из напечатанного о «Майском утре» принадлежит перу Степана Павловича Титова!

Степа мой сидит. Краснеет и стыдливо опускает глаза. Герман похлопал его по плечу:

– Ну, батя, терпи! Похвалы тоже не легко бывает переносить, но ничего не поде лаешь. Знаю по себе... Перегрузка!

С трудно скрываемой радостью Степан Павлович начал вспоминать письма, которыми засыпали его:

– Среди писем есть и курьезные. Так, одна девица пишет мне с Гавайских островов... Называет себя Титовой, сводной сестрой Геры. Уверяет, что она – моя дочь от первой жены и что Космонавт-2 – сводный брат ее! И поскольку признает себя беспорядочной моей дочерью, то на этом основании просит выслать ей 600 долларов. Как видите, моя гавайская «дочка» – практичная, деловая. Берет быка за рога!

Смеялись долго.

Был накрыт стол. Колбасу, яичницу и прочую снедь Герман Степанович оплетал добросовестно, вполне по-земному. Кто-то шутя бросил:

– Герман Степанович, наверное, от космических питательных тюбиков у вас в желудке при полете чувствовалась некая «невесомость»?

– Да как сказать? Сила в моем организме была вполне земная. Но вот это (он кивнул на стол) все же основательнее чувствуется, чем тюбики...

Я вспомнил, как застыл на месте, когда радио сообщило имя второго летчика-космонавта. А Степа продолжил этот разговор:

– Да и мы с Сашей были оглоушены и все спрашивали себя: «Неужели это наш Гера?! Не верили, что наш. Думали: это другой. Разве мало Титовых Германов в нашей стране?»

Один журналист спросил Степу:

– Неужели родители не знали заранее, что сын полетит к звездам?

– Ничего не знали. Правда, нас удивило то, что еще 12 июня в село Полковниково стали съезжаться корреспонденты, но мы предполагали, что причиной этого была деятельность Адриана Митрофановича в Сибири. Мы беседовали с корреспондентами о своем учителе, ездили с ними по следам его работы в Косихинском районе, посетили «Майское утро» и т.д. Но даже не подумали о полете Германа. И лишь 5 августа, когда в Полковниково нагрянуло множество машин с журналистами и фотографами; когда меня и Сашу подвергли детальным допросам о сыне, мы догадались, что с Германом должно произойти что-то важное. И 6 августа **ОНО** произошло...

Меня предупредили, что космонавт не любит расспросов о полете, потому что про это он уже много раз говорил на официальных собраниях, заседаниях, пресс-конференциях и в печати. Я старался избегать космических тем. Н.Н. Штанько между прочим упомянул о намерении издательства «Советская Россия» переиздать книгу «Крестьяне о писателях», написанную в «Майском утре». Герман Степанович очень оживился при этом упоминании:

– Так, так... Это, действительно, редкая книга. В ней я вижу и чувствую всю ту благодотворную культурную атмосферу, которая была в «Майском утре»; вижу моих предков, их духовный рост. Эта атмосфера, безусловно, сказалась и на моем умственном развитии... Я обязательно напишу, если позволят, предисловие к переизданию книги.

Я поблагодарил «внука» за эту любезность.

Его позвали к телефону. Вернувшись к столу, он сказал отцу и мне:

– Художник Анатолий Никифорович Яр-Кравченко просит нас приехать к нему в мастерскую. Поедете?

– С превеликим удовольствием!

Попрощавшись с радушными известинцами, космонавт, Степан Павлович и я поехали к художнику. Дорогой Герман Степанович говорил:

– Я уже несколько сеансов позировал Анатолию Никифоровичу. Он написал мой портрет, который находится на выставке в Доме журналистов. Анатолий Никифорович – крупнейший живописец и обворожительный человек. Вот увидите.

На пороге мастерской нас встретил высокий, полный, краснощекий человек с ласковыми глазами. Познакомились. Художник, прежде всего, подробно осведомил нас о своей новой громадной картине, над которой трудился. Картина изображала собрание советских писателей на квартире у Алексея Максимовича Горького.

Анатолий Никифорович пояснил:

– На картине я уловил тот момент, когда Алексей Максимович произносит знаменитую фразу «На вас лежит ответственность». Этой фразой я и назову картину.

Захватывающе интересно художник ознакомил нас и с другими его работами и творческими планами. Впившись надолго глазами в космонавта, спросил его:

– Герман Степанович, читаю в газетах и журналах, что вы любите поэзию, живопись, музыку, читаете стихи, поете... Откуда все это у вас?

– Да все оттуда же, из «Майского утра».

И, взглянув на часы, космонавт заторопился:

– Ну, извините меня: пора на заседание партсъезда. До свидания.

И уехал в Кремль. А мы со Степой еще долго слушали повесть Анатолия Никифоровича о его большом и плодотворном пути, каждый этап которого был проиллюстрирован изумительными рисунками во многих альбомах.

Художник подарил нам на память репродукции с его картин. Под конец беседы он обратился к Степе:

– Вы непременно пришлите мне ваши работы. Я посмотрю их.

Степа смутился:

– Да что вы, Анатолий Никифорович?! У меня же детская мазня. Стыдно показывать простым людям, а не то что вам.

– А я говорю: пришлите. Охотно помогу вам.

Поздно вечером расстались мы с одним из крупнейших мастеров кисти.

Утром следующего дня в редакции «Известий» я встретился со своей ученицей Сашей Носовой-Титовой, матерью космонавта. Она прибыла со Степаном Павловичем. Более тридцати лет мы не виделись. Время изменило нас обоих до неузнаваемости. Встреча была полной слез радости и горя при воспоминании о старых коммунарах, положивших первые камни в строительство коммунизма в Сибири.

Трогательный рассказ Сашеньки оживил незабываемые картины нашей жизни и культурно-просветительной работы в славной коммуне, где выросли и воспитались многие советские врачи, агрономы, инженеры, педагоги, летчики, кандидаты наук и прославленный космонавт Герман Степанович Титов. Нестерпимо терзала сердце мысль о том, что из тридцати моих учеников-коммунаров, защищавших Родину в минувшую Отечественную войну, живыми остались только двое.

Н.И. Штанько предложил посетить издательство «Советская Россия». Там у парадного подъезда нас встретило все руководство во главе с директором издательства В.К. Грудининым. В художественном отделе нам показали образец нового издания повести А. Волкова и Н. Штанько «Ветвь сибирского кедра» (иное название «Отчего дома»). Посмотрели мы и иллюстрации к этой книге. «Советская Россия» готовила издание повести «Два детства» Степана Павловича Титова.

Из «Советской России» нас доставили в радиостудию Центрального телеграфа на улице Горького. Режиссер А.И. Платонов попросил Степана Павловича и меня прочесть перед микрофоном отрывки из наших воспоминаний. Мы это сделали.

Уже темнело, когда у одного из подъездов Центрального телеграфа Саша, Степа и я расстались. Думалось – навсегда...

Отец и сын Титовы любят преподносить приятные неожиданности. 24 июня 1962 года был праздничный день. Я отправился в яхт-клуб, чтобы подышать чистым воздухом Южного Буга. Сижу, наблюдаю за игрой шахматистов. Вдруг слышу голос внука Вовы:

– Дед! Скорее домой! Степан Павлович прилетел!

Бегу. И вот тебе – новая радостная встреча с любимым учеником. Степа смеется:

– Многих николаевцев я спрашивал, где улица Мархлевского, отвечали – не знаем. Да спасибо, одна старушка выручила: да это же, говорит, улица Католическая по-старому... Старушка эта и довела меня до вашего дома. А то я дважды доходил до него – и возвращался в гостиницу.

А жена моя чуть-чуть не упустила дорогого гостя... до моего прихода из яхт-клуба. Рассказывала, как это было:

– Сижу я, читаю книгу. Слышу – стучат. Войдите, говорю. Не входит. Отворяю дверь. Стоит за порогом мужчина. Шляпа надвинута на глаза. Спрашивает: – Адриан Митрофанович дома? – Нету. – А где же он? – В яхт-клубе. – Когда вернется? – Не

знаю. – Ну, я уж после зайду. – Да вы заходите, пожалуйста, в комнату. Мужчина вошел в коридор и снял шляпу. Я и ахнула: – Степан Павлович! Да вы ли это?! – Самый доподлинный ваш бывший ученик по рисованию...

Годы и житейские треволнения преобразили давних друзей так, что они не узнали сначала друг друга...

Интересно прошла содержательная встреча Степана Павловича с сотрудниками газеты «Южная правда».

На второй день один из работников обкома партии усадил в автомашину Степу, фотографа К.В. Дудченко и меня и повез нас по всем достопримечательностям Николаева. Были мы и на строительстве нового моста через реку Южный Буг. Главный строитель, будущий лауреат Ленинской премии Корелли давал пояснения о его новом методе мостостроения, за что он и был удостоен вскоре высшей награды. Затем на катере мы дважды переплыли Южный Буг.

Вечером мы со Степой выступали в Лесках в пионерском лагере. Через три дня желанный гость улетел. Я подарил ему на память одну из моих скрипок.

В то же лето у меня гостила сестра космонавта Земфира. Заодно она проходила фармацевтическую практику в 3-й аптеке города Николаева...

И при личном свидании в Москве, и в печати Герман Степанович обещал посетить «духовного» деда в Николаеве. Приезд его тоже был – как снег на голову. Летом 1963 года космонавт проводил отпуск с семьей на киевском курорте Пуща-Водица.

Под вечер 20 августа он на своей автомашине и подкатил ко мне. Один, без шофера. Без всяких регалий, без фуражки, в рубашке-безрукавке и в расхоженьких штанишках.

В то время я сидел у соседа на втором этаже дома. Поэтому я не видел первого появления космонавта в нашей квартире. Передаю слово очевидице – невестке Марии Михайловне:

– Юрий (муж – А. Т.) пришел с работы и лежал на кровати, читая книгу. Я мылась в ванне... Стук в дверь. Юрий крикнул «да»! Кто-то вошел в комнату. Я оделась и тоже вошла туда. На краешке стула сидит небольшого роста человек и поигрывает ключиком от автомашины. Спрашивает Адриана Митрофановича. Я смотрю на человека и думаю: к нашему деду всегда приходят учителя, артисты, писатели, музыканты, а зачем же к нему какой-то шофер?! Всматриваюсь в лицо: знакомое! Где-то я его видела, но не могу вспомнить – где! Говорю: Адриан Митрофанович наверху, у соседа. Позвать? – Позовите. – А как сказать, кто спрашивает? – Герман. – Какой Герман? – Титов... Батюшки!! Я – брык на стул. Юрий спрыгнул с кровати и заорал: – Гера!! И давай тискать его, обнимать-целовать! Я – наверх за дедом...

Да, Марья Михайловна ворвалась к соседу и, как угорелая, завопила:

– Дед! Домой! Скорей! Космонавт приехал!!

Я опрометью кинулся вниз – и в коридоре обнял долгожданного «внука». Как полагается, пропустили его через «санобработку», а дальше пошла суматоха подготовки к «приему».

Когда космонавт въезжал во двор и выходил из автомашины, детвора узнала его в лицо. И через несколько минут по городу полетело:

– Космонавт Герман Титов приехал к Топорову!

Первый звонок был из обкома партии. Просили выступить. Но космонавт ответил:

– Простите: не могу. Я неофициально приехал к своему деду и на публичное выступление разрешения не имею...

Его поняли и больше не тревожили. А вскоре весь наш двор, весь квартал улицы Свердлова (ныне улица Обсерваторная. – А. Т.), вся наша квартира были запружены толпой.

Герман Степанович не хотел никаких фото- и телесъемок: они ему надоели. Но я упрямил его «потерпеть». Он сдался, и телестудийцы, и фотографы «Южной правды» засняли некоторые моменты его приезда...

Как вероятно, всюду, в Николаеве о космонавтах почему-то ходили всякие домыслы, порой нелепые. Скажу только о самом чудовищном.

Мой приятель и партнер по игре в симфоническом оркестре, инженер В.И. Шенфельд как-то на репетиции шептал мне:

– Адриан Митрофанович! Ведь Герман Титов давно уже умер от космической радиации, но об этом молчат, чтобы не огорчать народ, не сеять паники. А вы-то уж, конечно, знаете все. Скажите по строжайшему секрету – умер или жив? Клянусь здоровьем: никому не передам!

Я расхохотался:

– Вот что, Витя: космонавт намеревался навестить меня в Николаеве. Если в самом деле он приедет, я тебе сейчас же позвоню, позову.

И позвонил, и позвал. Нарочно посадил Фому неверующего рядом с космонавтом:

– Садись, Витя, пей с «покойником» шампанское и жуй жареных бычков!

Чья-то злоумышленная брехня была убита.

Во время последнего обеда к открытому окну подошли дети из детского садика. Они читали стихи и кидали космонавту цветы.

Герман Степанович много и увлекательно рассказывал о своих зарубежных путешествиях, типах, нравах и обычаях иноземцев.

21 августа, на закате солнца, написав сотни автографов и выдержав атаки фотографов и телеоператоров, он отбыл в Одессу...

Руководящие органы Николаева запланировали на 20-21 октября 1967 года слет комсомольцев трех поколений. Это дело было обставлено особенно пышно. Для лучшего эффекта пригласили космонавта Германа Степановича Титова. Заключительную фазу торжества наметили провести в парке Победы 21 октября.

Зная, что космонавты строго экономят время, я ожидал прилета «духовного внука» в Николаев не раньше 20 октября.

Накануне вечером я направился на очередное собрание литературного объединения при редакции «Южной правды». Мокрый от дождя асфальт на широкой Адмиральской улице сверкал под светом фонарей. Движение в городе стихло. Я спокойно шлепал посредине улицы. Внезапно за спиной я услышал шипенье и хлопанье автомобильных шин и крик:

– Стой!

«Неужели грабители?!» – подумал я.

Машина остановилась. Из нее вынырнул наш вездесущий и всеведущий журналист Борис Лазаревич Аров.

– Я за вами. Садитесь, едем.

– Куда? Зачем?

– Герман Степанович уже прилетел. Меня послали за вами. Был у вас на квартире. Сказали, что ушел на литобъединение. Я и настиг вас. Садитесь.

– Где же космонавт?

– В Лесках, на даче обкома.

Приехали туда. Эта дача – резиденция для приезжающих в Николаев высоких должностных лиц и гостей.

Я вступил в ярко освещенную большую роскошную комнату. Вокруг длинного, обильно сервированного стола уже сидели многие высокопоставленные лица. «Ассамблею» остроумно вел секретарь обкома В.А. Васильев.

Герман Степанович пошел ко мне навстречу. Обнялись. Мне отвели место рядом с «первоприсутствующим». Вот куда залетела «белая ворона»! Думал ли, гадал ли я когда-либо попасть в «высшую областную сферу»?!

Все шло чинно, благородно. Шутки, остроты, смех и тосты, тосты, тосты! Секретарь горкома партии Е.И. Волохова произнесла тост даже в мой адрес! Держал достойный ответ и я.

Ужин был лукулловский. И во сне я такого не едал! В интервалах между яствами гости поднимались на второй этаж, смотрели по телевизору футбольный матч, спускались вниз, играли на бильярде. Но своей музыки не было. К пианино никто не притронулся.

Во втором часу ночи меня на автомашине доставили домой. Космонавт на этот раз был гостем города и ночевал в отведенных ему апартаментах.

Наутро он выступал по местному телевидению. Интервью с ним вел Б.Аров. Заняли в телестудию и меня. Я сидел возле космонавта в качестве живой мебели. И только для того, чтобы «внук», отвечая на вопрос о цели его приезда в Николаев, мог бросить взгляд на меня и сказать:

– После празднества хотелось проведать и своего «духовного деда».

Этот взгляд космонавта ловко поймал на фото К.В. Дудченко. Вышел редкий по живости снимок.

По окончании собрания представителей трех поколений комсомольцев первый секретарь обкома партии Т.Т. Поплевкин завез Германа Степановича на нашу квартиру и пошутил:

– Оставляю вам гостя на один час. Потом заеду за ним и заберу.

Мы просили Трофима Трофимовича оставить у нас космонавта подольше.

– Не могу! Прошлый раз он был вашим гостем, а ныне – нашим.

Набавил только 15 минут. А потом приехал и увез... Такой мимолетной была моя вторая встреча с «духовным внуком» в Николаеве.

Не знаю, когда он улетел на Кавказское побережье Черного моря доканчивать отпуск...

Наш горсовет присвоил ему звание почетного гражданина города Николаева.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ С ПЕРОМ СЕЛЬКОРА И ЖУРНАЛИСТА

Жизнь иногда выкидывает потешные колена. Взять для примера хоть бы меня. 24 августа (по старому стилю) 1891 года я родился. В тот же день тетка Феня принесла сына. Двоюродных младенцев крестили в один и тот же час, в одной и той же купели. Обоих нарекли Адрианами. Оба мы Митрофаньичи.

А дальше пошли различия. У братца фамилия Прасолов, а у меня Топоров. Его в Стойле дразнили Куркуль, а меня – Кисель. Матью я «цыганча», а он – белобрысый. Братец долговязый, а я – от горшка два вершка.

Учились мы в церковноприходских школах. Он в Соковской, а я в Бродчанской. В учебе были дошлые, особенно в выразительном чтении стихов. Состязались в этом искусстве. Но, правда, братец мало-мало обгонял меня. А один раз принародно подкузьмил:

– А ну, напиши самое длинное слово!

Я и осекся.

– А я напишу!

И, ликуя, он наскреб на грифельной доске, показал людям и с гонором прочел:

– Попреблагорассмотрительствующемуся!

Где он его выкопал?! Слово показалось мне туманным, но как-будто русским и осмысленным. А через полвека с лишком в рассказе Н.С.Лескова «Заячий ремиз»

я встретил признание Оноприя Опанасовича Перегуда, что он донес на «потрясителей трона»:

– И потому я представляю это: как угодно попреблагорассмотрительствующемуся начальству...

Скажи на милость! Значит, «чародей русского языка» орловец Н.С. Лесков у простого народа подслушал самое длинное слово, может быть, даже у курян: Орловская и Курская губернии – соседи. Нельзя же допустить мысль, что Андрияшка Куркуль вычитал диковинное слово у Н.С. Лескова: в начале девяностых годов об этом писателе в Стойле и слыхом не слыхали!..

Прасоловых на Бугрянке по-уличному звали Куркулями, должно, потому, что у них была пятистенная хата, горница с деревянным полом, а в ней стулья вместо лавок. На окнах гардины. Ну, все по-слободскому! Чай Прасоловы пили из самовара. Тетка Феня варила вишневое варенье. У нее-то я впервые в жизни и узнал, что это за штука и как ее едят. В садике у Прасоловых росли яблони, груши и вишни.

Дядя Митрофан, когда его сын окончил начальную школу, выписал ему журнал «Сад и огород». Начитавшись его, тезка-братец однажды убил меня бахвальством:

– Я теперь корреспондент! На-ка, почитай.

Он подал мне бумажку из редакции журнала «Сад и огород». В этой бумажке братца просили быть его постоянным корреспондентом. Вот это – да! Я думал, что корреспондент – это птица высокого полета, вроде члена-корреспондента Академии наук! Не ниже.

По всему Стойлу загремело:

– Андрияшка Куркуль теперь корреспондент!

Это меня окончательно заело. А чем я хуже братца? И дал я себе «Аннибалову клятву»: разобьюсь в лепешку, а тоже буду корреспондентом!

Но эта клятва стала сбываться только в 1910 году. Первую корреспонденцию я послал в курскую губернскую газету, название которой сейчас не помню. Я разоблачал попа села Старая Лещина Тимского уезда Курской губернии за то, что он нахрапом оттягал у псаломщика часть пая из церковной земли. В село наехал благочинный с помощниками. Перемерили спорную землю, установили произвол попа. Я увидел и почувствовал силу печати.

Заметка о попе-хапуге была долгое время единственной опубликованной мною. С тех пор прошло 60 лет. Доныне мои статьи, зарисовки, очерки, репортажи, рассказы печатались в 72-х советских изданиях. Перечислить все эти материалы невозможно. Упомяну лишь немногие из них, давшие добрые реальные результаты.

Я был одним из организаторов известной сибирской коммуны «Майское утро». Пил горькую чашу с первыми ее членами. Участвовал в ежедневной борьбе за существование этой коммуны в самые тяжелые годы, когда она жила и работала под стволами ружей и под ножами бандитов.

Первая моя большая и острая статья в защиту коммун была напечатана в газете «Красный Алтай» (№ 203, 1922 г., Барнаул). Она называлась «В кольце врагов». Редактор газеты П.Ф. Запорожский, боясь, что бандиты укокошат меня, настоял подписать статью нарочито вычурным псевдонимом Стеллин. Так я и сделал. После этой статьи коммунаров снабдили оружием для обороны.

На отшибе от одной деревни Косихинского района Алтайского края в задрипанных землянках прозябала самая голодраная беднота, как говорится, забытая богом и людьми. Сроду не видел я до того такой срамоты!

И в «Красном Алтае» грохнула моя жуткая картинка с натуры «Пещерные люди». Действенный резонанс не замедлил. В те годы селькоровские письма были настоя-

щим острым оружием. Барнаульское уездное начальство всполошилось. Комиссия обследовала положение «пещерных людей». А спустя неделю, плотницкая артель уже ставила для них деревянные избы. Срочно в палатке (было лето) открыли временный медпункт, где фельдшер повел борьбу с социальными болезнями в поселке. Постепенно все пещеры были заменены хатами. Самую просторную из них назначили под постоянный медпункт. Бывшие «пещерные люди» зажили по-человечески.

Во время Первой мировой войны в Косихинском районе разместили много плененных немцев, австрийцев и мадьяр. Среди них нашлись мастера на все руки. Сформировали бригаду строителей новой районной больницы. Место для постройки выбрали удобное, красивое, в лесу за селом. Здание запроектировали деревянное.

Пленные успели возвести лишь стены. Добротные, на век! Но революция и гражданская война не позволили закончить здание. Пленные отбыли на родину. Отвлеченные великими событиями, косихинские власти не думали о недостроенной больнице. Голые стены ее около пяти лет стояли беспризорно под открытым небом, предоставленные действию всех стихий сурового сибирского климата. Заготовленные отделочные материалы и инструментарий, хранившиеся в сараях при строительстве, были разворованы.

Минули войны. Жизнь вошла в нормальную колею. Райисполком постановил достроить больницу. Избрали строительный комитет, куда ввели и меня.

Лето 1923 года. Над стенами райбольницы плотники поставили стропила и хотели уже настилать крышу. Я в те дни руководил районными учительскими самокурсами. Надумалось мне посмотреть, как идут работы на больнице. Как член строительного комитета, я сознавал и свою личную ответственность за большое народное дело. Пригласив с собою учителя Г.И. Скворцова, я отправился на строительство. Плотники отдыхали в обеденный перерыв, курили, я присел к ним. Разговорились. Спрашиваю:

– Ну, как, товарищи, дела?

Один из них и выпалил:

– Дела, можно сказать, гиблые.

– Как?!

– Да так... Строим. Прораб руководит. Из РИКа приезжают, смотрят и уезжают. Начальство собирается к октябрьским праздникам открыть новую больницу и получить награду. А здание вот-вот рухнет.

– Почему?

– А пойдемте-ка наверх, там увидите, почему.

Пошли. Плотник разъяснял:

– Смотрите вон на ту стену. Видите: четыре верхних венца выперло пузом внутрь. А в той стене повело шесть венцов, а вон там – три, а там – утянуло наружу пять венцов...

– Так что же это будет?! – испуганно спросил я.

– А то, что кривые стены не выдержат балок верха, стропил и крыши. Все это обвалится и задавит больных и медиков... А вы гляньте-ка на эти балки. Они же все сгнили.

Плотник поочередно вонзал топор во все поперечные балки. Из одних он горстью черпал сухую, как порошок какао, гниль, из других вытаскивал куски мочала, из коих текла вонючая жижа молочного цвета...

«Все сядем в тюрьму! – с ужасом подумал я. – И РИК, и прораб, и строительный комитет, и я с ними».

– А знает ли об этом РИК?

– Знает, конечно.

– Почему же не приостанавливает работы?

– Спешит сдать больницу и отличиться.

Видю: тут уголовщина. Беру от балок образцы гнили и бегу к председателю РИКа С.П. Нехорошеву. Выкладываю на его стол эти образцы.

– Что это такое?! – изумляется он.

– Это опора верха больницы.

Рассказываю все, что я видел и слышал на стройке. Нехорошев ринулся туда.

Я привез в «Красный Алтай» набатный репортаж. Но редакция послала меня с ним к председателю уисполкома Бондарю-Диброве. Тот, прочитав мое донесение и выслушав устные дополнения, схватился за голову:

– Спасибо, товарищ Топоров, что поднял бучу. Но статью не надо печатать, не надо. Мы завтра же пошлем в Косиху комиссию. Все уладим. Примем меры...

На следующий день комиссия прибыла к месту «ЧП». Увидела, убедилась. Распорядилась: стропила и балки снять, все выпершие венцы выправить или заменить. Словом, получилась катавасия! Торжество открытия новой больницы отодвинули надолго. Нехорошев до конца своей жизни точил на меня зуб, называя антисоветским элементом, хотя я вместе с ним партизанил против колчаковщины, и в моей квартире одно время стоял штаб его отряда. Мне понятна злоба председателя РИКа: я заварил кашу и вырвал один листок из его лаврового венка. Но как мне следовало поступить иначе?..

В первые годы советской власти в Косихе жил-был и работал народный судья Брезгун, – рыжий, усатый, хитрый взяточник, развратник и циник. Моральный облик этого вершителя правосудия ничуть не соответствовал его фамилии. Вряд ли у скажочного судьи Шемяки было грехов больше, чем у Брезгуна.

Пользуясь служебным положением, он «брал на прицел» каждую лакомую девку или бабу, замешанную в судебном деле. Даже хвастался, что упрямых кержачек он уламывал с помощью Библии на блуд с ним, доказывая от «священного писания» безгрешность прелюбодеяния в трудных случаях жизни. А такие случаи Брезгун разбирал сотни раз. Так что достаточно валило ему «клубнички».

Одно беззаконие косихинского Шемяки вынудило меня вступить с ним в единоборство. В селе Верх-Жилинском остался безродным старик Василий Кузьмич Еремин. В его хозяйстве были: хата, амбары, хлевы, две лошади, три овцы, свинья и корова. Разумеется, и земельный надел. Тяжело заболев, старик принял в свою хату вдову, ее сына и дочь – с условием докормить-допоить его до смерти и по-доброму похоронить. Требовалось оформить в народном суде дарственный документ. Советский закон разрешал тогда дарение имущества стоимостью, кажется, не свыше 10000 рублей. Имущество Еремина оценивалось значительно ниже этой суммы. Какие-то отдаленные родственники старика, не имеющие право на наследование его нажитков, подкупили Брезгуна, и он начал крутить-вертеть, отказывая в оформлении дарственного документа.

О самоуправстве Брезгуна я написал в «Красный Алтай». Губернский прокурор послал в Косиху старшего следователя. Все преступления Брезгуна были вскрыты. Его сняли с работы и упекли под суд. Заключение он отбывал в Нарыме...

Годы 1920-1924 я называю «запойными» в моем селькорстве. Выпадали летние дни, когда я писал по 10, 15, 20 и более корреспонденций! Все они напечатаны. Видно, не зря на губернском конкурсе селькоров Алтая в 1924 году я получил первую премию.

В номере от 28 августа 1924 года «Советская Сибирь» дала мою зарисовку «У церковных ворот», изображавшую враждебное отношение заскорузлых единоличников к молодым сибирским коммунарам. Редакция этой газеты пригласила меня к постоянному сотрудничеству. На Первом Всесоюзном учительском съезде в Москве (январь 1925 года) я был в числе делегатов Алтайской губернии и корреспондентом «Советской Сибири».

Когда я возвратился из Москвы в Новосибирск, зав. Сибкрайоно тов. Венгров «арестовал» меня:

– Не пушу вас домой, пока не напишите обстоятельную статью о съезде для «Сибирского педагогического журнала».

Эта статья напечатана в № 2 «СПЖ» за 1925 год. Рядом с ней нашел место и мой большой очерк «Как я учил школьников писать сочинения по способу наблюдений» (перепечатан в Москве в 1926 году).

С тех пор вплоть до отъезда на Урал я регулярно печатался и в «СПЖ», и в сменившем его журнале «Просвещение Сибири». В некоторых номерах этих изданий было по 2-3 моих вещи. Самыми значительными из них, кроме названного очерка о детских сочинениях, считаю: «Дни нашей жизни» (там же, №№ 1, 2, 3 за 1927 г.), «Долой балласт!»* (там же, №№ 9, 10 за 1929 г.), которые зажгли острую полемику по проекту реформы орфографии. Позже – почти все мои предложения вошли в проекты реформы, одобренные Орфографической комиссией Института русского языка Академии наук СССР в 1956 и 1964 годах. В 1965 году в Москве издана книга «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии XVIII-XX веков», где рассмотрены наилучшие из них. Между ними 12 раз упомянут и мой проект, некогда опубликованный в «Просвещении Сибири». Я и сегодня стою за него.

Как это ни странно, а мои педагогические статьи, вышедшие в сибирских просвещенческих журналах в двадцатых годах, и ныне остаются предметом научного исследования. Так, преподаватель Омского педагогического института В.Е. Зябкин в автореферате его диссертации на соискание научной степени кандидата педагогических наук недавно писал:

«В связи с вопросом о развитии устной и письменной речи учащихся – мы анализируем журналистскую деятельность известного сибирского педагога А.М. Топорова. Им был разработан ряд вопросов методики обучения детей в начальной школе. За 3-4 года учащиеся А.М. Топорова научились мыслить и свободно излагать свои мысли устно и письменно. А.М. Топоров в основу своей методики положил развитие наблюдательности детей и культуры языкового чутья».

И так дальше...

О моей педагогической и литературной работе В.Е. Зябкин напечатал в журнале «Начальная школа» статью «Коммунар, педагог, журналист» (№ 5, 1963 г., стр. 8-11).

В годы 1926-1927 я опубликовал 9 корреспонденций в журнале «Коллективист» – Всесоюзном органе, освещавшем жизнь и труд колхозов. В 1928 году Президиум конкурсного комитета «Коллективиста» присудил мне первую премию за очерк «Стальное сердце».

Собранные вместе мои статьи и очерки из «Коллективиста» составили бы книгу, которая рассказала бы о многих сторонах борьбы, труда, быта, успехах и неудачах в строительстве первых коммун в Сибири. Но эта тема в наше время, к сожалению, никого не интересует...

Озирая весь свой довольно длинный путь участия в советской печати, вспоминаю одно письмо, присланное мне доброжелательницей еще в 1928 году:

«Дорогой учитель, гр. Топоров!

Прочитав в «Известиях» заметку о Вас, хочу сказать Вам задушевное слово. Если Вы выбрали себе путь быть метлой в этой жизни (критика), то и понесете участь метлы. Всегда будете «стоять в углу», как будто за провинность, а в действительности за то, что вымели хорошо.

Привет Вам и презрение всем, кто травит Вас.

С. НИКОЛАЕВА. Москва».

* Слово «балласт» напечатано с одним «Л» по предложенной мною орфографии. - А. Т.

Тов. С. Николаева была отчасти права: за многие разоблачительные корреспонденции меня снимали с работы, а в 1937 году политически оклеветали и послали «прогуляться» по шести тюрьмам и двум лагерям... Но справедливость всегда берет верх. Я полностью реабилитирован ныне. Больше того: моя селькоровско-журналистская работа получила самое высокое признание, поскольку сведения о вашем покорном слуге в этом качестве отныне содержатся и на 353-й странице 8-го тома «Истории СССР с древнейших времен до наших дней», в рубрике «Рабселькоровское движение».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6 сентября 1970 г. мне исполнилось 79 лет. Из них – 63 года – я солдат культурно-просветительного фронта. По совместительству 33 года я отдал школе, 60 – литературе.

Перебираю пожелтевшие страницы газет и журналов, рукописей, писем... И бывшее встает перед глазами. Чем дальше по годам, тем ярче. Были очень трудные дни, были тяжкие испытания, были и радости непомерные. Но слишком долгая моя жизнь, чтобы вспоминать ее всю. Работал, писал, воевал с несправедливостью, учил прекрасных детей. Был и остался учителем. Привык гордиться тем, что я – учитель.

Быть долгожителем трудно. Но интересно. Целый век поворачивается пред тобой, множество картин, встреч, лиц, десятки школьных выпусков. Ребятишки, которых учил ты по букварю, приводят в класс своих детей, а там и внуков. И что же, опять все сызнова? Нет, всякий раз по-новому...

Интересное это занятие – жить на земле!

Несколько лет назад, по меркам моей жизни – совсем недавно, попал я в родные места – в село Стоило, что на Белгородщине.

И на меловых горах и перевалах, по которым бегал я, бог весть когда, без штанов и босой, открылась мне циклопическая работа механизмов, раздевавших землю-матушку на сто тридцать метров вглубь. Колоссальные террасы, похожие на древнегреческий амфитеатр, окружали круглую, ровную, как стол, площадь. Крутились по ней рычащие грузовики, везли магнитную руду на-гора. Улетучились запахи лугов и полей, умолкли птицы, затуманилось пылью весеннее солнце, – я слегка одурел.

Оглянулся и увидел толпы рабочих на склоне. Подъехало кое-какое начальство. Пришли строем пионеры с барабанами, горнами, знаменами. И неожиданно для меня (никто не предупредил) подошли ко мне веселые ребята, надели, как водится теперь, красный галстук на старика, и начался митинг. Я мало что слышал, помню только, как вырос вдруг передо мной огромный экскаватор. А на нем – глазам не верю – большими металлическими буквами:

«А Д Р И А Н Т О П О Р О В»

Оказалось, дети по всему району собирали металлолом, отправили его на «Уралмаш», там сделали машину, и вот – нечаянная радость для меня, нежданная честь. Выступали руководители рудника, экскаваторщики из экипажа, пионеры, комсомольцы. Зачитывали приветственную телеграмму от Германа Титова. Потом вытолкнули к микрофону и меня. Что говорил – стерлось из памяти. Кажется, все свои ораторские приемы позабыл. Но вроде бы сказал, глядя на тезку-гиганта:

– Пришлось мне батрачить на этой земле. Пусть теперь он побатрачит. Пусть...

1970 г.

* История СССР с древнейших времен до наших дней», в 12 томах, т. 8, стр. 353. Изд. Института истории АН СССР. «Наука», Москва, 1967 г. - А. Т.

Анатолий БАЙБОРОДИН

СЛОВО О РОДЕ И НАРОДЕ

**Беседа доктора филологических наук, профессора МГУ,
председателя Гражданского литературного форума России
Капитолины Кокшенёвой с писателем Анатолием Байбородным**

Капитолина Кокшенёва: Анатолий, в отличие от коренного европейца и нынешнего российского сребролюбца, природный русский человек не утешится, не убожится лишь благами цивилизации, душа его жаждет духовного смысла бытия и творческого воплощения душевных и духовных поисков, метаний, страданий. Русское простолудье, житейски бедное, к тому ж стремительно обнищавшее в начале российской перестройки, но всякий второй пишет стихи либо прозу. Поголовная страсть к творчеству, особенно литературному, дело доброе – душа не омертвела, творческий дар в народе не иссяк, но эта творческая страсть, увы, породила и огромный приток в Союз писателей России, а тем паче, в Российский писательский союз откровенной графомании. Сказано: «стихи не пишутся, стихи рождаются». А посему и писателями становятся или рождаются? Какие расщудочные, душевные или духовные мотивы привели Вас в литературу?

Анатолий Байбородин: В русской традиционной народной литературе писатели замыслены родовой судьбой, писателя рождает в некоем колене его родова, как выразителя рода, – суть народа. В идеале ...может, недостижимом... русский народный писатель, словно приходской поп, посредник меж Богом и народом, меж небом и землей. А начальный душевный порыв к слову, начальный творческий мотив у писателей разный; меня томила и властно требовала выражения в слове обида за все горести, перенесенные в бедном детстве и отрочестве, хотя потом я осознал и счастье детских, отроческих лет, прожитых среди прекрасной лесостепной, озерной и речной природы. Томила обида за мать и отца, за своих деревенских земляков, вечно унижаемых и оскорбляемых. Я писал в очерке «Люблю я сторону родную»: «сколь горя пережило довоенное и военное поколение, что и не сыскать в мире народа, какой бы столь пролил крови своей, так перемучился, переломался за полвека, а посему иногда прикинешь: да как же было русскому народу не загулять, не удариться во все тяжкие, чтоб хоть в вине, в грехе утопить мучительную память о пережитом, о своем бессилии перед злой недолей, перед бесовской чуждой волей, чтобы хоть во хмелю занять некие права, хоть в пьяном кураже заявить попранное достоинство и... на своем же ближнем и выместить все обиды за узаконенные оскорбления, унижения. Добра-то в сём, конечно, мало, разве что понять можно, пожалеть можно... Но ведь народ и не ударился во все тяжкие, не озлобился, не изжил из души божественный свет любви к брату и сестре во Христе... А уж сколь народу в середине прошлого века осиротело по России, словно и сама Россия вдруг осиротела... И если бы не потаенная, осветляющая вера в то, что по слезам и страданиям нашим отпустится счастья в тихой, навечной обители, вряд ли выстоял бы народ в долгие лихолетья, в голоде, холоде, в несправии, в непосильном труде. Не выжил бы, озлобился, истребил друг друга, утратив из души последнюю, невыразимую в словах и даже чувствах, заветную надежду на Царствие Небесное».

Обида своя, сострадание обиженным пробудили в душе слово любви к убогим, что у Бога ждут милости в горнем мире, на блага земные не уповая. Это некий духовный мотив творчества, а был и житейский – выбиться из деревенской грязи в городские князи, въехать на белом коне в русскую литературу. И въехал бы – простонародную жизнь доподлинно ведал, и народный притчевый пословично-поговорочный, образный язык звучал в памяти, к тому же сельская родова отсулила мне, крестьянскому сыну, неистовую страсть к труду, неприхотливость в быту, выносливость. Но не въехал в литературу даже на пегой кобыле: все было недосуг запрячь клячу, промешкал, и годы ушли.

Капитолина Кокшенёва: *Лет семь назад автор «Литературной России» писал: «Анатолий Байбородин нам по-прежнему предлагает тяготятину о деревне в духе телепередачи «Сельский час» образца конца 1970-х – начала 1980-х годов. Писатель так и не понял: то, что почиталось за смелость в застой, сегодня уже не актуально. Вот бич сегодняшнего литпроцесса в Сибири – вторичность». Смысл едко-критического выпада в том, что «деревенская», «почвенническая» литература якобы себя исчерпала, нужны новые темы, новые идеи, новое художественное слово. Всё Ваше творчество – это глубинное погружение в суть той жизни – крестьянской, народной, которая сегодня просто катастрофически не в цене. Уже и слова-то такие изгнаны как «труд», «крестьянин», «народ». Нет ли ощущения, что время восстало против Вас и Вашего творчества?*

Анатолий Байбородин: О том, что проза моя устарела, что она слабый отзвук отпавшей «деревенской» прозы, я слышу четверть века, от первых повестей и рассказов. Вот и ныне бойкие критики и молодые сочинители, что держат нос по ветру, ставят могильный крест на «деревенской», «почвеннической» литературе и ожидают некую новую, по глупости и немощи уподобляя литературу журналистике: освятила злободневную тему человеческого бытия на одном историческом этапе, пора переходить и к новой злободневной теме. А если завтра молодой писатель напишет талантливый роман о гражданской войне или о коллективизации, как Лев Толстой описал Отечественную войну через десятки лет, так что же критики его укорят: де, тема уже исчерпана писателями начала двадцатого века?! Беда новейшей российской прозы и критики – журнализм, а истинная художественная литература – не газета, освящающая социально-политические и хозяйственные кампании и проблемы. Пути русской литературы неисповедимы критике, изъеденной журнализмом.

Говорить о том, что мои романы и повести, где живет крестьянский мир прошлого века, не современны, это все равно, что говорить о несовременности Есенина, Клюева, Рубцова, Шукшина с их деревенской вселенной, Шолохова с его канувшим в Лету казачьим миром. Упаси Бог равняться с помянутыми выдающимися писателями, я говорю лишь о современности в литературе... Время восстало не против моего природного и народного литературного творчества, – много чести смерду, – *лихолетье глобального технократического космополитизма ополчилось против природы – Творения Божиего, а значит, и против слитого с природой крестьянского мира, да и ополчилось против человека – образа Божиего, который в природном крестьянском мире только и был истинно счастлив.* Земля и небо терпели человечество, тысячелетия живущее крестьянским и ремесленным трудом, но человечество сбилось с благословенного крестьянско-ремесленного пути, пошло по роковой и погибельной дороге научно-технического прогресса, задумав подчинить землю и небо порочным страстям. Земля и небо – кои уже не в силах выдержать человека, словно дуб свинью, выгрызающую его корни, – содрогаясь в муках, в яростном и праведном гневе обрушивают на человека природные стихии. Человечество, даже осознавая гибельность пути, разумеется, никогда уже не вернется к спасительному

крестьянско-ремесленному укладу, но стремительно будет лететь к апокалипсису, словно ночные бабочки-метляки на огонь вселенского костра.

Но опустимся на грешную нынешнюю русскую землю и вспомним, что в нынешней России к тому же космополиты – либеральные «мировые люди» – в невольном соработничестве с «асфальтовыми русскими националистами» – ополчились против исконного и векового русского духа, который во всей православно-детской искренности и природной мудрости, во всем двухтысячелетнем художественном гении испокон веку обретался лишь в крестьянском мире. А я, отвергнутый временем беса, лишь маловедомый певец крестьянского мира, который можно вечно осмысливать и вечно живописать, как Вселенную.

Впрочем, у меня немало и «городской» прозы – я уж лет тридцать житель городской, любящий и былую деревню, и величавые древнерусские и старорусские города, которые, кстати, как и деревни, не противостояли природному миру, но в каменной и особенно деревянной архитектуре своей подражали природе, а первоначально образу Божественной Вселенной.

Хотя и повеличал я себя певцом деревенского мира, но душа моя искони противилась, когда Федора Абрамова, Евгения Носова, Виктора Астафьева, Бориса Можжева, Василия Шукшина, Василия Белова, Валентина Распутина, а уж тем паче Владимира Личутина, критики, историки литературы для понятийного упрощения обзывали «деревенщиками» или «почвенниками», то есть пишущими о деревне. Но ведь Федор Достоевский, не писавший о деревенском мире, величал себя «почвенником» – славянофилом особого «почвеннического» толка. А «почвенники» ли Иван Шмелев или Георгий Семенов, живописавшие Москву на зависть певцам крестьянского мира?

Творчество выше помянутых, выдающихся русских писателей второй половины двадцатого века, выше и шире «деревни» и «почвы», они – русские народные писатели, воспевшие и оплакавшие великую русскую цивилизацию, – суть крестьянскую, ибо русский человек по родовым истокам и по характеру – крестьянин. У заправдавших русских, кои уже во втором-третьем колене распрощались с деревней-матушкой – крестьянский характер, или как ныне говорят, деревенский, природный менталитет. Не случайна российская дачная страсть, коя для европейца – дикая, варварская страсть. Можно запросто купить той же картошки, моркошки, тех же цветов садовых, ан нет, самому охота сеять, в земле ковыряться. Тянет земля дальней родовой памятью, потому что все мы, русские, из царства крестьянского. А земную тягу из души не выбить и в пяти поколениях, как и небесный зов.

Повеличенные писатели стали *народными* лишь потому, что гармонично слили воедино два творческих духа – дворянско-разночинный и крестьянский, и две традиции художественного слова – письменную, гениально воплощенную в дворянско-разночинной, классической литературе, и устную сказовую, породившую величавый крестьянский фольклор, записанный лишь на малую толику, но изданный уже сотнями томов. *Сила народных писателей в том, что их произведения не вторичны*, не от одной лишь письменной литературы, в их повествованиях слышны отзвуки, видны отсветы двухтысячелетнего первоисточного народного слова, воплощенного в календарно-обрядовой поэзии, в православно-житийных легендах, в мифологии, в песне, в пословично-поговорочном, образном речении. Величайший художник всех времен и народов гениально напишет сосновый бор на рассвете и закате, но бор, суший в природе, во сто раз гениальней. Русская традиционная культура, которая создавалась в течение двух тысяч лет, сродни природе, поэтому она сверхгениальна. И четверть века я и посвятил изучению первоисточного народного слова, пытаюсь посылно воплотить его в творчестве. А посему можно повинить мои сочинения в языческих грехах, но не во вторичности, что воображается иным молодым писателям, блуждающим в поиске своего «неповторимого голоса».

Капитолина Кокшенёва: *Но формальный поиск в литературе имеет право быть...*

Анатолий Байбородин: Разумеется... Формальный поиск неизбежен для начинающего художника, поиск и обогащает его палитру. Но если иные нынешние «языковые поисковики» из модернистов копошатся в молодёжном сленге, в блатной фене, словно в помойной яме, то у моего поколения писателей формальный, стилистический поиск имел более высокий полёт. Хотя родился и вырос я в глухом забайкальском селе за триста верст от «чугунки» и города, но в студенческой юности чурался и родной деревенской культуры, и традиционной русской литературы. Я был чадо гуманитарной богемы, и в студенчестве, как и мои сокурсники-филологи, не только с интересом изучал европейскую литературу XIX века, особо возлюбив Чарльза Диккенса, но и взахлеб читал модных о ту пору писателей XX века – европейских, североамериканских, латиноамериканских; и, как ни странно покажется, в раннем творчестве пережил формальное влияние Фолкнера, Маркеса, Камю, умудрившись в духе и стиле «потока сознания» написать повесть одним предложением. Чуть позже, как и другие писатели моего поколения, пережил и влияние Андрея Платонова, что избежать было невозможно, – в русской литературе трудно вообразить иного писателя, в творчестве которого выразились бы столь причудливым, парадоксальным слогом столь причудливые, парадоксальные характеры. Впрочем, проза его не надуманная, не искусственно конструктивная, как у нынешних постмодернистов, – это его платоновский мир, его язык, имеющий в русской жизни подобие.

Позже, нажив судьбу, стал открывать для себя русскую классическую литературу, а потом, тоскуя по родному селу, по землякам – и народную, прозываемую в те годы «деревенской», которая, на мой взгляд, превзошла классическую, поскольку классическая – это все же дворянская литература, выражающая, скажем, три процента российского населения, а народная – весь народ русский, по характеру крестьянский. Будучи сельским жителем, возлюбив Шукшина, начитавшись Абрамова, Носова, Белова, Распутина, а позже и Личутина, писал в чисто деревенском ключе, но потом взошла в голову блажь тронуться своим литературным путем: основываясь на художественных достижениях крестьянской народной литературы, попытался предвнести в прозу христианско-психологические мотивы, что так мощно прозвучали в произведениях Достоевского. Появились герои с крайне противоречивыми и даже парадоксальными характерами, души которых – поле брани, где в яростной схватке переплелось божественное и демоническое.

В стилистическом поиске серьезный писатель осторожен. Когда читатель, забывая о содержании повествования, восхищается стилистикой – «...глянь, как он, подлец, фразу-то крутит...», – значит, повествование еще сырое, не пропеченное, надо еще корпеть над словом. Высший образец художественной формы, когда даже причудливая, предельно насыщенная сложным образом форма при восприятии перестает ощущаться, не заслоняет, но усиливает для читателя, зрителя духовные, нравственные переживания героев, идеи, запечатленные художником. Такова избранная проза помянутого Платонова и проза Владимира Личутина, у которого предельно сложная стилистика не довлеет над содержанием, но и быть иной, попроще, не может, иначе не выразить сложнейшие религиозно-мистические, психологические состояния героев.

Почитал я беллетристику (полужурналистику) неких молодых модернистов, даже якобы русских, и, «базаря» их похабным жаргоном, словно помоев опился. И дело даже не в умозрительном формальном, эпатажном поиске своего «неповторимого» голоса, встроенного в блатную феню и молодежный сленг, дело в хладнодушии, в бессердечии, когда у героя – суть, автора – нет исповедального раскаянья во грехе, когда грешник без сострадания осмеивается, когда грех и порок смакуются с вызовом обществу, якобы лицемерному и фарисействующему.

Капитолина Кокшенёва: *У нас с Вами есть, мне кажется, общий опыт. Смотрите. Мы помним, как враз случился культурный взрыв после «революции верхов» 1991 года. Мы помним жгучие дебаты между «патриотами» и «демократами», разделение союзов, театров по лагерям. Все дробилось, делилось, вопило о своей правде. А что сегодня? Все дружно (и патриоты, и демократы) разрешили государству не иметь никакой культурной воли и стратегии. А если ты вдруг что-то с него спрашиваешь, то тебя тут же обвиняют в «тоске по тоталитаризму». Как Вы считаете, нужна ли таким нерыночным, почвенным писателям, как Вы, государственная поддержка? Хотите ли Вы что-то от государства, или считаете, что и оно уже бессильно признать и поддержать тех, кто считает, что любовь и вдохновение, красота и истина – непродажны?*

Анатолий Байбородин: Если бы российская власть была истинно русской по духу и слову, то «бульварным писателям» она бы чинила препоны, прохладно бы относилась даже и к талантливым «интеллигентным» писателям – и патриотам, и демократам, ибо от них испокон веку нравственная смута, но писателей подобных мне – простите за нескромность – власть бы на руках носила, потому что с нами слово, созвучное многовековому великому устному поэтическому слову, с нами двухтысячелетняя народная мудрость, способная созидать и укреплять нравственный и творческий дух нации. Российская власть гордилась бы народными писателями, как власти иных народов гордятся своими национальными эпосами, но власть российская, несмотря на «ура-патриотические» вопли похожа на колониальную... Как писал я в статье «Плач по литературе», «со второй половины восьмидесятых годов русскую традиционную народную литературу, словно безродную и бездомную нищенку, чужеродная и чужеверная российская власть выпихнула на задворки культуры, отдав предпочтение зрелищным искусствам, сплошь и рядом низкого пошиба. (Пощадила власть чужеродно-либеральную беллетристику, кою испокон веку коржило от духа русского, порождающую «гениальных» выкидышей, словно грибы-поганки в душной плесени, и под ор и визг телерекламы надувающую очередной «мыльный пузырь», талдыча ошалевшему народу, что иной литературы и в помине нет.) Винить постсоветскую государственную власть в том, что она спихнула русскую народную литературу с корабля современности, жаловаться правителю было бы смешно и горько. Это походило бы на то, как если бы мужики из оккупированной Смоленщины и Белгородчины писали челобитную германскому наместнику, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: *мол, наше житье – вставши и за вытье, босота-нагота, стужа и нужда; псаря твои денно и ночью батогамы бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом – то содом, всякий двор – то гомор, всякая улица – блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихомцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя...* Повеселила бы мужичья челобитная чужеверного правителя, сжалился бы над оскудевшим народишком, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву...

Трагедия русской традиционной литературы – это трагедия перестроечной России, а трагедия даже не в том, что искушенные чужебесным Западом, доморощенные воры и душегубцы державу в одночасье ограбили до нитки, и российский народ пропнулся нищим и обездоленным, великая трагедия России в том, что в ней вот уже два десятилетия с дьявольским упорством, с дьявольской методичностью работают над изменением русского менталитета. Наши массовые зрелищные искусства, подобные бесовским пляскам на русских жальниках, даже несмотря на сопротивление Русской Православной Церкви, выбивают из русского характера исконные начала: любовь к Вышнему и ближнему, любовь к русской державе, братчинность,

общинность, совестливость, обостренное чувство справедливого мироустройства. В прошлые века, когда не было еще в помине глобальных средств массовой информации, когда крестьянство, слава Богу, не имело книжной грамотности, но имело божественный дух и вселенское природное знание, помянутые этические начала жили в народе неколебимо, и лишь в придворных и притворных российских сословиях под влиянием западноевропейской культуры происходили ментальные изменения, утрата национального характера. Но в годы перестройки с ее агрессивной и всеохватной дьявольской пропагандой, с использованием телевидения, космополитизации подвергся уже весь народ, и стал утрачивать свой исконный духовно-нравственный образ.

Первое, что перестроечная пропаганда сотворила, загнала в катакомбы русскую традиционную литературу, видя в ней оберег русского народного характера. Разумеется, пропаганда не могла отреститься от выдающихся народных писателей, и почивших в Бозе, и ныне здравствующих, потому что имена их уже в советскую пору были прославлены на весь мир. Но пропаганда – и либеральная, и даже патриотическая – исподволь дала понять, что на этих именах народная литература и завершилась. А это неправда: русская народная литература жива и в поколениях, пришедших именитым вослед со своим русским народным словом, и будет жить в поколениях грядущих пока будет жив народ русский. Неистребим твой Божий дух, Христова Русь; бескрайне щедра на таланты, вроде, и голодная, холодная, хмельная и бесправная Русь.

Капитолина Кокшенёва: *Попутно с прозой Вы занимались исследовательской работой в области фольклора, этнографии, литературы и русского языка. Как это сочеталось с художественным творчеством?*

Анатолий Байборodin: Традиционная русская литература – не беллетристика, страдающая журнализмом либо подобная «мыльным операм» и детективам; всякому серьезному художественному произведению предшествует кропотливая и азартная исследовательская работа, порой превосходящая даже и научную академическую, потому что требует еще и такого художественного воплощения, когда исследовательское начало не ощущается в произведении. Но иногда скапливается изрядно исследовательского материала, который уже не вмещается в художественные повествования, и тогда рождаются некие исследовательские труды – исторические, этнографические, фольклорные, литературные и прочие.

Скажем, я не загадывал, что составлю книгу «Русский месяцеслов. Православные праздники, дни памяти и жития святых, народные обычаи, обряды, поверия, приметы, календарь хозяина». Но скопились амбарные книги выписок из календарной и житийной литературы, дневники фольклорно-этнографических путешествий по Забайкалью (в том числе и в староверческие села), и мне стало жалко, что пропадет такой богатый материал, и я уже целенаправленно начал работать над «Месяцесловом». При составлении «Русского месяцеслова» была использована русская календарно-обрядовая литература XVIII, XIX, XX веков, а также материалы фольклорно-этнографических экспедиций. Книга была принята сибирскими этнографами, а доктор исторических наук, главный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Фирс Федосович Болонев в послесловии книги «Подобных работ в истории XX века не было» писал о том, что в истории российской календарно-обрядовой литературы, – это первый опыт прямого слияния православного и народного календарей, как это и было в реальной жизни русского простонародья после Крещения Руси, когда подобные календари имели лишь устную форму.

Точно так же были написаны и подготовлены к изданию два тома очерков о народной культуре, живописи и литературе, так же подготовлен и большой том «Мысли

о русском с древнейших до нынешних времен», в котором собрано около тысячи цитат. В напутном слове к изданию сказано: «Неисповедимы пути творческие, неисповедимы были и пути рождения сего сборника цитат, в который вошли мысли и впечатления о русском: о православной вере, культуре, истории, этике, эстетике, идеологии и государстве русского народа, изложенные святыми отцами Русской Православной Церкви, богословами, писателями, учеными, государственными, общественными и культурными деятелями, а также цитаты из русских летописей, фольклорных сборников и святоотеческих православных источников. Четверть века исподволь собирались «амбарные книги» цитат – запечатленных высказываний о русском, кои выписывал я либо для университетских лекций, либо для цитирования в очерках и статьях, а то и, просто, поразившись мудрой и украсной силой высказываний. На основе этих выписок лет пятнадцать назад стал я целенаправленно готовить сборник, который потом и назвал – «Мысли о русском с древнейших до нынешних времен».

Подобные исследования изначально не имели прагматической, научной задачи, а необходимы были для постижения русского народа в ретроспективе двух тысячелетий. Хотя, скажу, постигнуть непосильно, можно лишь прикоснуться к Вселенной Русского Духа – и то уже великое богатство.

Без серьезного и глубинного изучения национальной этики не может быть национального писателя. К примеру, в чем сила латиноамериканского писателя Габриеля Маркеса? В том, что он ярко выраженный народный писатель, поэтому он интересен всему миру. Пушкин мог и не выделиться из дворянской литературы «золотого века», и не превзойти Жуковского, Карамзина и даже Дельвига с Пушным, но он и духом, и словом пробился к народному – суть, крестьянскому – миру, и стал народным писателем, вознесся над узко сословной дворянской литературой. Размышляя о народности в искусстве, я привожу в пример иностранных туристов – они же не едут в Иркутск посмотреть спальный район с его стеклом и бетоном, они посещают этнографический музей «Тальцы», любят наши старинные храмы, деревянные, кружевными домами. Туристов интересует Иркутск национально ярко выраженный. И такой же русской народной литературы в мире ждут и от российских писателей.

О народности искусства и забыли нынешние молодые писатели, а с ними и критики. Вот отброшенные нашими безродными западниками великий и спасительный, духовно-нравственный и художественный критерий искусства, – народность, не только воплощенная в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, но и запечатленная в их критических статьях. Трагедия нынешнего российского искусства даже не в том, что книжные прилавки, экраны, сцены захлестнул мусорный поток поганой «маскультуры»; нет, трагедия в том, что властители «искусства» замутили нравственные и художественные критерии искусства, которые были незыблемы многие века, пережив даже революционную смуту начала двадцатого столетия.

Капитолина Кокшенёва: Ваши произведения называются «Старый покос», «Не родит сокола сова»; «Елизар и Дарима»; «Не попомни зла», «Воля», «Красная роса»; «Чудо», «Хлебушко», «Утром небо плакало, а ночью выпал снег», «То ли сон, то ли явь». Уже сами названия отражают совершенно особый строй жизни, который Вы в своем творчестве сохранили. Вы насквозь пронизаны любовью к земле и Богу, сотворившему нашу землю. А что сегодня – не ушли ли Ваши герои с земли? Что сегодня с сибирской землей происходит?

Анатолий Байбородин: В освоении сибирских земель героизм проявили не столько первопроходцы из служивых и промысловых людей, сколько русские крестьяне. В глухой сибирской тайге, где от крещенских морозов птица замерзала

на лету, где короткое, с заморозками, непредсказуемое лето, где зона рискованного земледелия, где вместо дорог просёлки и тропы, крестьяне сумели освоить земли, по площади превышающие многие европейские государства, – освоить, и, владея лишь топором да сохой, выкорчевать тайгу под хлебородные нивы и завести устойчивое хлеборобство, земледелие. Героизм крестьян-первонасельников Сибири нам, потомкам, непостижим. Своеобычная сибирская этика русского человека, сохранившая православный дух, выросла из двух крестьянских корней, северорусского и среднерусского, при взаимодействии с коренными сибирскими народами – эвенками и бурятами, и, наконец, с варнаками – ссыльными, беглыми поселенцами, что для крестьян оказались пострашнее морозов, наводнений и пожаров.

Помянутые тяготы выковали и закалили своеобычный русский сибирский характер; крестьян спасало от воинственных инородческих племен, от бродячих ссыльных смелость и суровость по отношению к ним. Не случайно, именно сибиряки, остановили немцев под Москвой в декабре сорок первого и решили исход самой великой и ожесточенной битвы всех времен – Сталинградской.

Вспомнил недавно прочитанный очерк из истории Великой Отечественной войны... Ударные соединения вермахта уже занимают исходные позиции для штурма Москвы. Передовые дозоры немцев уже разглядывали в бинокли столицу. Сюда переброшена и победоносная дивизия СС «Рейх». И когда эсэсовцы с закатанными рукавами, паля от живота, приблизились к позициям сибиряков, то нарвались на убийственно точный огонь, на дружные контратаки... Парни из СС были ошеломлены тем, что сибирские мужики вдруг вырвали у них победу и выбили полдивизии. 24-я армия, сформированная из сибирских резервистов, неожиданно атаковала противника и отбросила его на семьдесят километров на запад.

Выходец из иркутской деревни Белобородов Афанасий Павлантьевич, тогда еще полковник, командовал дивизией, которая дислоцировалась на Волоколамском шоссе, откуда танку час хода до Московского кремля. Сталин лично контролировал Волоколамское направление, как наиболее тревожное. Писатель Евгений Воробьев служил о ту пору фронтовым корреспондентом и сообщал: «Я вспоминаю этот день в деревне Нефедьево, когда половина деревни была в наших руках, а вторая занята фашистами. На околице стоял комдив 78-й, тогда еще полковник Белобородов. И говорил (дословно): «Понимаете, браточки, ну некуда нам отступить, нет такой земли, куда бы мы могли отступить, чтобы нам, сибирякам, не было стыдно смотреть в глаза людям».

Вот обычный сибирский характер, непостижимо выносливый, мужественный, что, впрочем, сочеталось с христианским милосердием. Недаром в глухих бревенчатых заплотах у приворотных дверей вырубалось оконце, куда крестьяне на ночь клали немудрящий харч для бродяг. Но ворота им редко отпирали, чтоб не накликав беду на домочадцев – береженого Бог бережет. Спасала и круговая порука, властвующая в сельской общине, а перво-наперво, христианское смирение, терпение, любовь к ближнему.

Вековечная труженица Сибирь содержала всю Россию, и нередко с великой надеждой, как великой кровью и защитила Россию в Отечественной войне. А как ныне выживает Сибирь и, перво-наперво, сибирское село!

Нынешним летом сподобился путешествовать по алтайской земле, гостить в селе Сростки, где родился и вырос Василий Макарович Шукшин. Величавая краса открывается взору с горы Пикет, что за околицей Сросток, словно паришь поднебесной птицей и видишь, как на Божией ладони, всю благословенную алтайскую крестьянскую землю: бескрайние поля, где Катунь плетет размашистые петли; видишь березовые рощи, сосновые боры, деревеньки, заимки... Хоть и сибирская то земля, а веет Московской Русью, какую ранешние художники любили писать широкими пано-

рамами. Бродил уединенно по горе, любовался и думал, что и Василий Макарович с сыновьей любовью оглядывал родимую сибирскую землю, и со светлой печалью вздыхал: наступят жизненные сроки и покинешь сию прекрасную землю. Жалко... Люблю Алтай, и даже не причудливый горный, а полевой, где сквозь березовые гривы, сосновые перелески золотисто светятся хлебородные нивы, по которым синеватыми волнами проплывает ветер. Люблю старинные алтайские деревни... Я родился и вырос в лесостепном русско-бурятском селе, что на северо-востоке Забайкалья, в семье скотоводов и скотогонов, где, в отличие от смиренных пахотных крестьян, царили нравы язычески вольные, а порой и диковатые. Если бы чудом мне пришлось выбирать себе «малую родину», я бы родился и вырос в старинном алтайском селе, может быть, кержацком, в семье смиренных пахотных крестьян, кои, согласно Священному Писанию, унаследуют землю.

Хотя, словно перед концом света, тоска щемит душу, когда вижу порушенные колхозные фермы с выбитыми глазами, заросшие дурнопьяной травой крестьянские поля, где дико воют одичалые псы, когда вижу сквозь наволочь слез мертвеющие села и деревни, где доживают век старики со старухами да неприкаянно шатаются горькие пьяницы. Душа болит, говорил Василий Шукшин, и воистину: глядя на деревенский разор, ноет, стонет неприкаянная душа...

Но не столь хозяйственная поруха страшна, страшнее то, что российская пропаганда, коя в цепких дьявольских когтях, вот уже четверть века рушит исконный русский характер, вытравляя из характера любовь к Вышнему и ближнему, братчинность, общинность, любовь к православному Отечеству, совестливость, насаждая пороки: богохульство, презрение к ближнему, демонический индивидуализм и гордыню. Пострадал и сибирский характер...

Хотя, пропев зауспокойную скорбь, скажу и заздравное слово: хриstopродавцами некогда были порушены православные храмы, и народ обезбожился, и казалось, что до скончания света, ан нет, и церкви взялись из праха, вера затеплилась в народе, словно свечка на аналое; так и в деревенском мире возрастает новое поколение крестьян, которое щедро пополнится и горожанами, возглаждавшими стать крестьянами, которые вольно ли, невольно вынуждены будут возрождать не только многовековой хозяйственный опыт, обретать природолюбие и природознание своих предков, но и духовно-культурный, творческий мир пахотных крестьян.

Приезжаю в забайкальское село Погромна, где доживал долгий век в сто шесть лет мой дед по матушке Лазарь Ананьевич Андриевский; в Погромне и встречаюсь с внучатыми племянниками, приятелями – несмотря на молодые лета, все они крепкие трудолюбивые крестьяне, держат уйму скота, имеют свои покосы и пастбища. Они понимают, иначе не выжить, ни житейски, ни нравственно, иначе детей не вырастить, не наставить их на путь созидательной любви к ближнему и Вышнему, к родимой русской земле. И в них я чую, слышу, вижу природно-крестьянский и христианский дух моих героев, корни коих от первого человека, созданного Богом из земли, от Адама и Евы, получивших от Господа в подарок плуг и прялку.

Капитолина Кокшенёва: *В ранних Ваших произведениях о стародеревенском быте вольно ли, невольно звучало и языческое поклонение матери-сырой земле, отцу-небу, живописались деревенские обычаи, обряды, в которых немало языческого, особенно, когда речь идет о гаданиях. А ныне в Ваших повестях и рассказах откровенная христианская проповедь. Как это уживается в Вашем творческом мире?*

Анатолий Байбородин: В сибирском крестьянском быту народное мировоззрение, в отличие от южнорусского, окончательно освободилось от языческого поклонения матери-сырой земле, природным стихиям, взойдя к пониманию природы, как

Творения Божия. Хотя мелкие суеверия и выжили... А южнорусские крестьяне по немощи, по бесцерковному житью верили и во Христа, и во всякую нежить – в чары и Мару, в хозяйнушку и баннушку, в лесовика, озёрника и шишимору болотную – верили, отбивались от нежити и крестом и пестом, и молитовкой и древним наговором, крестным ходом и ночным хороводом. Верили суеверам-ворожеям, колдунам и чародеям; верили в корни приворотные, травы чародейные. Травы добрые – травушка-муравушка; злые – лихие, лютые коренья. В Сибири выжили лишь слабые отголоски языческих суеверий.

Русское язычество я, в молодую пору закоренелый материалист, воспринял в творческий дух без мистического трепета, лишь как дивную поэтическую песнь природе и старокрестьянскому миру. В молодые лета до одури начитался старин про неведомую и нечистую силу – про колдунов, волхвиток и прочую нечисть, прости Господи. Начитался про нежить и в фольклорно-этнографических сочинениях, и в мифологических сказах, и у Гоголя, Снегирева, Афанасьева, Максимова, Сахарова, и у моих земляков фольклористов и этнографов Виноградова, Зиновьева, Болонева. И впал в прелесть: в повествованиях «Поздний сын», «Не родит сокола сова», в рассказе «Господи, прости», в очерке «Семейский корень» живописал рождественские, крещенские, купальские и покровские гадания, святочные колядования, и о проделках водяных, русалок, леших, колдунов и ведьм. Но в более поздних редакциях убавил поэтическую прыть, осмыслил язычество, как трагедию русской души, что мечется меж языческой *вседозволенной* волей и христианской волей от порочных страстей. Ощущая в народных обрядах природную красу, русский задушевный лиризм, понял, что, тем не менее, во многих было предостаточно плотского буйства, пьяного разгула, дикого любострастия, когда «кошуну и блядословие любят больше (церковных) книги, когда откровенно «бесам жряху».

Против бесовских кобей, как говаривали в старину, – то есть против обожествления природы, чернокнижного травоволхования, огневолхования, водоволхования, суеверных обычаев, обрядов и примет, против плотского, языческого буйства в праздники, – во все наши крещеные века восставали благочестивые православные христиане, каралось это и церковной и царской властью.

Слишком сложен, слишком противоречив русский характер, в котором мучительно, нередко для души разрушительно уживались вера иступленная и разгул, слезное покаяние и свирепый грех. Церковь и кабак. Я бы даже сказал, что он, русский характер, и самим-то русским, маловерным, подчас непостижим; они и сами-то себя не могут до конца понять, и порой даже и не знают, что ожидать от самого себя завтра. Это особенно видно из крестьянской жизни, воплощенной в том же месяцеслове.

Православные воззрения полностью переворачивают наши привычные мирские взгляды на земную реальность, а значит, и на мирскую литературу, художественно воплощающую земную реальность. Ибо литература, как и все мирское искусство, за малым исключением, опирается на мудрость мира сего, мудрость людей, что в христианском понимании – безумие, поскольку христианство видит истину лишь в мудрости горней, не от мира сего, то есть, не в человеческом мечтании, но в божественном промысле. По этой причине религиозная литература, где божественная мудрость, воплощенная в Священном Писании, в святоотеческих словах и поучениях, чаще всего несовместима с мирской художественной литературой. Нередко то, что в мирской литературе воспето как добро, в духовно-религиозной понимается как зло.

Полярное, несовместимое положение христианства и литературы начинается с самого главного, с понятия жизни человека. В мирской литературе жизнь – земное обитание человека, в христианстве жизнь – то, что следует за земным обитанием человека, то есть жизнь души в Царстве Небесном. Либо христианское учение делит

человеческую жизнь на вечную (небесную либо в аду) и временную, как приготовление человека к вечной жизни. Для писателя жизнь земная, с воспетыми радостями и горестями – всё, дальше смерть и неведомо что, для православного христианина земная юдоль лишь испытание души перед вечной жизнью. А потому писатель, описывая смерть, – показывает ее как великую трагедию, как страшный и непостижимый конец всего, для православного христианина умирание плоти страшно лишь с точки зрения нераскаянности земных грехов перед вечной жизнью души.

Лишь через православную веру и постиг я истину, что все, кроме веры, – блуждание слепых во тьме. Всё в жизни, в искусстве оценил в согласии с Христовым Словом и многое в русской классической литературе, в своих сочинениях переосмыслил согласно Истине.

Капитолина Кокшенёва: *«Деньги – родина безродных», – сказал кто-то из умных иностранцев. Я думаю, что Вы это очень хорошо знаете и можете сказать почему. Почему все, кто готов проявлять безразличие к деньгам, сброшены с «корабля современности»? Я, конечно, не говорю о той нищете без Бога, о которой говорил нам Достоевский. Эта нищета страшна. Но, может быть, мы сами виноваты в том, что не хотели быть успешными в «новом мире»? Какая жизнь вам приходится впору? Что говорит Вам собственный опыт – уже и немаленький?*

Анатолий Байборodin: Меня окаянному русскоязычному времени отвергнуть было просто – писатель известный... в застольном дружеском кругу, а, скажем, Валентина Распутина или Василия Белова, тоже певцов крестьянского мира, даже ельцинская воинственно космополитическая власть не смогла загнать в небытие, поскольку русское крыло брежневской власти, говоря нынешним языком, с таким мировым размахом «раскрутило» эти имена, что уже и неподсильно загнать их в забвение. Властвующая нежить (а она может быть и русской по крови), как и в смуту начала прошлого века, так и нынешнего, привечает литературу не русскую, а русскоязычную, где процветают и писатели-руссофобы, и писатели, русские по крови и по любви к России, но оторванные от истинно русского, суть крестьянского, духа – либо умозрительные и нервные модернисты-метафористы, либо полужурналисты, либо средне-русские, равнинно серые, пишушие «инструкции от перхоти». Мне, увы, не хватило русско-советской власти, а в ту пору не хватало бойкости, чтобы обрести звучное имя, тогда бы, может, и со мной носились как с писаной торбой. Но, увы... Вообразим, что Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, еще неведомые читателю, написали бы «Царь-рыбу», «Привычное дело», «Прощание с Матерой», и что бы их ожидало?.. Русскоязычные журналы указали бы на дверь – поцелуй пробой и вали домой, а напечатали бы помянутые произведения лишь русские журналы, если бы, конечно, некий заведующий отделом прозы – «асфальтовый писатель» – не раздолбал в пух и прах, повинив в диалектизме, этнографизме, фольклоризме и словестном арнаментализме. И русский народ, не говоря уж о мире, слыхом бы не слыхивал про этих писателей.

Советский двадцатый век для русской литературы – судьбоносный: два предыдущих века литература (повеличенная классической) была дворянской (слегка различной), а после смуты впервые в русской истории в искусство, в том числе и в литературу, вошел сам народ от сохи и бороны и предвнес в искусство двухтысячелетнюю необозримую народную культуру.

Когда вместе с Империей рухнуло государственное книгоиздание, я оцепенел, я не знал, как жить дальше, потому что десятилетия, перебиваясь с хлеба на квас, вдохновенно и самоотреченно трудился над своими повестями и рассказами, и мне светила счастливая издательская судьба (в двух столичных издательствах, в родном иркутском приступили к работе над моими книгами). В советские времена ценилась

даже и крепкая проза, не говоря о талантливой, издательства выплачивали писателям щедрые гонорары, на которые можно было покупать квартиры, и мощно была развита сеть книготорговли. И вдруг все рухнуло. И читателей в России резко поубавилось, отчего нынешний серьезный писатель похож на сумасшедшего, который вещает зарешеченному окну. Тяжело я переживал в ту пору – утратился смысл жизни, но потом смирился, утешил себя. Не по писательской славе примет нас Господь; за славу еще и придется держать тяжкий ответ. Пришлось затянуть потуже ремень на брюхе и выживать – десять лет читал русскую стилистику в университете, потом служил в издательстве. С точки зрения славы и земных благ, в сравнении вышепомянутыми народными писателями, в сравнении с «бульварными беллетристами», моя писательская судьба убога, но, видимо, в этом и был Божий промысел о моей судьбе: будь у меня слава и деньги, я, выросший в разгульном и разбитном селе, потом вдосталь хлебнувший порочного богемного житья, не устоял бы перед грешными соблазнами мира сего и пустился во все тяжкие. И без того в душе столь смуты и разлада, что порой и жизнь не мила.

Все за упокой да за упокой, завершу во здравие... Унынье – грех. Как в народе говорят, наладился помирать, сей рожь. Будем уповать на чудо – на то мы и русские, чудные и чудные – что воцарит на Русском Престоле русская власть, обернется благодущным лицом к своей родной, русской традиционной литературе, осознав ее главенствующее положение в культуре по сравнению со зрелищными искусствами. Возрождение русского национального характера в православном воцерковлении – не обряда лишь ради, а с полной и неколебимой верой, что по любви к Вышнему и ближнему удостоимся Царствия Небесного; на земле же русское возрождение невозможно без возрождения русского искусства, истинно и глубинно простонародного по духу и слову.

Владимир БОРОДИН,
доктор экономических наук

АЛТАЙ: ЧТО ПРИНЕСЛИ НАМ РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ?

В суете повседневности как-то без должного внимания осталась весьма значимая для нас дата – четверть века начатым в конце 80-х годов прошлого столетия экономическим реформам. По замыслу инициаторов они были призваны вытеснить одряхлевшую плановую экономику, государственные и социальные институты советского периода и построить современную рыночную экономику с соответствующими ей атрибутами государственного управления и идеологическими установками. Безусловно, необходимость реформ была очевидной для создания стартовой площадки экономического рывка в XXI век с его глобализирующейся высококонкурентной экономикой и свободным информационным пространством. Беда России в том, что у руля объективно назревших реформ оказались люди, не обладающие государственной мудростью, не имеющие достаточного опыта и основанных на нем знаний, стратегического мышления, необходимых для их проведения. Они были вынесены на гребень перестроечной волны горячим желанием россиян как можно быстрее обустроить жизнь «как у них». Но недаром говорят, что то, что делается быстро, хорошо редко случается.

Что же принесли реформы нашему Алтайскому краю, типичной для России провинциальной территории на юге Западной Сибири? Покажем это на примере промышленности.

В структуре валового регионального продукта (ВРП), характеризующего лицо алтайской экономики, за годы реформ произошли существенные сдвиги.

Уменьшилась доля промышленного производства, выросла доля торговли и услуг. Сельское хозяйство в ВРП практически сохранило свои дореформенные позиции. В структуре промышленного производства также отмечаются серьезные изменения: выросла доля пищевой и мукомольно-крупяной промышленности (с 21% в 1990 г. до 36% в 2013 г.) при сокращении производства машин и оборудования, химической и нефтехимической промышленности. Сегодня положение дел в обрабатывающей промышленности наряду с пищевой отраслью определяют несколько крупных предприятий («Алтайкокс», «Алтайвагон», «Кучуксульфат», Алтайский шинный комбинат, «Эвалар»), снижение объемов производства на которых при ухудшении ситуации на рынках их продукции «обваливают» и объемные показатели промышленного производства в целом по краю.

Результаты реформирования промышленности, прямо скажем, не радуют. В период с 1991 по 1998 годы объем промышленного производства в Алтайском крае снизился на 2/3 от дореформенного (1990 г.) периода, что вдвое превышает спад промышленного производства в России. Да и сегодня мы еще не вышли на дореформенный уровень: объем промышленного производства в 2013 г. составил около 75 % от 1990 г. Но дело даже не только, да и не столько в объемах. У нас исчезли или находятся на этой грани такие высокотехнологичные производства как тракторо-

и дизелестроение, приборостроение, станкостроение, ряд химических производств. Ведут борьбу за выживание немногие сохранившиеся предприятия легкой промышленности. Серьезные потери понес оборонно-промышленный комплекс.

Высокий уровень износа основных производственных фондов (около 55%) на предприятиях обрабатывающей промышленности, законсервированный на уровне 60-80-х годов прошлого столетия, технический уровень большинства промышленных предприятий ведут к нарастанию технологической отсталости и, как следствие, потере конкурентоспособности в условиях открытости промышленного рынка.

Все это определяет нарастающую тенденцию снижения потребности в высококвалифицированных рабочих и инженерных кадрах, в научных исследованиях и выполняющих их научных организациях. Параллельно проявляется и другая тенденция – потеря престижности рабочих и инженерных профессий, возникновение дефицита высококвалифицированных кадров на работающих предприятиях. В целом в крае снижается качество кадрового потенциала в производственной сфере на фоне уверенного роста аппарата чиновников и связанных с ними управленческих структур всех уровней.

Что может вернуть нашей промышленности устойчивую конкурентоспособность? Неотлагательная модернизация производственного аппарата: внедрение новых современных технологий и технологического оборудования, повышение квалификационного уровня кадров, проведение организационно-структурных преобразований, направленных на внедрение маркетинговой модели поведения персонала и создания ориентированных на рынок и его потребности производственных структур.

Что же сдерживает эти преобразования?

Еще десяток лет назад можно было сослаться на отсутствие «рыночного мышления» у руководителей и собственников предприятий. Сегодня понимание необходимости модернизации и обновления производств, ориентации на запросы потребителя, повышения конкурентоспособности продукции и самих предприятий, есть. Чего же тогда нет? Нет собственного финансового капитала и промышленной политики, направленной на государственную инвестиционную поддержку обрабатывающих отраслей промышленности в осуществлении модернизации и обновления их производств. Это является первостепенной причиной низкой инновационной активности по опросам как российских, так и алтайских предприятий. По нашим данным собственные финансовые ресурсы предприятий промышленности составляли в 2011 году около 10,0 млрд. руб. или 72 % от общего объема располагаемых предприятиями финансов. При этом инвестиционный портфель промышленности края составил 3,9 млрд. руб. Сколько же нужно для модернизации промышленности края, спросит дотошный читатель, возможно, этих средств и достаточно? Экспертная оценка дает объем инвестиций в обновление производственного аппарата промышленности края в пределах 105 млрд. руб. То есть при сегодняшних темпах обновления нужно 25 лет для создания современного конкурентоспособного промышленного производства. Казалось бы, привлекай заемные средства у коммерческих банков. Однако их участие в долгосрочных инвестиционных программах модернизации промышленного производства носит эпизодический характер, использовать предлагаемые кредитные ресурсы на условиях банков ввиду высокой процентной ставки не представляется возможным. Особенно низкая инновационная активность и темпы обновления основного капитала на предприятиях по производству машин и оборудования, состояние которых во многом определяет эффективность и конкурентоспособность всей российской экономики. Совершенно очевидно, что при сегодняшнем состоянии основных фондов промышленности и существующей стоимости долгосрочных заемных средств запуск полноценного механизма модернизации нашей промышленности – задача неопределенного будущего.

Перечисленные «достижения» реформ не являются уникальным явлением для Алтайского края. Негативные процессы прошли во всей промышленности России, что объясняется выбранной моделью реформ, желанием как можно быстрее «свалить неэффективную советскую экономику», создать класс частных собственников на средства производства. Более глубокий спад в алтайской промышленности объясняется, на наш взгляд, двумя причинами. Первая из них – утяжеленная структура промышленного производства, в котором, начиная со второй половины XX столетия, стали доминировать фондо- и капиталоемкие производства машиностроительной, химической и нефтехимической промышленности, имеющие глубокие кооперационные связи в рамках союзных министерств, а также попавшие, начиная с конца 80-х годов, под пресс сокращения заказов на военно-техническую продукцию предприятия ОПК. Нельзя не сказать и о просчетах, допущенных тогдашней администрацией региона в определении приоритетов региональной промышленной политики.

Лет 15 тому назад одна из популярных в то время газет опубликовала мое интервью под броским заголовком на первой полосе: «В крае нет промышленной политики». Журналисты, конечно, погорячились с заголовком. Политика была, но в ее основе лежала приоритетность поддержки скудными возможностями краевого бюджета крупных промышленных предприятий. А «мелочь» – предприятия пищевой промышленности, создаваемые на голом месте производства промышленных товаров для населения, в число приоритетных не вошла. Время доказало ошибочность такой политики: и «крупняк» не спасли, и «мелочь» не поддержали. А как раз пищевая промышленность, обладающая местной сырьевой базой, устойчивым потребительским спросом и межрегиональной сбытовой сетью, уверенно наращивала объемы производства, обновляя производство, расширяя ассортимент и повышая качество продукции. Она становится лидером промышленности края, сохраняя устойчивость даже в кризисные периоды 1992-1998 и 2008-2009 годы. Однако до сих пор на обочине нашего внимания новые промышленные производства, выпускающие рыночно востребованные промышленные товары. До сих пор достаточно распространено мнение о том, что промышленность находится на грани полного исчезновения из экономики края. Да, в машиностроении исчезли такие заводы как Алтайский тракторный завод и большинство других предприятий сельхозмашиностроения. Неожиданно прекратил свое существование Барнаульский аппаратно-механический завод, выпускавший востребованную рынком продукцию. В химической промышленности не стало Бийского завода «Полиэкс», Алтайхимпрома, Комбината химических волокон, Завода синтетических волокон.

В приборостроении такие крупные предприятия как Радиозавод и Геофизика превратились в малые предприятия со случайными заказами. Этот перечень можно продолжить предприятиями, находящимися сегодня на грани банкротства или в течение ряда лет проходящие такую процедуру при полном безразличии к их судьбе собственников, комфортно проживающих за пределами края.

Большие трудности испытывают многие сохранившиеся предприятия: потеря рынков вынуждает их оптимизировать (сокращать) производственные мощности и персонал.

Все это так. И, тем не менее, промышленность края вносит наибольший вклад в валовый региональный продукт, остается одной из основных бюджетообразующих сфер его экономики и определяет занятость населения в крупных городах (Барнаул, Бийск, Рубцовск) и в городах, относящихся к моногородам (Заринск, Алейск). Очевидно, что она не вернется к тем объемным показателям и номенклатуре промышленных товаров, которые были в последние десятилетия плановой экономики, не вернет и ту динамику своего развития. Отраслевая структура промышленности, выпускаемая продукция, объемы ее производства сегодня определяются совершен-

но иными, рыночными законами и политикой государства в области регулирования и обуздания стихийности проявления рыночных сил в ее экономике.

Но на примере того же сельхозмашиностроения можно говорить о возрождении отрасли. Конечно, вряд ли мы будем производить на Алтае конкурентные на рынке тракторы или другую сложную сельскохозяйственную технику. Но уже сегодня в крае ряд предприятий (Рубцовский завод запасных частей, АНИТИМ и др.) выпускают широкую гамму почвообрабатывающих орудий, поставляя их во все российские регионы.

Проводимый нами на протяжении 20 лет анализ и оценка состояния алтайской промышленности позволяет предложить следующий вариант ее развития.

Первое. *Приоритетность отраслей экономики и промышленного производства Алтая должна исходить из естественных конкурентных преимуществ,* которые обеспечивает его природный, производственный, трудовой и интеллектуальный потенциал. К числу таких отраслей следует в первую очередь отнести пищевую промышленность и ее сырьевую базу – сельскохозяйственное производство. Представляется, что большим внутренним потенциалом саморазвития обладают на Алтае производство фармацевтической и витаминной продукции, относительно несложной бытовой техники (на базе предприятий ВПК), сельскохозяйственной техники, исходя из потребностей зонального земледелия, а также той промышленной продукции, востребованность и рентабельность производства которой определяется нашим трансграничным положением с государствами Средней и Центральной Азии (например, деревообработка и изделия из дерева).

Второе. *Промышленная политика* по отношению к таким крупным фондо- и инвестиционным отраслям, как машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, черная металлургия, рынки сырья и готовой продукции которых являются преимущественно межрегиональными, а в отдельных случаях и мировыми, *должна строиться, исходя из возможности обеспечения конкурентоспособности продукции на этих рынках.* Такими возможностями, в первую очередь, обладает уникальная высокотехнологичная промышленная продукция. Возможности региона в проведении такой политики определяет необходимость обновления производственного потенциала. В этой связи нужно стимулировать процесс включения предприятий этих отраслей в крупные вертикально интегрированные трансрегиональные компании, имеющие устойчивые позиции на рынках материальных, финансовых ресурсов и сбыта. *Задача промышленной политики – обеспечить условия для протекания этого процесса с максимальным сохранением интересов экономики края.* При этом следует помнить о том, что именно крупная промышленность обеспечивает такой важный показатель качества жизни, как занятость населения.

Третье. *Необходим возврат к многоукладности производства,* существовавшей в крае вплоть до начала 60-х годов. *Представляется целесообразным выработка комплекса мер по поддержке промышленного предпринимательства в мелкотоварной его форме на базе современных технологий и развития кооперационных связей с крупными и средними промышленными предприятиями.* Развитие многоукладности промышленного производства позволит ускорить структурные сдвиги в сторону отраслей, ориентированных на потребительский рынок Сибирского федерального округа, с максимальным использованием внутреннего сырьевого потенциала.

Представленные выше итоги рыночных реформ в промышленности, безусловно, не дают полной картины постреформенного состояния экономики края. Необходим глубокий и объективный анализ ситуации в сельском хозяйстве и других отраслях, а также положения дел в социальной сфере. И все-таки несколько штрихов, характеризующих изменения в экономике края, приведу.

Глубокие и далеко не всегда конструктивные изменения произошли в сельском хозяйстве – важнейшей для Алтая сфере его экономики. Со сменой института собственности на землю резко изменились не только производственные отношения, но и быт села, социальные отношения и социальная инфраструктура. Большинство сегодняшних земельных собственников, владельцев крестьянских хозяйств и руководителей сельскохозяйственных предприятий совершенно определенно заявляют, что быт села – это дело сельской администрации и самих селян. А бюджеты сельских муниципальных образований в большинстве случаев не способны даже мало-мальски поддерживать оставшуюся от советской власти инфраструктуру и соцкультбыт. Конечно, усилиями администрации края отношение к проблемам здравоохранения, образования, культуры в последние годы меняется. Но приходится констатировать, что масштаб разрушения десятилетиями создаваемой социальной сферы села слишком велик и не может быть решен в рамках существующих межбюджетных отношений. Не менее болезненная проблема села – нарастающая безработица. У нее, конечно, есть объективные причины: рост технической вооруженности, особенно в земледелии, развитие частнособственнических отношений, вывод из хозяйственного оборота убыточных производств. Безработица рождает апатию и нарастание извечной русской беды – пьянства. По большому счету идет деградация сельского социума. При этом нельзя забывать, что за 70 лет прошлого столетия на селе сформировались определенный социально-психологический тип личности и социальные отношения, имеющие сильную коллективистскую составляющую, корни которой в нашей многовековой истории. Появление частной собственности на землю и нового класса крупных земельных собственников разрушают эти отношения, выстраивая новую поведенческую парадигму. На мой взгляд, эти процессы требуют более внимательного исследования социологической наукой как в части положительных эффектов их проявления, так и, что более вероятно, возникающих угроз.

В нашем анализе нельзя не сказать и о такой сфере экономики края, как туризм. Внимание со стороны власти к этой сфере более чем достаточно. Некоторые представляют ее как локомотив экономики края. Да, туризм снимает в какой-то мере остроту проблемы занятости населения, особенно в сельской местности и малых городах. Однако вопросы остаются. Например, что дает туризм краевому и муниципальным бюджетам? Окупит ли он хотя бы в среднесрочной перспективе немалые финансовые вложения государственного и регионального бюджетов в его инфраструктуру? Тревожит возрастающая экологическая нагрузка на наиболее популярные туристические и рекреационные маршруты. Думаю, что экономика и экология туризма также ожидают добросовестного и объективного анализа.

Представление об итогах рыночных реформ в крае будет неполным, если не проанализировать данные, характеризующие социальное положение населения. Приведу статистику потребительских расходов населения Алтайского края за последние 25 лет – потребление основных продуктов питания, непродовольственных товаров, расходы на оплату услуг ЖКХ.

Из этого анализа следует (анализируемый период с 1985 по 2010 гг.), что в общих потребительских расходах расходы на покупку продуктов питания и непродовольственных товаров составляли в 2010 г. 35,5% и 36,8% соответственно, незначительно отличаясь (примерно на 3,5%) от уровня 1985 г. В то же время расходы на жилищно-коммунальные услуги выросли в 2010 г. в 15,4 раза и продолжают расти. В 2010 году среднестатистическое потребление продуктов питания выросло по овощам и фруктам, рыбным и молочным продуктам. Потребление остальных продуктов питания практически сохранилось на уровне 1985 года. Но когда анализируешь потребление по доходным группам, то сразу бросается в глаза, что 10% наиболее обеспеченного населения потребляет больше овощей в 1,7 раза, фруктов и ягод в

3,4 раза, рыбных продуктов в 2,4 раза, мясных в 2,2 раза, чем 10% наименее обеспеченного населения. Разница среднедушевых расходов этих 10% групп составляет 12,8 раза (33564 руб. и 2621 руб. соответственно), что также результат рыночных реформ, только к положительному его не отнесешь.

И все-таки, для оптимизма тоже есть основания. Медленно, но жизнь налаживается. Промышленники начинают говорить не только об объемах производства, но и о модернизации своих производств, закупке и освоении нового оборудования и технологий, о повышении конкурентоспособности своей продукции и своих предприятий. И не только говорить, но и делать в этом направлении столько, сколько позволяет им текущая финансовая ситуация. Сельское хозяйство более консервативно, но и там, не так быстро, как хотелось бы, появляются точки роста, повышается эффективность производства. С помощью государственной поддержки приобретается новая отечественная и импортная техника. А как изменились наши федеральные и краевые транспортные магистрали? Заметно меняется облик наших городов, реконструируется их инфраструктура. Изменили нашу жизнь и новые информационные технологии (мобильная связь, Интернет).

Известно, что делать прогнозы – дело неблагоприятное, но могу предположить, что если эволюционный характер нашего постреформенного движения сохранится, то можно надеяться на становление устойчивой экономики, обеспечивающей достойные социальные стандарты. У нас для этого есть все: щедрая природа и главное наше богатство – земля, талантливые и профессионально подготовленные люди, естественные конкурентные преимущества территории, которые дают возможность формирования эффективной экономики.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

ТОРГОВЦЫ ПОДЕРЖАННЫМИ ИДЕЯМИ

Скоро человечество сможет отметить юбилей – 100 лет женского равноправия. Некоторое неудобство состоит в том, что точной даты нет. Женщины начали работать вне дома после Первой мировой войны. И работают почти 100 лет. Большой срок. Массовый эксперимент. Пора подвести итоги.

Чего женщины достигли в профессиональной сфере? Ответ: да ничего особенного. На первый взгляд кажется странным и возмутительным: столько вокруг докторов наук, не говоря о кандидатах, начальниц департаментов, одних федеральных министров вон несколько голов. И это, по-вашему, ничего особенного?

Да, это и есть ничего особенного.

Ни одна женщина не стала выдающимся – без натяжки – ученым. Не женщиной-ученым, а великим ученым, и притом женского пола. Улавливаете разницу? Нет таких. Может быть, великим философом? Писателем? Художником? Ну, таким, чтоб номер один? Нет таких. Может, политиком кто-то стал? И этого нет.

Максимум максимум женщина становится НЕ ХУЖЕ мужчины. Пришел бы самый обычный более-менее рядовой мужичонка на это место и сделал бы то же самое. А носятся с этой якобы великой дамой не потому, что она сделала что-то особенное, а просто потому, что – надо же! – она женщина. Вот, пожалуйста, женщина-математик Софья Ковалевская. Титул, кстати, смешной, нелепый и даже обидный. Не математик, а именно «женщина-математик».

Женщины – неплохие преподавательницы, журналистки. Преподавателей и журналистов Хайек очень правильно называл «торговцами подержанными идеями». Вся женская продукция – вторична и подражательна. Впрочем, не только идеями торгуют женщины вполне успешно – они вообще хорошие торговцы. Они инстинктивно владеют искусством обольщения, а продажа – это всегда акт обольщения.

А заплачено за эти – скромные! – достижения ни много ни мало – ВЫМИРАНИЕМ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Преувеличение? Да какое уж тут преувеличение, когда налицо, скорее, преуменьшение. Во ВСЕХ развитых странах с преобладанием белого населения наблюдается депопуляция. А если взять не все население, включающее в себя гастарбайтеров и их потомков, а только исконное белое, то картина получится и вовсе пугающая.

Важнейшим и нагляднейшим демографическим параметром является очень простая и легко понятная цифра – количество детей, рожденных одной среднестатистической женщиной за всю ее женскую жизнь. Так вот и у русских, и у немцев, и у французов эта цифра недотягивает до двух. У американцев чуть больше двух, но, уверена, если посмотреть показатели не в целом, а по WASP, то выйдет гораздо меньше. Чтобы всего лишь заместить родителей, надо твердо родить парочку, ну и поработать за тех, кто не родил вообще или ребенок погиб, и т.п.

Наличие детей и их количество – это часть обобщенного представления о желанном и престижном образе жизни современной женщины и вообще современного человека.

В моем поколении, в 70-80-е годы, иметь детей числом больше двух считалось НЕПРИЛИЧНО. Продвинутые, те, кто сейчас именуется «креативным классом», имели мало детей. Это был своего рода социальный стандарт, показатель продвинутости, причастности к высшим ценностям. Мол-де, я не хавронья, не крольчиха какая-нибудь, у меня развитые культурные интересы.

Именно таким простым способом объясняется то, что многим кажется какой-то таинственной загадкой: разрухи, войны, голод-холод – а бабы рожают. Стало гораздо сытнее и теплее – бабы рожать перестали. А рожать они перестали потому, что их интересы сместились на другое поле. И то, что происходит дома, стало казаться скучным, плоским, банальным и недостойным того, чтобы на это тратить силы.

Не этим самоутверждается современная женщина.

Это ведь стратегически важно: чем человек самоутверждается. Если ЭТО престижно, вынести трудности – легко. Мало того, если ЭТО престижно – трудности легки и сладки. А вот если это не престижно, то даже умеренные затруднения кажутся невыносимой доуккой.

В «Анне Карениной» есть эпизод: Долли с детьми (их, кажется, шесть) возвращается из церкви. Они все наряжены, она ими гордится и рада, что подъехавший Левин «видит ее во всей ее славе» – так сказано в тексте. То есть много детей – это предмет гордости, это ее самоутверждение. Достижение. Других достижений тогда у нее быть не могло.

Ну и, конечно, сидеть за компьютером – менее ответственно и энергозатратно, чем воспитывать нескольких детей.

А поскольку люди обычно выбирают то, что более престижно и одновременно что менее энергозатратно, совершенно понятно, что женщины выбирают карьеру, а не семью. Придумать и объяснить, почему так – очень просто. Зачем же я училась? Ведь у меня такая ценная профессия. Как мы проживем на одну зарплату? Я тоже хочу усовершенствоваться и расти, а не сидеть в четырех стенах. И все эти объяснения не лишены разумности. Вполне резонные объяснения.

Но народ при этом вымирает.

Только вот не надо вилить – что-де можно совместить одно с другим, зачем противопоставлять, можно все успеть и суметь... Нельзя! Одно-двух детишек еще как-то можно воспитать между делом, а трех и больше – не выйдет. Да и НЕ БУДЕТ она, работающая и делающая карьеру, рожать троих.

Вот такая цена была заплачена белым человечеством за эмансипацию, равноправие, женское образование, сознательное материнство и прочие замечательные вещи. Как невиннейшая засвеченная фотопластиночка привела человечество впоследствии к атомной бомбе, точно так и хорошие, правильные и вполне невинные идеи Клары Цеткин и Розы Люксембург привели к бомбе другого рода, которая к тому же уничтожает людей без лишнего прохота и радиационного загрязнения местности – так, знаете, деликатно и незаметно.

Тут, как мне кажется, многие не понимают одной фундаментальной вещи. Демократическая риторика приучила людей воображать, будто благо народа – это сумма благ отдельных людей. То есть, если Ивану, Петру, Марье, Анне – хорошо и удобно, то автоматически (средневековый схоласт сказал бы *ipso facto*) это составляет благо народа. На самом деле это вовсе не так, хотя хотелось бы, чтобы было так, и всякие там кандидаты в депутаты врут, что так оно и есть. А оно – не так.

Отдельный человек живет свою маленькую, короткую по историческим меркам жизнь и, конечно, хочет прожить ее полегче и поприятнее. Но для того, чтобы сохра-

нилось и расширилось общее – народ, – приходится жертвовать приятностями отдельных людей ради общего. Народ – это не только ныне живущие люди, это некое, как говорили в XIX веке, «историческое тело», это некая коллективная личность, чей век не 70 лет, а тысяча и больше. Эта личность имеет свои – исторические – задачи, амбиции, она мечтает о расширении своего присутствия и влияния в мире. Она, как и отдельный человек, мечтает о силе, славе, влиянии. Или не мечтает. Но так или иначе у народов есть некие исторические призвания, роли, как отдельный человек может быть призван к роли художника или ученого.

Я не склонна обсуждать сейчас мировую роль России, но совершенно очевидно: какова бы она ни была – для ее осуществления нужны русские люди. Если русские люди заместятся другими людьми – это будет другая история, другой народ и все другое. Вот этому историческому образованию – народу в истории – и подчинены жизни отдельных людей. Возвращаясь к «женскому вопросу», можно сказать: для каждой тетеньки быть эмансипэ удобно и приятно, а для народа – убийственно.

Кто-то может сказать: а мне наплевать на народ, историю и все прочее, я хочу реализовать свою неповторимую личность. Ну что ж, это тоже позиция. Хорошо об этом сказал «человек из подполья» Достоевского: мир пропадет или мне сегодня чаю не пить? Пускай лучше мир пропадет, заключает герой. Таков его выбор. Собственно, по факту такую позицию занимают большинство жителей продвинутых и прогрессивных стран. Французы, англичане постепенно и незаметно сдали свои страны и культуры пришлым народам. В качестве анестезии перед смертью им предложили учение о толерантности, мультикультурности и политкорректности.

Что я предлагаю? Бабья дорога – от печки до порога? Ну это как понимать... А мужик-то крестьянин, что – в Нью-Йорк летал, пока его половина топталась от печки до порога? Эта поговорка всего-навсего говорит, что главное дело женщины – дома. Ее дело – дети. Надо пропагандировать роль матери. Показывать, как это интересно, какая это творческая работа – воспитывать детей. Сегодня воспитывать детей не умеет практически никто. Прежде всего по той простой причине, что детей очень мало. В окружающей среде практически нет ОПЫТНЫХ родителей. Один-два – не количество. Вообразите прораба, который построил один дом. Или журналиста, написавшего одну статью. Того и другого мы по справедливости назовем начинающим, стажером, но уж никак не знатоком и умельцем. А ведь это тоже технология – воспитание.

Посмотрите, как грубо, скучливо говорят с детьми молодые мамашки на улицах и в супермаркетах. Буквально «стой тут» и «заткнись». Дети им докучны, они мешают, без них было бы лучше. Нет, они так не думают, в таких вот словах, но факты свидетельствуют именно об этом. Почти никто не умеет общаться с детьми, рассказывать им что-то. ЖИТЬ с детьми не умеют. Нахождение с детьми – это ощущается как время, вычеркнутое из жизни, некая антижизнь. Надо отбыть номер – ну она и отбывает. А вообще-то хорошо бы его куда-нибудь сдать – в лагерь, что ли, какой-нибудь... Если есть средства послать в заграничный лагерь – это снимает все вопросы и, главное, излечивает от ноющего чувства вины: что-то я не так делаю. От детей откупаются, вернее, не от детей, а от своего подсознательного чувства вины. Отсюда большие траты на них, бесконечные поездки, то-сё.

Научиться молодой матери не у кого. Ее мать была такой же. Учить чему-то детей? Да я что – каторжная? Вот заплатить за суперпрестижную школу или учителю – это можно, если деньги есть. Я лично учила обоих детей иностранным языкам сама. И довольно успешно. Так вот в своем окружении я больше таких примеров не знаю. Есть даже теория, что именно учить ребенка мать не должна, это не ее роль. Хотя Ушинский писал свою азбуку в расчете на то, что учить по ней будет именно мать, дома. И во многих семьях к гимназии готовили дома матери. То есть, начальную школу проходили дома.

Многие считают, что материнский труд должен оплачиваться. Я не знаю, есть ли на это средства, если есть – можно было бы что-то подкинуть. Но просто деньгами дела не решишь. Все равно работать вне дома будет проще и наваристее. Кстати, об оплате. Когда-то мужчине платили зарплату больше, чем женщине, за равный труд. Потом феминистки добились: за равный труд – равную зарплату. И никто не вспоминает: а почему раньше-то мужику платили больше? Ну, принято считать, потому что не было прогресса и прав личности. А на самом деле предполагалось, что мужик содержит семью. В его получке была доля жены и детей. А женщина, считалось, раз работает – значит, одиночка, ей содержать никого не надо.

И – главное – пропагандировать, пропагандировать материнскую роль. Сделать ее престижной. Ох, непросто... Но можно. Надо показать, как она замечательно интересна, эта роль. Какое это увлекательное занятие. Неинтересное сегодня можно превратить в интересное завтра.

Интересность – вообще понятие историческое и социальное, а не чисто психологическое. В моей молодости работа в банке считалась верхом убогости и занудства. Потом все дивным образом переменялось, и вдруг стало необычайно интересно, увлекательно, амбициозно, современно. Главное – престижно.

Конечно, взрослых теток ты не «перекуешь», но если взяться за школьниц-младшекласниц – вполне даже возможно.

Нормальная, среднестатистическая девчонка должна готовиться к роли мамы. Исключения всегда будут, но это уж какие-то особо талантливые, которые пойдут по профессиональной стезе. Кстати, помогать им не нужно, даже полезно слегка мешать. Если чего-то стоит – пробьется. Единицы погоды не сделают. Остальные готовятся к роли жены и мамы.

Вот, собственно, что надо сделать, если хотим сохраниться. Ну, а нет – на нет и суда нет.

Валерий СКУБНЕВСКИЙ

ПОДАТЬ ВИНА, ЧТО ГОСПОДА ПЬЮТ!

(Алкоголь в жизни рабочих дореволюционной Сибири)

В дореволюционных научных исследованиях, особенно в периодике, утвердилось мнение, что в Сибири народ больше пристрастен к алкоголю, чем в Центральной России. Среди причин назывались и суровость климата, который провоцировал в зимний период людей «разогреваться» таким образом, и специфика состава населения (много ссыльных), и общий низкий уровень культуры в регионе. Николай Михайлович Ядринцев в известном труде «Сибирь как колония» писал: «Оно (пьянство) распространено среди крестьян, где пьют на сходках, где праздники и свадьбы ведут к недельным запоям; наконец, пьянство не чуждо и городским людям. Все это способствует вырождению и психическим расстройством среди потомства». А ссыльный народник С. Чудновский вообще назвал Енисейскую губернию «пьяной».

Пьянство было широко распространено и среди рабочих, а особенно на золотых приисках. В дореволюционный период золотопромышленность была одной из основных отраслей местной промышленности, в том числе и на Алтае. Хотя основные районы добычи золота были на Востоке – в Иркутской и Енисейской губерниях, Забайкальской и Якутской областях. Разумеется, это явление не осталось без внимания современников, о нем много писали газеты, в их числе, например, томская «Сибирская жизнь», иркутское «Восточное обозрение», красноярский «Енисей». Наиболее подробно осветил эту проблему известный историк, профессор Петербургского университета Василий Иванович Семевский в своем монументальном по объему, двухтомном труде «Рабочие на сибирских золотых промыслах», изданном в 1898 году.

Труд этот В. Семевский писал семь лет, при этом он в течение полугода (в 1891 году) сам проехал по территории всей Сибири, осмотрев все основные золотопромышленные районы, в том числе и на Алтае, работая со многими документами частных компаний, которые до настоящего времени просто не сохранились. Добавим, что такое путешествие стало возможным, благодаря финансовой поддержке известного сибирского предпринимателя и мецената И.М. Сибирякова. В настоящей статье широко используются сведения из капитальной работы В. Семевского, которая уже стала библиографической редкостью.

На протяжении второй половины XIX века численность рабочих на золотых приисках Сибири составляла около 30 тысяч человек, из них 3 тысячи в Алтайском округе. Традиционно в составе данного отряда пролетариата было много ссыльных, в том числе осужденных и по уголовным преступлениям, что, разумеется, влияло и на их облик. Они привносили с собою на прииски нравы уголовного мира, что проявлялось, в частности, в безмерном пьянстве, игре в карты, драках, особом жаргоне.

Особый разгул на приисках царил в период первой волны «золотой лихорадки», т.е. в 30-50-е годы XIX века. Именно в это время администрация (губернская, приис-

ковая) пыталась вообще запретить употребление алкоголя на приисках. Хотя в Горном уставе 1857 года было сказано, что завозить на прииски алкоголь в «самом ограниченном размере» все же можно. Но нельзя было открывать кабаки ближе 50 верст от приисков. Все это порождало ажиотаж у рабочих до начала приисковых работ и после их окончания. Некоторые рабочие брали в золотопромышленных конторах по сто и более рублей задатка и новую одежду в долг и стремились все это поскорее пропить, включая и одежду. Поясним, что зарплата рабочего состояла из задатка, т.е. аванса, и додачи, которая выплачивалась уже после окончания приискового сезона.

Еще большее пьянство охватывало рабочих, когда они двигались с приисков после окончания сезона. В. Семевский отмечал: «Кабаки были расположены с стратегическим знанием дела у всех выходов из тайги... Ближайший к приискам кабак являлся для рабочих раем обетованным, местом, с которого начинался их ежегодный периодический запой». В этих жалких кабаках некоторые из рабочих требовали шампанского – «вина, что господа пьют», им вместо клико несли какой-нибудь бурды, но по цене настоящего шампанского, т.е. по 7-8 рублей за бутылку. А за такую цену в то время можно было купить две овцы. Пьяные оргии сопровождалась куражом. Один из рабочих, купив в лавке рулон алой ткани, велел своим товарищам расстелить ткань как дорожку от дороги к кабаку, прямо по осенней грязи и по этой алой дорожке они и прошествовали к кабаку.

Один из современников пытался выяснить у рабочих, почему они пьют. И рабочие ему отвечали: «что знают свою глупость, знают, что много денег у них пропадает в пьяном виде, но что вино их единственное утешение в горькой доле».

В 50-е годы XIX века на приисках стали во время работ выдавать винные порции. При этом пьянству способствовало то обстоятельство, что нередко золотопромышленник и откупщик – это одно лицо. Были факты, когда подобный «предприниматель» рассчитывался после окончания сезона с рабочими в своем же кабаке и не деньгами, а спиртным. К середине XIX века стала преобладать тенденция не запрещать, а даже поощрять владельцев приисков выдавать рабочим спиртное. Так, в 1859 году председатель Кабинета Его Императорского Величества барон Мейендорф разрешил ежегодно выделять 2 тысячи рублей для закупки мяса и вина для выдачи больным рабочим на Царево-Александровском прииске на Алтае. А в октябре 1863 года Главное управление Восточной Сибири разослало горным исправникам циркуляр, в котором генерал-губернатор М.С. Корсаков рекомендовал выдавать рабочим ежедневную порцию вина, чтобы после окончания сезона они не пускались в загул. Но в то время владельцы приисков не готовы были исполнить такую рекомендацию, так как не заложили в сметы подобные расходы.

В 1863 году было разрешено открывать кабаки на расстоянии 20 верст от приисков. В это же время активизировали свою деятельность спиртоносы. В частности, тайной продажей спиртных напитков занимались арендаторы покосов, которые арендовали луга вовсе не для сенокосения, а для тайной виноторговли.

В 70-е годы генерал-губернатор Восточной Сибири Синельников пытался принять ряд мер к сокращению пьянства рабочих. В 1871 и 1873 годах он обращался в Министерство финансов с предложением вновь ввести 50-верстную зону вокруг приисков, свободную от кабаков. Но министр финансов Рейтерн в письме от 2 февраля 1871 года ответил ему, что это «неудобоприменяемая практика, ибо она приведет к развитию безпатентной торговли вином».

В администрации Восточной Сибири дискутировался вопрос о нормах спирта, отпускаемого рабочим, и как показала практика, несмотря на ряд попыток сократить поток спирта на прииски, он все же рос. Если в 1850-х годах на одного рабочего завозили по ведру спирта (на время сезона добычи), то в 80-е годы – от 2,5 до 3 ведер 80-градусного спирта. Ведро вмещало 12,3 литра, а винные порции отмерялись

сотками, т.е. либо одна сотая ведра (120 г), либо две сотых (240 г), при этом спирт разбавлялся до крепости в 40 градусов.

Но в Западной Сибири, особенно к концу XIX века, потребление алкоголя было меньше, чем в Восточной Сибири и объяснить это можно меньшей долей ссыльных в составе рабочих Западной Сибири. Так, в 1890 году на приисках Восточной Сибири расход спирта на одного человека за сезон составлял от 2 до 3 ведер. Несколько иная картина была на приисках Алтайского горного округа, на территорию которого массовая ссылка не практиковалась, хотя ссыльнопоселенцы и приходили на заработки с сопредельных территорий Томской и Енисейской губерний. В операцию 1893/94 года на прииски Южно-Алтайского золотопромышленного дела было завезено 544 ведра спирта. Здесь на приисках проживало мужчин рабочих 316, женщин – 134, служащих – 28. На прииски Алтайского золотопромышленного дела завезли 893 ведра (рабочих мужчин – 515, женщин – 177, служащих – 65). В 1897 году на 59 приисков Алтайского округа, где в это время было занято рабочих мужчин 2183, женщин – 267, служащих – 198, завезли 3248 ведра спирта, при этом 18 ведер остались неизрасходованными.

Во второй половине XIX века речь о запрете выдавать рабочим винные порции вовсе не шла. При этом утвердилось мнение среди медиков и чиновников, а также части владельцев, что, учитывая суровость климата и тяжесть работ, водка рабочим необходима для поддержания сил. Например, в 1877 году генерал-губернатор Восточной Сибири барон Фредерикс предлагал отпускать «достаточных для поддержания сил винных порций, в особенности в ненастное время».

Обычно винные порции отпускались рабочим по воскресным дням, в праздники, в ряде случаев при аварийных работах или особо тяжелых работах. На некоторых приисках винные порции выдавались даже ежедневно, на других – три раза в неделю. Винные порции были положены и женщинам, которые работали на приисках. Они трудились прачками, поварами, огородницами, уборщицами. Они на прииски приходили вместе с мужьями, а незамужних девушек на прииски не принимали. Детям (мальчики работали с 12 лет) винные порции не полагались, но их угощали взрослые. Один из современников (приисковый врач) писал об обстановке на приисках Томской губернии в воскресный день: «Все с нетерпением ждут 11 часов дня, когда выдается в кабачке общая порция – две сотых ведра на каждого. С выдачей этих сотых как будто и начинается праздник. В казармах начинаются беседы, споры, пение и пляски под игру на гармонике, снова усиленно начинают прикладываться к водке, которую раздобыть на приисках всегда можно».

Если рабочий отказывался от винных порций, то их стоимость могла переводиться в денежный эквивалент и пополнять зарплату. На одном из приисков в Восточной Сибири 50 процентов рабочих отказывались от водки и имели доплату размером в 6 рублей в месяц. Но на крупнейшей в Сибири и всей России компании – Ленском золотопромышленном товариществе – в 90-е годы XIX века за отказ от водки прибавок к зарплате не делали.

Огромный урон золотодобывающая отрасль испытывала от деятельности так называемых спиртоносов, особенно в Витимской тайге. Водкой спиртоносы запасались в большом селе Витим. По тайге передвигались они шайками численностью по несколько десятков человек и были вооружены. Шайка некоего Чайгина, например, насчитывала до 40 человек. При подступах к прииску они прятали емкости со спиртом в снегу или мху, посылали своего человека на прииск, чтобы тот сообщил рабочим и те по очереди ходили в тайгу для встречи со спиртоносами и, как правило, меняли спирт на краденное золото.

Во второй половине XIX века, как и в середине века, настоящие оргии рабочих шли во время движения с приисков после окончания сезона, особенно в городах

Мариинске, Енисейске, селах Витим, Тисуль, последнее – в Томской губернии. В 70-е годы генерал-губернатор Восточной Сибири даже отдавал распоряжения везти рабочих в обход Енисейска, но это приводило к еще более уродливым явлениям. Торговцы, а с ними и проститутки выезжали на дороги навстречу группам рабочих, первые предлагали им спиртные напитки, а вторые – «общение» за деньги.

И в начале XX века ситуация коренным образом не улучшилась. В 1907 году на Всероссийском съезде золотопромышленников отмечалось, что «Все золотопромышленники указывают на развитие на промыслах пьянства. Рабочий в большинстве пропивает весь свой заработок».

Может быть, в городах и селах ситуация не была столь драматичной. И все же в Сибири в целом потребление спиртных напитков было больше, чем в Центральной России. Чем дальше на восток, тем показатели оказывались выше. По сведениям за 1906 год, среднее потребление спиртных напитков по уездам Сибири, т.е. в сельской местности, составляло 0,58 ведра на человека (в России – 0,46), в городах, соответственно, 3,06 и 1,76. Но самые высокие показатели были в городах Забайкальской области – 7,25, Иркутской губернии – 5,39 и Якутии – 5,23. Особенно часты были сообщения о пьянстве рабочих кожевников, сапожников, пимокатов, шубников. Вспомним поговорку: «Пьет как сапожник». Объяснить это можно тяжелыми условиями труда и быта и в то же время низким образовательным уровнем. Томский социал-демократ В.Е. Воложанин в начале XX века опубликовал ряд публикаций в иркутской газете «Восточное обозрение» о положении рабочих в Томске. В одной из статей он писал: «Пьянство распространено очень сильно, тем оно сильнее, чем тяжелее условия труда. Развито оно среди кузнецов, столяров, но особенно на кожевенных и овчинно-шубных заводах». Тюменские кожевники были пристрастны не только к выпивке, но и жестоким кулачным боям, на которые собирались толпы до 200 человек. У булочников Томска, по свидетельству городского врача Мультиановского, алкоголь был фактически единственной утехой. Труд этой категории рабочих был очень тяжел (ручной замес теста, в основном в ночное время), они не имели собственного жилья и проживали при пекарнях и булочных. Профессиональными болезнями были грыжи и пороки сердца, семьями они, как правило, не обзаводились и к 30-35 годам становились инвалидами или даже умирали.

Выпивка после получения зарплаты была известной в России традицией, и Сибирь не была в этом отношении исключением. Нередко владельцы предприятий поощряли рабочих алкоголем в случае сверхурочных работ или получении большого заказа. В Петуховских мастерских под Омском, в которых изготовляли земледельческие орудия, было занято 80 рабочих, а принадлежали они Переселенческому управлению. Здесь после успешной установки новой вагранки и трансмиссии, рабочим выдали 23 рубля на водку. Правда, часть рабочих предлагала истратить эти деньги на книги и журналы, но они оказались в меньшинстве.

В томских типографиях рабочие за сверхурочные работы также получали деньги на водку, здесь традиционно рабочих владельцы угощали 1 сентября в связи с началом зимнего сезона. Суть в том, что в соответствии с контрактами, с указанной даты рабочий день должен был сокращаться на один час, но в реальности этого не происходило и рабочие трудились, как и в летний период, по 11,5 часа.

Барнаульские пимокаты фабрики купца И.И. Полякова 1 мая 1904 года пришли поздравлять владельца с праздником! Он отреагировал своеобразно, дав рабочим денег на два ведра водки, с условием, что выпьют они только после окончания рабочего дня. Таким образом, и стачки владельцу удалось избежать, а рабочим праздник отметить. Кстати, фабрика И. Полякова размещалась в самом центре города у пересечения Московского проспекта и улицы Гоголевской, где позже был выстроен знаменитый «Красный» магазин.

Другие категории населения Сибири, впрочем, также не блистали трезвостью. Это относится и к основной категории населения – крестьянству. Так, в одном из сельских училищ Алтая был проведен опрос. Из 70 опрошенных учеников пили вино все, допьяна напивались 15 мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет. Из 40 опрошенных девочек пили все, но допьяна не напивалась ни одна.

Православная Церковь и часть общества понимали угрозу пьянства и пытались противостоять ей. Выразалось это в позиции прессы и создании обществ трезвости. К 1911 году в Сибири было создано 80 обществ трезвости, при этом в сельской местности их было 80, а в городах только 9, в среднем на одно общество приходилось только 124 члена. Это, конечно, весьма мало.

В целом же, можно констатировать, что потребление алкоголя рабочими Сибири было неотъемлемой составляющей их повседневной жизни и обычно к алкоголю они привыкали еще в детстве. Алкоголь расценивался как вознаграждение за тяжелый труд и все тяготы жизни. Вопрос о вреде алкоголя для здоровья рабочих вовсе не ставился и если они осознавали вред пьянства, то только из-за материальных расходов. Алкоголь играл важную роль во взаимоотношениях предпринимателей и рабочих, его рабочие могли получать как поощрение за сверхурочные и особенно тяжелые работы, в дни праздников. И сильнее всего алкоголизация охватила рабочих золотых приисков, а также городских кожевников, пимокатов, строителей.

Попытаемся сопоставить ситуацию с потреблением алкоголя в дореволюционной Сибири и России и современной. Итак, по сведениям за 1913 год среднестатистическое потребление «хлебного вина» крепостью в сорок градусов, т.е. фактически водки, составляло по стране около 3,5 литра в год. Но в ряде губерний и городов этот показатель был значительно выше: в Петербурге – 9,1; в Москве – 9,4; Самаре – 11; Иркутской губернии – 5 литров. Таким образом, высокими показателями особенно отличались крупные города.

Фактически в настоящее время уровень потребления алкоголя в современной России превзошел дореволюционные показатели и он значительно выше, чем в советское время. Так, по официальным данным, среднегодовые показатели потребления алкоголя составляли в 1950 году – 2,3 литра на человека, в 1985 году – 8,8; в 2000 году – 9,8; в 2008 году – 11,5; в 2010 году – 8,9 литра. Но здесь не учтен незарегистрированный алкоголь, т.е. самогон, домашние вина, всевозможные «паленки», а его много – от 3,5 до 4,5 литра на человека. В итоге, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2003 году общее потребление алкоголя в России составляло 14 – 15 литров на человека. Между тем, критическим считается показатель потребления – 8 литров в год, после чего создается угроза вырождения нации.

Конечно, в обществе наблюдается существенная дифференциация в количестве, да и качестве потребления алкоголя. По данным научного сотрудника Института социологии РАН И.И. Шурыгиной, больше всего приходится алкоголя на людей без высшего образования, это относится к полярным социальным группам, и «бедным», и «богатым». Различие в том, что «бедные» больше предпочитают крепкий алкоголь, «богатые» - пиво и сухое вино. Меньше всего употребляют алкоголь образованные «бедные», особенно женщины. Но среди лиц с низкими доходами много таких, кто вовсе не пьет.

Если говорить об ассортименте употребляемого алкоголя, то очевидна тенденция роста употребления пива, а из крепких напитков – виски и текилы. При этом люди старших возрастов, особенно мужчины, предпочитают традиционную водку (хуже водки лучше нет), а молодежь – пиво, а из крепких напитков – виски и текилу. Несмотря на огромный выбор вин в магазинах, Россия все же не стала страной, где раз-

бираются и любят сухие вина. По данным обследования в 2013 году потребления алкоголя студентами пяти городов (Москва, Казань, Иваново, Краснодар, Таганрог), пиво употребляли (в процентах) – 51, шампанское – 43, крепленые и полусладкие вина – 40, виски и текилу – 39, коньяк – 29, водку – 24, сухие вина – 21.

Попытки введения «сухого закона» (в 1914 году и при М.С. Горбачеве), как известно, не достигли желаемых результатов. Это же можно сказать о трезвенном движении, а подобный опыт был еще в дореволюционной России. Учитывая многовековые традиции русского застолья и гостеприимства, искоренить алкогольные традиции, особенно кампанейщиной, навряд ли удастся. В 2012 году в городе Иваново был создан научный центр «Алкоголь в России», уже прошли четыре международные научно-практические конференции под тем же названием. Они вызвали большой интерес социологов, историков, экономистов, философов. Одна из целей этого проекта – снижение уровня алкоголизации населения. А будет ли эффект – покажет время.

—

О ВРЕМЕНИ И ЧЕЛОВЕКЕ

Рецензия на книгу прозы А. Остапова «Покаяние»

Первую книгу прозы Александра Остапова «Покаяние» дважды прочел с большим интересом, поскольку до этого был знаком только с его довольно неординарным, самобытным поэтическим творчеством. Прочел с интересом еще и потому, что А. Остапов по рождению мой земляк – белгородец, чья книга наполовину по своему объему посвящена Белгородчине, малой родине автора, где прошло детство и отрочество одаренного писателя, полюбившего с малых лет свое родное село Глинки и его жителей.

А. Остапов давно живет на Алтае, который стал уже ему второй родиной, домом, но его душа, как душа любого русского человека, помнит свои истоки, отчий родительский дом, с истертого порога которого он ушел в большую жизнь.

Память детства несказанно долговечна, зрима. Она остается с человеком до последних дней его жизни, бережно храня в себе большие и малые события, образы живых и ушедших с земли знакомых людей и, как ни странно, воскрешает, казалось бы, на первый взгляд, незначительные, второстепенные детали. Именно такие острые, глубокие, пронзительные приступы памяти в голове, сердце, душе писателя делают книгу предельно достоверной, правдивой, убедительной.

Память А. Остапова, вобрала в себя, прежде всего, масштабные картины жизни в ее реальном выражении времени и пространства, причем демонстрируются эти картины ярко, образно, живописно, что собственно и отличает подлинную художественную литературу, коей и является настоящая книга, от бледных подделок и иных разнообразных печатных изданий. Память у автора книги, как я уже отмечал, объемна, она касается таких знаковых событий в нашей стране, как коллективизация, раскулачивание, голод 1933-х и 1947-х годов, политические репрессии, разрушение христианских храмов. Великая Отечественная война, перестройка и постперестроечные годы. Поэтому-то в книге А. Остапова немало воистину драматических и даже трагических страниц, связанных с названными выше событиями, о которых автор пишет объективно, остро, смело, убедительно. Оттого и книга получилась правдивой, напряженной и очень честной.

Уже в первом, открывающим книгу рассказе «Сапоги со скрипом», правдиво, подробно и ярко рассказывается о раскулачивании трудолюбивых сельчан и насильственной организации на селе первых колхозов. Главный герой рассказа, лодырь и проходимец Пантюха, вчера еще «рвань деревенская», которого все на селе кликали не иначе как «Пантюха Дранный», при новой власти выходит «из грязи в князи» и становится вначале уполномоченным по раскулачиванию, а затем сельсоветским начальником, которому сам председатель Панкрат Касьяныч вручил начальственный портфель. С этим портфелем и ходит горделиво по селу Пантелей Кузьмич в сапогах со скрипом, свысока поглядывая на рядовых сельчан. «А сапоги-то – они тоже как с

неба упали», – замечает автор книги, – это когда Степана Шурыгина раскулачивали. Все по совести делили, Пантюхе сапоги достались за трешку. В другой раз при раскулачивании Ивана Карасева Пантюхе достался черный полушубок. Почти даром».

Жадный до чужого добра, по сути дела шкурник, сам законченный собственник, «Пантюха Дранный», став хозяином новой жизни, бесцеремонно раскулачивает сельчан и агитирует за организацию колхозов: «Кто не пойдет в колхоз добровольно, в бараний рог скрутим и узлом завяжем». Это при его, пантюхинском активном участии идет разгул власти, беспредел, грубый грабеж честных трудолюбивых крестьянских семей, называемых новой властью «кулаками». Беспредел этот в селе ругают не только в материальном смысле благополучные селяне, но и бедные, полунищие обитатели Глинок. Так, скажем, когда людей в колхоз стали сгонять насильно, бабка Горшиха, одинокая, нищая старушка, сказала: «Гром гремит не из тучи, а из навозной кучи». И это сказано бабкой всенародно в адрес Пантюхи и его власти. «И Настя Гусятникова, а какие там гуси, три облезлых курицы, – по словам Пантюхи, – кудахтают на пустом дворе, но – что ни день – паскудными словами ругает власть». При попытке ее ареста диким голосом завопила: «Караул! Бандиты!! Грабют!!!».

Все эти примеры говорят о том, что колхозы нужны были новой власти с их пантюхами, а не крестьянам. Отец автора книги – обыкновенный крестьянин, потомственный житель старинного села, выразился так по поводу колхозов, которые в официальной печати пропагандировались как некий земной рай: «Если в рай загоняют силком, то это уже не рай, а тюрьма».

Оно и в самом деле так и было во времена коллективизации: «у крестьян отбирали землю, скот, в общую кучу свозили плуги, бороны, веялки и другой крестьянский инвентарь», а имущих крестьян раскулачивали, называли «мироедами», «врагами народа» и отправляли на Соловки и Колыму. «Колхозный рай», о котором вещали газеты, обернулся вскоре урезанием приусадебных участков «по самый порог». Каждая яблоня, вишня, слива, каждый куст смородины облагались денежным налогом. «Такой беды, – пишет автор книги, по рассказам древних стариков, – не было даже во времена крепостного права».

С невеселыми картинами разора крестьянских хозяйств, обнищания села, так явственно зримо, подробно, убедительно изображенными автором «Покаяния», в книге органично сливаются жуткие картины массовых репрессий в стране в целом, и в родном селе писателя в частности. Эти выразительные картины особенно ярко представлены читателю в рассказах «Егоша» и «Сапоги со скрипом», где подробно повествуется, как безжалостно в сельских школах со стен были сброшены и растоптаны портреты маршалов: Блюхера, Егорова, Тухачевского, а школьными учителями провозглашены героями дня павлики морозовы, как в родном селе писателя – Глинки – были арестованы и осуждены на долгие годы тюрем и лагерей самые уважаемые селяне: бывший буденовец, награжденный в Гражданскую орденом Красного Знамени, Лукьян Астахов, колхозный бригадир Прокофий Петрович и десятки других крестьян – единоличников, не вступивших в колхоз.

Нежданно-негаданно и, можно сказать, очень нелепо попадает в «ежовые рукавицы» чекистов и сам Пантюха, высокомерный сельский начальник – сельсоветчик, грозный опричник, ярый сторонник репрессий, арестов и осуждения простого люда. Он откровенно разглагольствует: «Нелегко строить новую жизнь, нелегко! Куда ни кинь – кругом враги народа. Ничего, не таких рысаков объезжали!».

Пантюха мечтает построить тюрьмы в селе, и засадить туда побольше своих же односельчан. Да сам он, «как кур во щи» попался. И не в какую-нибудь там захудалую кухню, а в грозную контору своего давнего друга по армейской службе, а ныне сурового следователя НКВД по особо важным делам Матвея Вирзилова, который о своей работе цинично рассуждает: «Здесь что главное? Раздавить, уничтожить вра-

га морально. А все остальное – дело техники. Дал ему в зубы раз, другой. Кровью умылся. Подписал все, что требуется».

Картины репрессий в книге сменяются близкими им по духу мерзкими картинами грубого варварского разрушения и уничтожения христианских святынь – православных храмов местными вандалами. С какой болью и горечью повествует об этом писатель, и в то же время с каким восхищением и любовью говорит он о красоте русских церквей и церковных служб в рассказах «Самарянка», «Открытие мира», «Егоша».

Не обошел своим пристальным вниманием автор «Покаяния» и самую, пожалуй, вселенскую, мучительную беду, прокатившуюся по всей стране и унесшую сотни тысяч человеческих жизней – голод, голодомор сначала в 1933-м, а затем и в 1947-м году, когда люди вымирали целыми семьями, потому что власть под лозунгом: «Весь хлеб в закрома Родины!» вывозили его из села, который потом погибал на открытых токах. Насильственно отбирали хлеб не только у рядовых селян, но и у колхозов.

К голоду в эти страшные годы присоединился еще и сыпной тиф. От голода и тифа люди умирали каждый день десятками, сотнями, особенно дети и старики. В рассказе «Егоша» умирает от голода младшая сестра героя рассказа – Анюта. Едва не погиб и сам Егоша, наевшись зерна, отравленного химикатами и уворованного матерью мальчика Мариной Сергеевной.

Но, несмотря на все жуткие, драматические события и беды, происходящие в огромной стране, а следом и в небольшом русском селе Глинки, сельский люд не впадает в уныние и отчаяние, не теряет надежды на лучшую жизнь. Даже в эти беспросветные, голодные годы, по словам автора книги, «девки и парни собирались на выгоне, возле церкви, где звенела балалайка, плакала гармонь, терзали вечернюю тишину задорные девичьи голоса, до самых дальних хат доносились слова озорных частушек». Вот она, непонятная заграничным мудрецам загадочная русская душа: неунывающая, крепкая, живучая! Неунывающий терпеливый русский характер с его неуемной любовью к родной земле, к крестьянскому труду, к отчему селу, дому, с его русской добротой, милосердием и совестью помогают русскому человеку одолеть все беды и удары судьбы. А еще помогает ему выстоять, выжить окружающая село русская природа, ее несказанная красота с живописными безмерными полями, голубыми реками и ручейками, травой-муравой, с чистой, вкусной родниковой водой в зеленых логах. Природа успокаивает русского человека, поднимает настроение, вдыхает в его сердце, душу, тело крепкий божий дух и силу. Недаром маленький внук автора книги – Илья, впервые побывавший на родине писателя, пришел в восторг от увиденного: «Деда! Смотри, какая красота! Ух, ты!».

Довольно значительное место писатель отводит Отечественной войне 1941-1945 годов, которую предсказал дед Пырей, старик «жилистый, живучий, как трава пырей». С тяжелой войной пришли и новые беды: в опустевшем селе, где не стало ушедших на фронт мужиков-кормильцев, бедствовали теперь женщины, старики и дети. В оккупированное немцами село Глинки вновь вернулся голод, донимали холода суровой снежной зимы 1941-го года и непрекращающиеся артобстрелы и бомбежки. Война никого не щадила: ни военных, ни мирное население. Жестокая и беспощадная, она убивала не только на фронте, но и в тылу. Причем, случалось даже, что свои убивали своих же. Именно об этой трагической нелепости и повествуется в одном из лучших рассказов «Покаяние» «Молоко для Иванки», который буквально потрясает читателя своим драматизмом и безмерной добротой, милосердием, совестью простой русской женщины-матери, которая взяла к себе в дом сироту, маленького Иванку, сына умершей от голода сестры. Свой поступок в разговоре с подругами она объяснила без всякой похвальбы, как обычное дело: «Чужих детей не бывает, как и чужой беды. Наши они, кровиночки, родные и любимые. Так было и так будет всегда».

О войне, немецкой оккупации и насильственном угоне советских юношей и девушек в Германию, о их подневольной там работе повествуется в рассказах «Рыжий конь», «Заложники», «Дорога в никуда», «Остров спасения», «Двор». В основном – это уже о трудной судьбе самого автора «Покаяния», бывшего узника нацистских концлагерей, выжившего только благодаря счастливому случаю: из концлагеря русского парня буквально вытащил немецкий гроссбауэр, человек добродушный и милосердный, занимавшийся сельским хозяйством. Хозяин и его жена Зоммеры – добрые, совестливые немцы – больного русского парня, приговоренного болезнью к смерти, вылечили и поставили на ноги.

Думается, что вызовут определенный интерес у читателя и рассказы о разных событиях на Алтае, а точнее в Белокурихе, которые стали для писателя, как я уже писал, давно второй родиной, и где прошлое с его бедами и горестями было таким же безрадостным, как и в его родном селе Глинки на Белгородчине. Одним словом, в книге с широкой географией времени и пространства откровенно слабых, пустопорожних мест по содержанию нет. Что же касается содержания идейного, то оно прочно связано с такими понятиями как Родина (большая и малая), человеческая честь, совесть, порядочность, милосердие, покаяние.

Понятия: Родина, родное село, отчий дом, русская природа – все они имеют кровную, смертную связь с героями «Покаяния» и рождают в их сердцах сыновнюю любовь, гордость, чувство патриотизма, о котором в последнее время так много говорят, пишут и спорят. Патриотизма не показного, а подлинного.

Особое место в книге занимает понятие покаяния, дух покаяния пронизывает все повествование от первых до последних страниц книги. Чувство покаяния испытывает хороший человек, брат отца писателя, дядя Федя, председатель колхоза в Глинках, вольно или невольно повинный во многих бедах селян. Уезжая из села и прощаясь с рядовыми колхозниками, в своей покаянной речи он с горечью говорит: «Простите за все обиды. Не хотел я обижать вас. Хотел как лучше – не получилось. Оттого и горько, и больно мне в эти минуты. Не поминайте лихом!». Чувство покаяния мучит и колхозного бригадира Прокофия Петровича, и мать Егоши – Марину Сергеевну. Это по их вине отравился украденным в колхозе зерном Гоша, и чуть было бесславно, глупо не погиб.

Дух покаяния просыпается даже у сидящего в тюрьме и размышляющего о жизни такого негодяя и безбожника как Пантюха, повинного в бандитском раскулачивании и в жестоких репрессиях селян, которому «до ареста даже робкая мысль о милосердии и сострадании к людям», тем более о покаянии, казалась абсурдной, непростительной слабостью».

А разве не возникает чувства покаяния у многих селян Глинок за порубленные ими сады, разрушенные и разграбленные храмы?.. И только через покаяние человек смиренно приходит к Богу, сбрасывая с души своей груз всякой грязи, скверны, и оттого душа его становится намного чище и светлее.

«Покаяние» А. Остапова – это глубокие размышления автора о времени и о человеке, – своем современнике. Исповедальное содержание книги имеет самые необходимые качества в писательском труде: честность, правдивость, смелость в изображении событий и героев повествования. Для писателя нет запретных тем, нет вещей, о которых нельзя было бы писать. В своем повествовании А. Остапов объективен, правдив, честен в оценке действительности. Это заставляет читателя сопереживать и симпатизировать его мыслям и словам.

Глубокое интересное содержание книги сопровождается авторскими отступлениями, в которых писатель размышляет об излагаемых событиях прошлого с позиции сегодняшнего дня, в таких рассказах, как: «Открытие мира», «Покаяние», «Самарянка», «Остров спасения».

Еще хотелось бы отметить (это очень важно!), что книга, повествующая в основном о трудных, даже, можно сказать, мрачных временах, не повергает своих литературных героев, а с ними и остальных жителей села в уныние и отчаяние, в них живет свет будущего. С оптимизмом на будущее села уже в наши дни смотрит и сам писатель, его друзья и знакомые. Вот как он пишет о встрече с ними в родном селе после долгих лет разлуки: «Тетя Сюня, что узнала меня, когда я оказался на нашей улице, кинулась ко мне, уронив голову мне на грудь, заплакала навзрыд, впричет: «Шура, погляди, как мы живем, в каждой хате тепло и чисто. И кизяков не надо. А раньше-то как мучились зимой от голода и холода, и пожалиться было некому. А пожалился, значит, – враг народа».

Емкое, глубокое содержание книги, как нельзя лучше, сочетается с художественными ее достоинствами: книга щедро, густо насыщена метафорами, свежими образами, такими, скажем, как: «Жилистый и живучий, как придорожная трава, дед Пырей был угрюм и молчалив» или: «А бабий шепот и причитания шелестели как листья в осеннем саду».

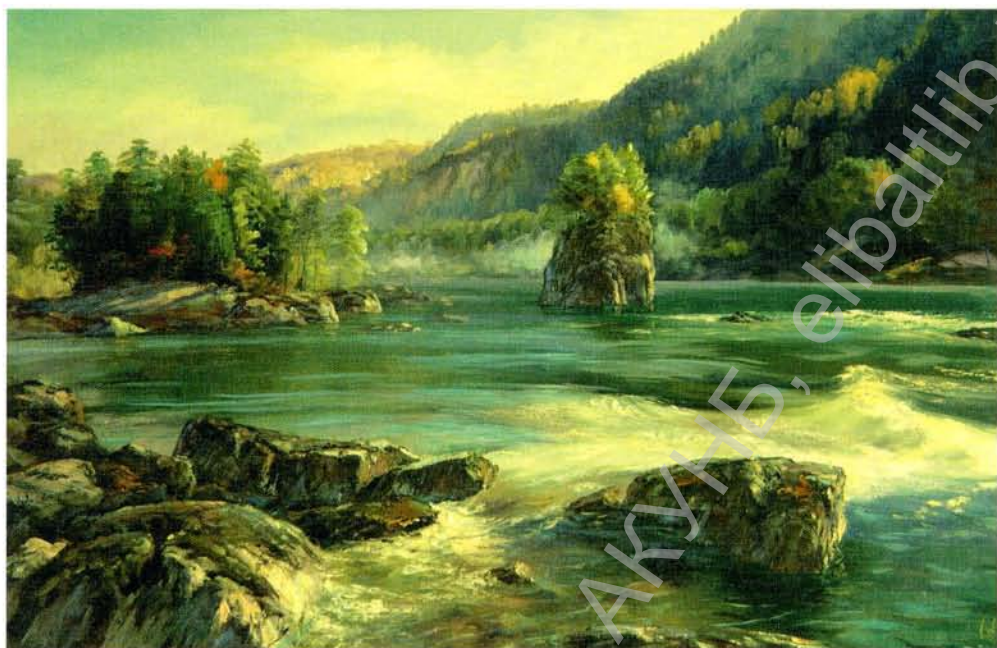
Тексты Остапова отличаются остротой сюжетных узлов и линий, динамикой повествования. Автор умеет не только живо, оригинально изобразить внешний образ, портрет героя, но и раскрыть его внутренний чувственный мир, его психологическое состояние. Вот, например, как создает писатель портретные характеристики, образы двух героев, антиподов – дяди Федора, председателя колхоза и его брата Данила, отца писателя: «Дядя Федя был похож чем-то на Ленина: та же походка, манера говорить и тот же наклон головы вправо. То, что отец «контра», видно было за версту: сильно смахивал он обличьем на Николая Второго: тот же овал лица, тот же прищур глаз, та же низкая прическа, а главное, борода и усы те же, что у последнего императора».

Но, пожалуй, главным художественным достоинством талантливой книги является ее живой, образный народный язык, в котором много поговорок, пословиц, юмора, перца, мудрости человеческой: «Сапоги-то скрип-скрип, сапоги-то чок-чок! Бабы двери на крючок, притаились и молчок!».

Дай Бог этой замечательной книге доброго пути к читателю и счастливой судьбы!

*г. Белгород
2014 г.*

Художник В. Кукса



Бирюзовая Катунь



Сростки

